Сильвестр Щедрин

Сильвестр Щедрин Письма



Москва
„Искусство“
1978

Сильвестр Щедрин

Письма

ББК 85.143(2)1
Щ 36



Составитель и автор вступительной статьи
Э. Н. Ацаркина

А $\frac{80102\text{-}145}{025(01)\text{-}78}$ 182-78

Вступление

Эпистолярное наследие Сильвестра Щедрина очень велико. Его составляет более чем сто пятьдесят писем и донесений в Академию художеств. Известно, как редко встречаются письма художников XVIII и первой половины XIX века, как драгоценны малейшие сведения о них. Переписка, которую вел Щедрин, обретает тем большее значение, что его старшие и младшие современники — Кипренский, Тропинин, Брюллов — не так уж часто сами писали письма. Щедрин в этом отношении представляет исключение. Он любил и охотно писал своим близким и друзьям довольно большие и обстоятельные письма. Однако только одна треть из них, хранящаяся в Государственном Историческом музее, была опубликована в 1932 году А. Эфросом под названием „Письма из Италии". Остальная — бо́льшая — часть, хранящаяся в Центральном государственном историческом архиве Ленинграда, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и др., осталась вне поля зрения А. Эфроса.

Публикуемые нами в настоящем издании письма Щедрина, в отличие от изданных А. Эфросом, обращены не только к родным, но и к друзьям-художникам. Любимым его корреспондентом был известный русский скульптор С. И. Гальберг. В письмах к этому своему другу Щедрин, уже не стесненный петербургской цензурой, более откровенно и непосредственно высказывал свои мысли и суждения о жизни и искусстве. Благодаря этим особенностям его переписки она существенно дополняет письма, изданные А. Эфросом.

Письма Щедрина друзьям-художникам столь любопытны и занимательны, так образно и ярко описывают его жизнь в чужих краях, так вводят в атмосферу окружавшей его там художественной среды, что позволяют восстановить эпоху и круг интересов, волновавших его современников.

Множество имен встречается в переписке Щедрина. Здесь чиновники неаполитанской и римской миссий, иностранные дипломаты, знатные путешественники. Талант и свойства натуры Щедрина привлекали к нему сердца людей. В одном из писем он упоминает о посещении его студии датским принцем, в других рассказывает о внимании к нему кн. С. Г. Волконской, гр. В. П. Шуваловой, кн. Голицыных, гр. Д. П. Бутурлина, гр. Ф. А. Толстого, русских посланников в Италии — гр. Г. Э. Штакельберга, А. Я. Италинского, Г. И. Гагарина,

то есть людей, принадлежавших к высшему обществу. Не обходит он молчанием бывших в Италии известных медиков В. Д. Герцбергского и П. Н. Савенко, рассказывает о гр. Н. и С. Румянцевых, лингвисте А. Х. Востокове.

Уважением и симпатией проникнуты слова С. Ф. Щедрина о К. Н. Батюшкове и С. И. Тургеневе. Ценные биографические сведения можно почерпнуть даже из его кратких обмолвок о скульпторах, живописцах и архитекторах, ныне забытых, таких, как Н. А. Токарев, С. М. Теглев, Е. В. Тимофеев, М. Тихонов, Д. А. Ширяев, И. А. Воинов, В. К. Сазонов и многие другие. Остроумны и верны характеристики, которыми Щедрин наделяет П. В. Басина, Ф. А. Бруни, братьев Брюлловых и Тонов. Высоко чтит он О. А. Кипренского, выражая ему свою признательность за постоянную помощь.

Переписка, которую вел Щедрин, охватывает 1820-е годы, так как началась она с момента его пенсионерского вояжа, то есть с 1818 года, и завершилась в 1830-м (год его кончины). Местом своего пребывания в Италии художник избрал Неаполь, откуда он с наступлением весны и вплоть до глубокой осени выезжал в окрестности города или на близлежащие острова. Его привлекали приморские небольшие города и селения, куда, как писал он, не ступала еще ни одна „ландшафтная нога". Но, забираясь в столь глухие места, он постоянно чувствовал острую потребность в общении с друзьями-земляками, проводившими свое пенсионерство главным образом в Риме. В письмах Щедрин интересуется художественными новостями, расспрашивает о вестях из России, жалуясь на родных, которые ему редко пишут. Часто встречаются в письмах просьбы о присылке из Рима холста, кистей, красок, об отправке картин в Россию. В начале своей жизни в Неаполе он обращался за помощью в этих делах к Ф. М. Матвееву. В Рим Щедрин ездил неохотно, хотя и создал там в разные годы ряд пейзажей. В Риме ему не хватало моря с его широкими просторами, мешал шум большого города; поэтому его неизменно притягивал Неаполь. В конце жизни он посетил Швейцарию, предприняв для этого путешествие по северной Италии, где побывал впервые.

Живя в Неаполе и совершая поездки по Италии, Щедрин столь обстоятельно описывал посещаемые места (Сорренто, Амальфи, Кастелламаре, острова Искию и Капри), что по его письмам можно ясно представить себе Италию того времени. Но не в одной исторической достоверности заключается ценность писем художника, а прежде всего в проникновенном постижении самой жизни итальянского народа. Внимание художника привлекали преимущественно простые люди из народа, рыбаки, виноградари и др. В описании их быта, нравов, обычаев Щедрин порой достигает широкого социального обобщения. Рассказывая о жизни бедного люда Италии, он всегда верен правде. Письмам Щедрина свойственна конкретность и убедительность очевидца.

Особенно наглядно в этом отношении описание Неаполя. Казалось, что Щедрин знал этот город и его жителей с самых ранних лет, так живо и образно он передавал его повседневную жизнь, характер и привычки неаполитанцев. Насмешливо-иронические замечания художника по их адресу не скрывают его искреннего расположения к ним. Как свидетельствуют младшие современники Щедрина, неаполитанцы в свою очередь питали к русскому мастеру глубокую привязанность и уважение.

Немало любопытных фактов сообщает Щедрин о неаполитанском театре Сан Карло и выступавших там артистах. Высокую оценку выносит он выдающейся певице А. Каталани. Ту же музыкальную чуткость проявил он в бытность свою в Милане, где слушал в театре „Ла Скала" Ю. Пасту. Ее голос вызвал у Щедрина восторженный отзыв. Зато римский театр не понравился художнику. Он критиковал его за репертуар и неудобное устройство зрительного зала. Зрители, по словам Щедрина, из-за его тесноты не могли следить за действием на сцене.

Любопытны характеристики Щедрина писателей и историков конца XVIII — начала XIX века. Он судит о них с позиций просвещенного человека своего времени, требуя содержательной поэзии и исторической верности, простоты и правды изложения. Едко высмеивает он напыщенность поэзии В. К. Тредиаковского и ограниченность мировоззрения Г. В. Геракова, начавшего свое историческое исследование, по шутливому замечанию Щедрина, с описания своей улицы.

Живо откликаясь на состояние современного искусства, Щедрин особенно интересовался русскими пейзажистами. В его высказываниях о Ф. М. Матвееве и А. Е. Мартынове, находившихся в Италии одновременно с ним, отчетливо проявляется различное отношение Щедрина к этим художникам. Уважая и чтя Матвеева, отдавая должное его мастерству писать „дальности", он упрекал его вместе с тем в игнорировании живой натуры и в „сочинительстве". Принципиально иной была оценка искусства Мартынова. Сухие и безжизненные пейзажи Мартынова встретили у Щедрина резкую критику.

Из писем Щедрина можно узнать и о состоянии петербургской Академии, о существовавших в ней порядках и взаимоотношениях художников с президентом А. Н. Олениным, так как в своих письмах он подробно пересказывал известия, полученные от родных. В высказываниях Щедрина довольно откровенно звучит критика господствовавшего в Академии в 1820-х годах направления. Он явно сочувствует судьбе сосланного в Симбирск ее вице-президента А. Ф. Лабзина, с благодарностью вспоминает Семена Ф. Щедрина и „старого инспектора" К. И. Головачевского, но не находит оправдания косности и консерватизму других членов академического Совета.

Брошенные вскользь шутливые замечания Щедрина о днях его юности, проведенных в Петербурге, дают ценные сведения об обстановке в доме отца, скульптора Ф. Ф. Щедрина, а также в семье Гальбергов, постоянным посетителем дома которых он был, и тем существенно дополняют его биографию. Интересны его упоминания об актерах Я. Г. Брянском и В. А. Каратыгине.

Из писем Щедрина можно представить, какие задачи он ставил перед художником, как работал над созданием картин, как более зрелыми становились его суждения о современных пейзажистах и, наконец, каково было его отношение к старым мастерам. За время пребывания за границей взгляды Щедрина на искусство претерпели заметную эволюцию.

Повышенный интерес питал молодой художник к картинам Клода Лоррена. Одновременно его восхищал и Рейсдаль, драматизм и скрытая тревога картин великого голландца. Это говорит о широте кругозора Сильвестра Щедрина.

Не менее ценны донесения Щедрина в Академию художеств. Он писал их только во время своего пенсионерства, то есть с 1818 по 1822 год. В них молодой художник проявил независимость суждений, чем вызвал недовольство академического Совета. Правда, друзьям Щедрин доверительно признавался, что сочинял свои донесения лишь вынужденно, по обязанности отчитываться перед Академией художеств и потому заполнял их всякого рода пустыми описаниями посещаемых галерей и осматриваемых памятников. Однако те же впечатления о картинах классиков пейзажа он высказывал и в письмах С. И. Гальбергу.

Влечение к столь разным пейзажистам, как Клод Лоррен и Рейсдаль, Щедрин сохранил до конца своей жизни. Этот факт неоспоримо подтверждает, что русский мастер всегда исходил в своих оценках от степени близости искусства к реальной природе. В таком подходе заключалась одна из сторон прогрессивности его художественного мировоззрения.

Особый интерес вызывают критические замечания Щедрина о современных художниках. Чрезвычайно важно его отношение к „школе Позиллипо“, объединявшей в Неаполе целую группу пейзажистов во главе с А. Питлоо. Искусство А. Питлоо казалось ему наиболее близким. Он находил в его пейзажах естественность и интимность мотивов, что всегда привлекало Щедрина. Верные замечания можно встретить в письмах художника и о других представителях „школы Позиллипо“, таких, например, как отец и сын Джиганте, Г. Карелли, А. Вианелло.

Беспристрастным, но и взыскательным критиком показал себя Щедрин при знакомстве с иностранными художниками, проживавшими в те годы в Италии. Множество имен встречается в его письмах. Здесь стяжавшие известность в Италии голландские художники А. Терлинг, Г. Воогт, немцы Ф. Катель, Ж. Ре-

бель, И. Кленгель, швейцарцы В. Хуберт, И. Бидерман и Г. Ран и, конечно, итальянцы. Посещая выставки или мастерские художников, он не боится высказывать свое мнение, часто не совпадающее с общепринятым и не скрывающее его критического отношения к деятельности таких весьма популярных в Италии художников, как П. Бенвенутто, П. Ганслира и К.-Ж. Верне.

Не менее существенны в письмах замечания, касающиеся узкопрофессиональных вопросов. Они как бы вводят в художественную лабораторию Щедрина. Художник подробно описывает, какой холст ему нужен—без узлов и всякого рода „коклюшек", мелкозернистый и гладкий. Щедрин откровенно признается, что избегает техники акварели, так как не силен в искусстве водяных красок, предпочитая масляную живопись. Он составил особый рецепт приготовления лака, который подробно описал друзьям, указав, как им пользоваться. Из его переписки можно узнать, что, отправляя свои картины в Россию через Рим и Ливорно, он просил Бруни и Басина, а также брата Аполлона в Петербурге дать пейзажам выстояться на свежем воздухе или в хорошо проветренной комнате и, если живопись в пути пожухла, по истечении определенного срока покрыть ее лаком. Большое беспокойство проявлял он по поводу ящиков из сырого дерева, которыми его снабжали недобросовестные столяры. Взыскательный художник упрекал и себя в том, что порой забывал при отправке обить внутри ящики и тем предостеречь картины от порчи.

Красочно и выпукло рисуется в письмах личность Щедрина, раскрываются его склонности, привычки и даже внешность. Щедрин очень располагал к себе людей. Уравновешенный и спокойный, он не способен был выйти из себя и сказать резкое слово. Но за этими внешними проявлениями его миролюбивого нрава скрывался острый и наблюдательный ум и романтическая душа поэта, чутко реагировавшая на все прекрасное. Это были не вспышки экзальтированной натуры, а врожденная потребность художника отдаваться во власть красоты. Таким выступает Щедрин и в первой биографии, посвященной десятилетию со дня его кончины.

Часто сетуя на охватывавшую его лень, Щедрин, однако, был на редкость целеустремленным и трудолюбивым художником. Возможно, эти жалобы проистекали от дурной погоды, так как он обычно писал свои письма в ненастные дни (отсюда впечатление, что, пока Щедрин жил в Италии, там непрерывно лил дождь). О способности Щедрина работать без устали красноречиво свидетельствует множество вариантов ранее написанных пейзажей и то терпение, с каким он мог вернуться к мотиву, не удовлетворившему его в первом этюде или картине.

Щедрин был весьма скромен и неприхотлив в быту, о чем убедительно говорят его письма. Он ограничивался самой непритязательной обстановкой,

зачастую состоящей из постели, стола и одного стула. Зато при найме квартиры в Неаполе он требовал, чтобы из окон или с балкона открывался красивый вид с морскими далями.

В высшей степени достойно держал себя Щедрин и при исполнении своих светских обязанностей, которые на него налагало сначала положение пенсионера петербургской Академии, а потом необходимость поддерживать связи с влиятельными заказчиками. Врожденный такт, образованность, знание иностранных языков облегчали ему эту задачу. Одновременно письма Щедрина, в которых он откровенно делился со своим другом С. И. Гальбергом впечатлениями от званых обедов, ужинов или прогулок, где ему приходилось исполнять роль сопровождающего лица знатных путешественников, показывают, сколь тягостны они были для него. Насмешливый ум художника и свойственная ему меткость характеристик не пощадили никого из русских вельмож. В одном из писем Щедрин с горечью замечает, что нужно происходить от самого князя Владимира, чтобы обратить на себя внимание знатных соотечественников. Неоднократно напоминает он друзьям по профессии, что их братья-художники являются низшим сословием, чем-то вроде „шеромыг“, которым следует жить вдали от богачей, обладающих властью и состоянием. Сквозь легкую усмешку Щедрина зримо проступает осуждение морального облика людей, близких к придворным кругам.

Пребывание Щедрина в Италии совпало с неаполитанской революцией 1820 года и восстанием декабристов на Сенатской площади в 1825 году. Щедрин немногословен в описании этих событий. И все же, несмотря на внешнюю сдержанность и осторожность высказываний, ощущается его сочувствие к восставшим. Подробно и обстоятельно рассказывает он о движении карбонариев, описывая, в частности, побег из тюрьмы одного из них и ту поддержку, которую оказал ему народ, скрывая беглеца от полиции. Ни в одном из его писем нет ни слова порицания или осуждения борцов за свободу. Наоборот, в подтексте можно уловить уважение и молчаливую симпатию Щедрина к их устремлениям и тому бесстрашию, с каким они вели свою борьбу.

Щедрин обычно писал, над чем он в настоящее время работает и какой итальянский вид желает иметь его заказчик. Внешне несколько флегматичный и спокойный, Щедрин был, однако, преисполнен внутреннего горения. Неустанно искал он в искусстве все новые формы выражения правды и красоты жизни. Уже обретя славу, он оставался взыскателен и требователен к себе. Его письма изобилуют просьбами сообщить мнение о своих картинах, каким бы отрицательным оно ни было. Он уверял, что критика, даже самая суровая, должна принести пользу. Эта черта характера существенно дополняет представление о нравственном облике Щедрина.

Но ошибочно было бы все же думать, что Щедрин дорожил мнением любого „ценителя“ искусства. Иронические замечания о вкусе и требованиях, например, генерала Самарина и графини Шуваловой, высказанные Щедриным, говорят сами за себя. В одном из писем он остроумно высмеял „сентиментализм“ придворного И. В. Шатилова, в другом—„дамское“ желание графини приобрести пейзажи с развлекательно-жанровыми сценами.

Любопытны в письмах сведения о ценах на картины Щедрина. Они—по тому времени—были невысоки. Определяя стоимость своих работ, художник исходил из размера пейзажа. Большие он ценил выше, маленькие—ниже. Здесь действовали еще старые академические правила. Большие пейзажи составляют в наследии Щедрина меньшинство, а подавляющее большинство—маленькие, среди которых были подлинные шедевры. Такие расценки не могли принести художнику материального благополучия. Поэтому не скупостью, якобы присущей Щедрину, объясняются его жалобы в письмах на скудость средств, а необеспеченностью существования.

Письма художника показывают, как тяготился он бесконечными заказами, как боялся обмануть ожидания людей, стремившихся приобрести его работы.

Длительное пребывание художника в Италии вызвало в светских кругах пересуды по поводу его мнимого нежелания вернуться в Россию. С негодованием опровергал художник в письмах эти ложные слухи. Щедрина отвращали рутина и консерватизм, господствовавшие в Академии во время президентства А. Н. Оленина. Однако намерение вернуться в Петербург, как видно из его переписки, никогда не покидало его. О своем решении он сообщал не только официальным лицам, но и друзьям и брату. В последние годы жизни художника удерживало от немедленного возвращения чувство долга перед заказчиками. Усиливавшийся недуг не давал также возможности предпринять далекое путешествие.

Начиная с 1827 года в письмах Щедрина все чаще появляются жалобы на приступы болезни. Он мучительно искал всякого рода исцелителей, лекарей, способных спасти его от неминуемой смерти, и нередко попадал в руки шарлатанов. Грустью проникнуты жалобы больного художника, утратившего веру в медицину.

Но мужество и стойкость никогда не покидали Щедрина. Несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал работать. Судя по письмам, только в последние десять месяцев перед кончиной он перестал выезжать на этюды и писать картины.

Новую, ранее не исследованную страницу творчества Щедрина приоткрывают письма художника 1829 года из Швейцарии, куда он поехал в целях излечения по предложению графини Воронцовой и княжны Голицыной. Мы

узнаем из них, что лишенный возможности выезжать на этюды больной художник, томясь бездельем, обратился к писанию интерьеров. Он продолжал писать их и по возвращении из Швейцарии, в Риме. Трагически звучат письма Щедрина этой поры. В них он сетует, что живет совершенно на чужой счет, подразумевая графиню Воронцову и княжну Голицыну.

О кончине выдающегося русского художника и последних минутах его жизни свидетельствуют официальное уведомление врача в Сорренто и рассказ православного священника, напутствовавшего Щедрина в его последний путь.

Подавляющее число писем Щедрина хранится в Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Собрание это насчитывает девяносто одну единицу хранения. Обработка данной части эпистолярного наследия художника оказалась наиболее трудной, так как только две трети писем имеют авторскую дату и расположены в хронологическом порядке. Остальные не датированы. Кроме того, существуют выпавшие из писем отдельные листы, положенные в так называемую россыпь. Правильному определению недатированных писем мешало еще и то, что Щедрин, забравшись куда-нибудь в глушь, далеко от города, лишенный общения с людьми, терял представление о времени и ошибочно проставлял дату написания письма. К тому же он часто начинал письмо в один день, затем продолжал его несколько позже и завершал в другую пору и в другом месте.

Только тщательное сопоставление фактов и событий, упоминание фамилий знакомых Щедрина позволили расположить письма в известной хронологической последовательности, чему способствовала также усвоенная художником привычка указывать свое местопребывание в данное время. Этот немаловажный факт играет большую роль не только при воссоздании „географической карты“ скитаний художника по Италии, но иногда позволяет уточнить название местности в изображенном пейзаже.

В Италии Щедрин завел знакомство с довольно широким кругом людей. Его общественное положение сына профессора, а затем и ректора Академии художеств открыло художнику двери в дома русских вельмож, по должности или в поисках развлечений находившихся в Италии. Нередко в письмах художника мелькают фамилии князей Голицыных, графов Бутурлиных, Шереметевых, Разумовских, князей Волконских и т. д., но без указания инициалов. Профессиональные интересы Щедрина заставляли его встречаться со многими художниками различных национальностей, избравшими Рим и Неаполь для своего дальнейшего совершенствования. Посещение выставок и мастерских побуждало также делиться впечатлениями об искусстве авторов, обративших

на себя его внимание. Бытовые и жизненные обстоятельства сталкивали художника с различными людьми: врачами, учителями, артистами, банкирами, хозяевами квартир, книгопродавцами, краскотерами и другими. К этому обилию имен прибавляются случайные знакомые, не сыгравшие сколь-нибудь значительной роли в его жизни. Прокомментировать все упоминаемые имена в его письмах оказалось трудным еще и потому, что помимо отсутствия инициалов Щедрин допускал вольную транскрипцию при написании иностранных и русских фамилий. Особенно сложно бывает часто установить, кого имел в виду Щедрин, произвольно изменив имя иностранца. Иностранные энциклопедии, справочники, письма современников и воспоминания не всегда позволяют уточнить фамилии этих лиц.

Большим препятствием при прочтении писем художника служит также его крайне неразборчивый почерк. Щедрин сознавал этот свой недостаток и постоянно на него жаловался. Он признавался, что, написав письмо и желая его перечитать, не в состоянии был разобрать, о чем писал. По убеждению художника, его „закорючки“ могли прочесть только Гальберг и брат Аполлон. Правда, когда Щедрин писал письма или донесения в Петербург, он проявлял большее старание.

Чем дольше жил Щедрин в Италии и овладевал итальянским языком, тем чаще он употреблял итальянские обороты. Но и здесь художник нередко допускал слишком вольную транскрипцию фраз или делал грамматические ошибки. Мы помещаем перевод этих выражений в скобках.

Почтовые расходы, по обычаю того времени, нес адресат. Щедрин, желая оправдать эти издержки, старался писать свои письма мелким, убористым почерком, используя также и оборотную сторону листа, которая была предназначена для проставления адреса. По этим же соображениям, исчерпав деловую часть, он стремился заполнить оставшиеся пустоты всякого рода, по его выражению, „пустяками“. В письмах друзьям он допускал в подобных случаях вольные рассказы интимного характера, не предназначенные для публикации. Наряду с ними ряд описаний является настолько случайным и несущественным эпизодом в жизни художника, что мы нашли возможным сократить их, обозначая пропуски многоточием, заключенным в квадратные скобки.

Сохраняя обороты речи, присущие не только Щедрину, но и его времени, мы сочли нужным при этом несколько осовременить грамматику и синтаксис в письмах. Щедрин часто пренебрегал знаками препинания, слова в начале предложений писал со строчной буквы и, наоборот, в середине фразы отдельные слова—с прописной. Все это пришлось упорядочить, чтобы избежать неверного прочтения высказываний художника. Имена людей и названия городов мы сохраняем в той транскрипции, которая была дана Щедриным.

Обширная переписка Щедрина так разнообразна по содержанию, что имеет не только узкобиографический интерес. В своих письмах художник ставит целый ряд актуальных вопросов как чисто профессионального, так и общественного характера. Прожив долгое время в Италии, Щедрин не утратил связи с соотечественниками на родине, продолжал разделять их заботы, мысли и устремления. Поэтому публикуемая переписка дает богатый материал для изучения не только искусства Щедрина, но и всей художественной идеологии 1820-х годов и той атмосферы, которая окружала его в Италии.

Донесения в Академию художеств

1

Его превосходительству тайному советнику Императорской Академии художеств Президенту и кавалеру от пенсионера оной Академии Сильвестра Щедрина [1]

Донесение

На объявление, присланное от Вашего превосходительства, о постановлении Совета Академии 28-го сентября 1799-го года, которого пунктом 9-м определено, чтобы пенсионеры, отправляющиеся в чужие краи, вносили под сохранение Академии полученные ими золотые и серебряные медали, честь имею донести Вашему превосходительству, что полученные мною первая золотая за живопись и вторая серебряная за рисунок с натуры медали находятся под сохранением родителя моего Императорской Академии художеств профессора Феодоса Щедрина

Пенсионер *Сильвестр Щедрин.*
Мая 4-го дня 1818-го года.

2

В Императорскую Академию художеств от пенсионера Сильвестра Щедрина [1]

Донесение

Февраля 6-го дня нов. ст. Г-н надворный советник Батюшков [2] в проезд его чрез Рим вручил нам письмо, в коем предписано уведомлять Академию сверх постановленного сроку чаще, что с моей стороны и будет по временам исполняемо. На сей раз честь имею донести следующее. В Рим прибыли октября 15/24-го дня и получили жалование свое вперед за четыре месяца, считая с ноября 1-го нов. ст.—сим порядком желает банкир производить нам выдачу пенсиона во все время нашего здесь пребывания. Сначала я употребил некоторое время на рассмотрение города и его окрестностей и на посещение неко-

торых лучших художников по своей части, после чего занялся рисованием видов, написав три небольшие етюда с натуры для себя, как-то: вид Храма Мира, другой вид Дворца Цезарей и третий вид Колизея с окружающими его предметами. Сей последний мерою больше первых и дурное зимнее время не дозволило еще оный совсем окончить.

Почитая долгом донести Академии, что по данным его превосходительства г-на президента письмам[3] мы пользовались в дороге возможным вспоможением от всех Миссий, куда были рекомендованы, что по краткости нашего пребывания в иностранных столицах служило для нас великим облегчением. В Берлине Министр был в отсутствии, советник посольства г-н фон Крафт[4] просил за нас г-на Шадова[5] доставить нам случай видеть все места и галереи, что сим и было исполнено. В Вене также не застали посланника, но г-н статский советник Отт[6] показал все комнаты Дворца императорского и расписал все места и галерей более заслуживающих внимание, препоручив человеку, служившему при нашем Государе Императоре, показать нам оные, в особенности те места, в которые или не бывает публичного впуску, или назначены для того особенные дни, как-то: Хранилище драгоценностей (Schatz Kammer), физический, минеральный и зоологии Кабинеты. При нашем отъезде г-н Отт дал нам рекомендательное письмо к Российскому консулу в Триесте г-ну Пеллегрини[7], который и нанял для нас со всеми выгодами баркас для переезду нашего в Венецию.

Российский консул в Венеции г-н Паранеи нанял нам вотюрина, заключив с ним строгий контракт, в коем означены были даже станции, на которых он должен был останавливаться, и приказал уведомить его по приезде нашем в Рим, в точности ли сей договор со стороны вотюрина был выполнен, сверх того дал свою гондолу для переезду из Венеции и мы под флагом Российского консула были свободны от задержек, как обыкновенно бывающих при выезде из города.

Сии пособия нам тем более были чувствительны, что мы видели, как другие русские студенты, не имевшие подобных попечений от своих начальств, должны были переносить некоторые трудности, между тем как мы были всегда спокойны.

Февраля 10-го нов. ст. Имел счастие быть представленным его высочеству великому князю Михайле Павловичу чрез г-на Кипренского, также и по присланному письму от его превосходительства г-на Президента Академии к князю Григорию Ивановичу Гагарину[8], к которому мы явились и были приняты благосклонно, объявив, что он исполнит в точности поручение его превосходительства в рассуждении нас. Пожелав видеть мои начальные занятия, уверил, что примет живейшее участие в наших успехах.

Почитая полезною для себя обыкновенную методу здешних художников, чтобы в хорошее время года выезжать для практики в Тиволи, во Фрескати, Альбано и другие места, я должен предуведомить Академию, что из пенсиона, определенного на мое содержание, мне невозможно будет предпринимать таких путешествий, ибо надобно оставаться в тех местах довольно долгое время и, между тем, удерживать за собою в Риме комнату для пристанища; к тому же, и там, так же, как и в самом Риме, все возвышения и лучшие места для видов огорожены и за позволение пользоваться сими местами надобно дорого платить их хозяевам или сторожам. Видя сии трудности, я нахожусь принужденным представить оные на уважение почтенного Совета Академии.

Впрочем предавая себя в дальнейшее покровительство Императорской Академии художеств, имею честь быть с глубочайшим почтением

Покорный слуга Пенсионер
Сильвестр Щедрин.

При сем прилагаю дневную записку о виденных мною достопамятных вещах и о сделанных мною наблюдениях.

Рим. Марта 6-го дня нов. ст. 1819-го года.

Дневная записка [9]

Императорской Академии художеств пенсионера Сильвестра Щедрина о достопамятных вещах, виденных им в иностранных государствах, о находящихся там отличных художниках и о сделанных им на счет оных замечаний.

Августа 9-го нов. ст. По приезде моем в Берлин явился к г-ну Шадову, Ректору Берлинской Академии, который дал билеты для впуску во все места и галереи, находящиеся под его ведением, и показал свои мастерские, наполненные его работами, где я видел бюст нашего Императора, мало похожий и другой бюст колоссальный короля прусского. Монумент Блюхера я не мог видеть, у него только находится голова, рука и сабля от сей довольно колоссальной статуи. Но он показал чистый ескиз оного и барельефы для подножия монумента, которые у него чеканятся в мастерской. На одном из них изображено сражение при Бель Альянсе, где под героем убита лошадь и он представлен упавшим, гений Германии прикрывает его своим щитом, на других барельефах представлены его победы в аллегорическом виде. Теперь он занимается монументом Лютеру.

Отсюда прошли в Дворцовую галерею. В сем большом собрании картин мало находится примечательных произведений, но и те весьма дурно сбере-

жены, некоторые прорваны и в дурных рамах; но в сей галерее находится один только пейзаж Гакарта[10] посредственной работы. Тут же есть картина, писанная г-ом Давидом, представляющая Наполеона на лошади, проезжающего Альпы, написана черно и кисть грубая.

Августа 10-го. Видел галерею, называемую Джюстиниани, где между небольшим числом отборных исторических произведений находятся также пейзажи: Клода Лорена, представляющий Диану, когда она возвращает Ипполиту Арицию, позади сих фигур масса деревьев, написанных с большим искусством, но прочие части оным не отвечают, имея колер тяжелый, отчего расположение светов едва приметно; Вернета, представляющий Тивольский водопад, и Сальватора Розы „Бурная ночь“. Месяц освещает места дикие, сия картина почитается лучшим произведением сего художника, но слишком небрежная отделка отнимает несколько приятности. Тут же находится картина Рафаэля Св. Иоанн, но самая лучшая из всех есть известная картина Гвидо Рени, представляющая Св. Павла и Св. Антония в пустыне, с которой находится очень хорошая копия г-на профессора Угрюмова в Петербургской Академии. Картина сия отличнейшая и составляет всю цену сего небольшого собрания. Во фламандских картинах отличается Букет цветов, написанный с отменным искусством Ван Гюизеном[11], и другая картина, Петра Гооге, представляющая двор, где сидят двое охотников, женщина подает им вина, подле дверей дому сидит маленькая девочка с собакой. Картина сия есть совершенный отпечаток натуры: освещено просто, художник не прибегал ни к каким средствам, отдаляющим произведение от природы, и, нимало не затемняя воздуху и стен, чтобы отделить чрез то какую-нибудь малость, дал каждой вещи свой колер, свет и тень, и каждая вещь приметно освещается солнцем. Сия картина есть единственная в сем роде.

Августа 10-го. Ездили в Шарлоттенбург. Войдя в домовую церковь, на престоле стоит Распятие на маленьком малахитовом пьедестале, подаренное нашим Государем Императором, в боковой части стоит памятник работы г-на Шадова, поставленный королевою[12] ее сыну, скончавшемуся двух лет. Он представлен лежащим и почти нагим. Из церкви проходили по многим комнатам, стены которых наполнены фамильными портретами, труды художников самых посредственных. Из Дворца провели нас чрез сад, где мы увидели обсаженный печальными ивами Кенотов, внутри которого погребено тело королевы, над оным стоит памятник трудов берлинского профессора г-на Рауха. Королева представлена лежавшею, сложивши руки на грудь и положив нога на ногу. Мрамор и хорошее освещение еще дают более блеску сему прекрасному произведению (сия статуя в мастерской г-на Кановы). Над головою королевы висят венки, которые принцы и принцессы, ее дети, приносят каждый год

в день ее рождения, снимая старые, кладут их внутрь гробницы, где покоится тело, и вместо оных вешают новые.

Проезжая Бранденбургские вороты, почитаемые пруссаками лучшим произведением архитектуры, я рассматривал украшающие их скульптурные работы, которые производились по моделям г-на Шадова. Наверху стоит Победа в колеснице, везомая четырьмя лошадьми. Пруссаки, показывая свои лучшие произведения, всегда прибавят, будто тем тщеславясь: „Наполеон возил сию вещь в Париж“ [13].

Августа 11-го. Ездили в Потсдам, где самое первое показывают пять комнат, которые некогда занимал Фридрих Великий. Все вещи оставлены в том порядке, как было при нем, в кабинете его стоит еще пулпитр и ноты, которые он разыгрывал. Из сих комнат ввели нас в покой нынешнего короля, здесь находятся две картины Гакарта — Виды Неаполитанские. Одна из них представляет закат солнца, колорит и светы весьма верны и натуральны, но живопись несколько суха; другая, представляющая полдень, отделана с отменным тщанием, но, находясь подле первой, где колера имеют более теплоты, много от сего теряет. Тут же находится работа Казановы [14], представляющая Фридриха Великого, едущего на смотр со своими генералами. Король представлен уже старым, и лицы генералов суть верные их портреты. Сия картина достойна славы сего художника. Церковь Инвалидная наполнена работами профессора Шумана [15]. Сии картины других достоинств не имеют, как только чистоту, с каковою они написаны. Нам отдернули занавес у кафедры и показали гробницу Фридриха Второго и его отца, больше ничего нет как два металлических гроба.

Августа 12-го. Входили в Мон Бижу, где видели несколько Антических слепков, и между ими также отливки с известных Елгиновых мраморов [16].

Августа 13-го. Выехали из Берлина и 15-го того же месяца приехали в Дрезден.

Августа 16-го. Рассматривал огромную галерею Дрезденскую, наполненную отборными произведениями знаменитых художников. Вошедши в залу, первое желание мое было увидеть Поклонение пастухов, или так называемую Корреджеву Ночь, которая столь славится; картина сия совсем не сделала того впечатления, которого я ожидал. Божия Матерь со Спасителем, от которого освещены все предметы прекрасно, но смотря на картину в некотором отдалении приметна пестрота в прочих фигурах. Мадонна Сан Систа есть произведение, которым гордится сия Галерея — труды единственного Рафаэля, и это первая картина сего славного художника, которую я увидел, воображая по словам некоторых увидеть дурную живопись. Я нашел напротив: композиция, рисунок и колорит в равной степени достойны его славы. Между картинами

относительно в моей части я заметил следующие: Рюиздаля, одна представляющая Болотное место. Картина превосходная, подобная ей находится в Петербургском Ермитаже. Другая представляет Кладбище, местоположение дикое, освещение самое мрачное, в разных местах расставлены гробницы, на которые проходит сквозь деревья слабый свет. Картина сия невольным образом заставляет вникать во все предметы, изображенные на ней с отменным знанием, и приноровлена к одной цели. На третьей его картине представлена группа деревьев, между которыми виден Замок Ветгелс. Сии картины суть превосходные образцы для художников, занимающихся ландшафтною живописью. Но две картины Клода Лорена заставляют забыть все, до того виденные по сей части произведения. Первая — Вид, снятый с сицилийского берега. Луч восходящего солнца отражается на поверхности колеблющегося моря, вдали видна часть города, напереди под тенью дерев покоятся Аст и Галатея. Картина сия есть совершеннейшее произведение сего знаменитого художника, и чем более рассматриваешь оную, тем более удивляешься искусству, с каким написана вода и разбросаны на ней блики, что очень трудно сделать натурально, в то же время избежать пестроты, так и точности, с каковой наблюдена перспектива в изображении удаляющегося моря. Смотря на оное, кажется, видишь ужасное его пространство, между тем как другие художники, представлявшие тот же предмет, так мало могли дать своим картинам сей перспективы, сего удаления, что можно думать, будто они хотели изобразить только малую часть моря. Тут же находится другая картина Клода Лорена — Вид, взятый из окрестностей Римских. По обеим сторонам массы деревьев, на втором плане видна речка и небольшой водопад, за оным открытая плосковатая дальность. Картина сия написана легко и чрезвычайно натурально. Деревья, находящиеся на первом плане, где изображено Бежание в Египет, отделаны с величайшим тщанием, но общий ее тон несколько холодноват, и это тем более приметно, что подле находится небольшая картина Алберта Кюйпа, представляющая при закате солнца отдыхающее стадо. Хотя в сей картине и нет той отделки, но колера и отменное расположение светов, брошенных на животных, делают ее прелестною, также весьма искусно представлен закат солнца, воздух прикрыт облаками, один только горизонт освещен ярко. И кажется, как будто видишь в самой натуре последние лучи заходящего солнца. В сих произведениях весьма приметно, какую силу имеет приятный и верный колорит. Рассматривая оные, нельзя не удивляться искусству фламандских живописцев как в красках, так и [в] смелых выборах моментальных освещений, которые они умели в одном духе удержать.

Далее находятся картины Метсю. На одной представлен старик, держащий петуха, которого он подает подле стоящей женщине, на столе лежат убитые

зайцы и разные дворовые птицы. На другой представлена женщина со служанкой, одна держит голубя, другая зайца, мальчик, стоящий между ими, наполняет группу. Сии небольшие картины суть образцы терпения и искусства, но чтобы узнать всю их цену, то должно прибегнуть к увеличительному стеклу, тогда откроется удивительная и даже невероятная отработка, которую простым глазом едва ли приметить можно. Как в изображении фигур, так и животных все выполнено с самою подробною точностью и при всем том не видно ни малейшей сухости и натяжки. Тут же находится картина Генриха Фершуринга[17], на которой представлено Ведение Христа на распятие, Семион принимает его крест, все фигуры представлены в одежде фламандских мужиков, в странных костюмах солдаты разгоняют народ, который от тесноты падает во все стороны в разных смешных положениях. Хотя краски в сей картине очень хороши и они ставятся наряду со славнейшими картинами, но такое безобразие в столь благородном сюжете нестерпимо. Далее находятся произведения Поттера, Бергема, Теньера, Вандервелда. Но лучшие картины сих художников находятся в Петербургском Ермитаже, ко славе коего можно еще и то прибавить, что нигде с таковою опрятностью и чистотою картин не держат. В Дрезденской галерее они очень загрязнивши, в больших картинах сие не столь приметно, но прекрасные картины Жерарда Доова, Тербурга, Вувермана, Остада и проч. много от неопрятности теряют. К сожалению, краткость времени не дозволила мне рассмотреть со вниманием прочие картины, которых собрание здесь чрезвычайно велико.

Августа 17-го. Был в Музеуме древних мраморных вещей.

Августа 18-го. Входил в залы открытые, где были выставлены произведения нонешних саксонских художников. За вход сбирается с человека по грошу серебра (ein Grosch Curant), и желающие иметь каталог платят три гроша, сумма сия сбирается в пользу бедных.

Залы наполнены живописными картинами, скульптурными произведениями, рисунками с натуры, гипсов и даже оригиналов. Всех художнических вещей простирается до шестисот, сверх того тут же выставлены разные тканьи, часы, фарфоровая посуда и проч., большая часть картин суть рода ландшафтного. Смотря на них, тотчас приметить можно, что здешние художники мало пользуются своею славною галереею и прекрасною в окрестностях Дрездена природою. Они должны бы были подражать самому Гакарту, который, как известно, первый начал писать свои картины с натуры и вникать в правила своего искусства, ибо до него пейзажисты занимались композициями или писали с одних чертежей. Но вместо того живописцы дрезденские подражают только его манеру, отчего живопись их суха и монотонна. Впрочем, картина г-на профессора Кленгеля[18], в которой представлена им напереди группа деревьев,

а за ними церковь в готическом вкусе, конечно заслуживает всяческой похвалы, но жаль, что слишком зеленые колера портят тщательную его отделку. В другой его картине, представляющей деревенскую школу и показывающей, что художник мало занимался рисованием фигур, нет ни того колеру, ни той забавной композиции, которыми так отличаются фламандцы, представляя подобные сюжеты. Третья его картина представляет Бородинское сражение. Художник, чтобы облегчить себя, прибегнул к легчайшему способу, закрыв большую часть картины дымом от пушечных выстрелов и оставив на первом плане несколько саксонских кирасир. Вдали видна деревня Бородино в пламени. Лучшая картина по исторической части есть профессора Гартмана[19], представляющая похищение Гиласа нимфами Енницией, Молицией и Пергией. Сия картина от прочих отличается правильностью рисунка, но композиция чудна. Художник воспользовался сюжетом в точности, поставив все фигуры в воде, с тою разницею, что одна более других менее закрыта. Тут же находятся труды г-на Бренна[20], написанные им Римские виды.

Августа 20-го. Выехали из Дрездена и, переехав великолепные Богемские горы и места, где русские покрыли себя вечною славою, я видел близ Кульмы чугунную пирамиду с надписью: „Убитым прусским воинам при Кульме. Благодарный король и отечество“.

Августа 22-го. Приехали в Прагу и, пробыв в сем городе два дня, отправились в Вену через Иглау, Знаим, Голлабюн и прибыли в сию столицу августа 29-го.

Сентября 3-го. Советник Посольства г-н Отт провел нас в Императорский дворец, где видел статую г-на Кановы, представляющую Полигимнию, подаренную императрице сим известным художником. Тут же находятся три картины Иосенни Буитти — виды Неаполитанские, написанные с довольным подражанием природе, в особенности Внутрен[н]ость церкви св. Марка, которая украшена позолоченной мозаикой. Скопировано им весьма удачно. На всех сих картинах представлены праз[д]ники, даваемые в честь императору Австрийскому Францу в бытность его в сем городе.

Сентября 4-го. Был в галерее графа Лихтенштейна, где видел Поклонение пастухов, писанное славным Гвидо Рением, все предметы освещаются от Христа, с чрезвычайной верностью, и вообще тон в картине очень хорош. Тут же находится 7-мь больших картин Рубенса, сюжеты оных взяты из жизни консула Деция. Кажется, художник хотел в сих произведениях показать всю свою силу в красках, общим согласием и приятным колоритом привлекает к себе зрителей, и всякий, оставив вещи более достойные, кинется с жадностью к сим картинам. Но увидевши, как художник презирал все правила рисования, восхищение не долго продолжаться будет. Сражение Деция столь удалено от

натуры, что некоторые воины, сражаясь, держат щиты в правой руке, а мечи в левой. Фигуры также постановлены неправильно, их ноги, руки выворочены, все сие разрушает очарование. Но портреты двух его сыновей есть превосходнейшие образцы живописи. Напротив висят два портрета Валенштейна и принцессы Таксис трудов Ван Дика. Сии две картины превосходят всякую похвалу. Далее находится картина Казановы, представляющая едущее семейство через лес, где застигла их буря, молния ударяет близ их в дерево, испуганные лошади, отчаяние людей живо изображено. Сия картина отличается смелостью моментального освещения и легкостью манера. Смотря на оную совсем неприметен труд. Тут же находятся два ландшафта Гаспара Пуссена[21], но слишком серы и монотонны. В верхних комнатах находится небольшая коллекция картин Шнейдерса, представляющих ловлю зверей и овощные лавки. Произведения отборные сего единственного в сем роде художника. Далее комнаты наполнены мелкими картинами фламандских живописцев, между которыми отличается Брюгель своею необыкновенною отделкою.

Сентября 6-го. Рассматривали небольшое картинное собрание графа Ламберга. Галерея сия замечательна порядком, с каковым там держатся картины. Лучшая из сей коллекции есть картина Теньера, представляющая сидящую за столом ворожею и молодую девушку, которых окружают духи. У ног ворожеи лежат разные приуготовления для чародейства. Насмешки старухи и робость девицы живо изображены. Также и духи окружающие весьма хорошо и вместе забавно скомпонованы. Тут же находятся четыре картины Клода Лорена. Лучшая из них, представляющая Приморский вид, где сквозь легкий туман видно восходящее солнце, которое слабо освещает предметы, написана очень приятно. В сих комнатах видел также работающего ландшафтного живописца г-на Шеттелбергера[22]. Художник сей довольно удачно написал картину, содержание которой взято из Шиллеровской баллады Рыцарь Тоггенбурх, приятный тон в картине прикрывает некоторые недостатки.

Императорский Бельведер украшают превосходные портреты, написанные Рембрандтом. Тут же находятся колоссальные и безобразные творения Рубенсовой школы. Пейзажей в сей Галерее мало и нет значительных. Для любителей древней немецкой и нидерландской школы находится здесь довольно большое собрание.

Сентября 8-го. Входили в Галерею князя Естергазе, которая довольно обширна, в ней находятся два пейзажа Сальватора Розы, писанные им в лучшее его время, представляющие гористые и дикие места. Сии картины много разнствуют от всех произведений сего художника, они написаны с отменной легкостью и колера совсем не имеют той черноты, какие видны в других его картинах, и сверх того, все предметы отделаны с удивительным тщанием, что

у сего художника весьма редко можно найти. Подле находятся картины французской школы, между коими отличается Смерть Германика и Св. Фамилия, написанные Николаем Пуссеном. Последняя имеет колер самый легкий и свежий. Тут также находятся картины Клода Лорена, на одной представлена посередине группа деревьев, между которых видны сельские красивые строения, на другой стороне сих деревьев небольшая дальность. На первом плане стадо, идущее к реке. Подобная сей находится в Петербургском Ермитаже, но кажется, обе сии картины писаны самим художником и нельзя отдать преимущества ни той, ни другой. Другие залы наполнены работами фламандских художников, между которыми отличается Рюиздаль и Сваневелд. Произведения последнего весьма редки, и мало в чьей галерее их можно найти. Здесь находящаяся его картина не имеет такого блеску, как произведения других фламандцев, хотя в ней довольно натуры, но смесь светов с тенями не согласуется. Первые очень холодны, а последние имеют слишком рыжеватый цвет, впрочем она отличается композициею и расположением лесов, которые он обыкновенно представлял.

Нельзя миновать картины Алберта Кюйп. На одной из лучшей из них местоположение выбрано им самое простое, но отдыхающее на первом плане стадо изображено очень живо и воздух написан столь удачно, что невольно опять возвращаешься к ней. Тут же находится картина Рембрандта — Биение Христа, на которой рисунок безобразит свежие и прекраснейшие колера. Далее находятся несколько работ новейших художников, в том числе Ландия[23] — одна лежащая совсем нагая женщина, работа не отвечает славе художника, колорит ложный и тело кажется выкрашенным. Галерея сия замечательна большим собранием естампов и рисунок [рисунков. — *Э. А.*] известнейших художников, но краткость времени и назначенные дни, в которые можно видеть все сии вещи, нам препятствовало рассмотреть оных.

Сентября 10-го. Выехали из Вены и, проехав дорогами гористыми, но хорошо устроенными — Брюк, Грац и Лайбах, прибыли в Триест, пробыв в сем городе три дня, отправились в Венецию, но при противном ветре должны были выйдти на берег близ Пиронны, где еще четыре дня ожидали ветру и наконец отправились далее.

Сентября 29-го. Прибыли в прекрасную и вместе живописную Венецию и 30-го числа начали рассматривать достопамятности сего города. Пройдя на площадь Св. Марка, великолепно обстроенную по обеим сторонам огромными зданиями, я увидел церковь Св. Марка и Дворец Дожей, строение хотя архитектуры неправильной, но при всем том поражает с первого взгляда своей огромностью Вошедши во Дворец Дожей, где нас ввели в Тронную залу, первый предмет есть картина Тинторетта, представляющая Рай, единственная

в свете своей величиной писанная на холсте, она имеет в длину 74 венецианских фута. Художник трудился над оною семь лет, невозможно рассмотреть множество фигур и голов, смешивающихся в воздухе одних с другими. Кругом сей залы, под фризом, находятся грудные портреты Дожей, поставленные по порядку их правления, но место, где должен быть портрет Дожа Марин Фалиера, закрыто написанною черною драпировкою с означением его имени. Известно, что Дож сей захотел захватить к себе верховную власть, но умысел был открыт и ему отрублена голова на площади Св. Марка. Под портретами находятся большие картины Павла Веронеза, Палма младшего и Тициана, большей частью представляющие победы Венеции над Императором Барбароссою, посередине залы поставлены в небольшом числе антические мраморы. Отсюда провели нас по другим залам, потолки коих украшены плафонами, которые были увезены в Париж, хотя некоторые и возвращены, но самые лучшие пропали.

Октября 1-го. Входили в Дом Барбаригов, где жил Тициан. Хотя в сих комнатах и находятся труды сего славного художника, но картины загрязнивши так, что едва можно рассмотреть некоторые предметы. Вообще, в Венеции от дурного за ними присмотра нельзя видеть, притом же лучшие произведения находятся в церквах, где к ним обыкновенно так близко ставят зажженные свечи, что они от жару и копоти совсем испортились.

Октября 2-го. Рассматривали Галерею в Академии, где видел прекрасную картину Тициана — Взятие Божией Матери на небо и другую — Павла Веронеза, представляющую Св. фамилию. Последняя показывает, до какой степени совершенства в живописи человек достигнуть может. Божия Матерь сидит на некотором возвышении, держа божественного младенца, который, наклонясь к Иоанну, протягивает руку, как будто хочет от него принять знамя, внизу стоят Св. Иероним, Св. Жюстина и Св. Франциск. Сия картина написана легко, тон приятный и ракурсы соблюдены совершенно.

У Пизани Моретта находится другая его картина, на которой представлена фамилия Дария у ног Александра, и которой он воздал дань благодарности за гостеприимство и призрение во время болезни, им найденное у одного семейства. Картина сия хотя имеет недостаток в рисунке и хотя в ней не соблюдена одежда того времени, ибо все одеты в гишпанские платья, но при всех сих погрешностях она поражает какою-то приятностью, которую трудно отыскать у других славных художников. Против висит картина Пеацетта, представляющая смерть Дария, которой краски, к сожалению, потерпели от времени.

Октября 3-го. Были в Галерее Монфрина [24]. Сие небольшое картинное собрание более всех в порядке, здесь находятся четыре ландшафта Дитриха [25], пред-

ставляющие Тивольские виды, они написаны тщательно, но натура мало копирована. В Галерее сей находится Каналетто, два вида Венецианских. Чтобы отдать всю справедливость искусству сего художника, то должно быть в Венеции, чтобы их сличить с самой натурой. Сим заключаются все картины по ландшафтной части, виденные мною на пути в Рим.

В церкви Св. Роха находится большая картина Тинторетта — Спаситель исцеляет больных, в сей картине много потеряно против находящегося в Петербургской Академии ее ескиза, в котором колера лучше и свежее. Подле сей церкви находящаяся школа, где обучался Тинторетт, вся уставлена огромными картинами сего художника, удивляющего своими необыкновенными трудами, но все сии картины вовсе испорчены, одна только уцелела, на коей изображен Христос распятый с разбойниками, мерою 15-ть шагов. В сей картине, хотя и видно знание и талант художника, но она не делает никакого впечатления, а колера не имеют блеску.

Остальное время употребил на рассмотрение церквей. Церковь Мадонны del la Saluto, построенная по прожекту архитектора Лонгиена по прекращению бывшего в Венеции мора, имеет над главным престолом группу, выработанную из мрамора с большим искусством и представляющую Божию Матерь, которую отчаянная Венеция в виде молодой женщины на коленях умоляет прекратить язву. Здесь также есть картина Луки Жордана, представляющая Рождество Богородицы, Введение во храм и Взятие Божией Матери на небо. В сих картинах приметна та скорость, с каковою он обыкновенно писал, не входя в подробности, они прекрасны. Также плафон Тициана — Авраам, приносящий сына на жертву, Смерть Авеля, Давид, умерщвляющий Голиафа. Кажется, сей славный художник не столь был способен писать картины на возвышения. Его колер и кисть, слишком нежная, теряется в большом пространстве.

Октября 4-го. Выехали из Венеции. Дорога до Падуи плоская и прекрасно застроенная по обеим сторонам великолепными виллами и садами. Прибыл в Падую и, пользуясь коротким временем, я осмотрел церкви Св. Жюстины и Св. Антония Падуанского. В сих церквах нет картин, заслуживающих внимание. Также входили в залу Ратуши, славящуюся своей величиной, коей стены расписаны внутри такими дурными фресками, которые ее не украшают, а портят. Выехав из сего города и проехав Моналиси, Болонию, Феррару, октября 9-го прибыли во Флоренцию, где и пожелали остановиться. Пробегая со скоростью прекрасное собрание антических мраморов и картинную галерею, я ничего не мог рассмотреть в подробности.

Октября 10-го. Отправились в дальнейший путь, прибыли в Сиену, где осмотрев огромную Соборную церковь, украшенную с довольным великолепием. При ней находится библиотека, стены коей расписаны Пинтурикием,

и тут же поставлен антический мрамор, представляющий Трех граций, найденный в земле при построении церкви. Также показали пол, на коем изображены с довольною правильностью разные случаи из Священной истории. Он собран из темноватого мрамора и совершенно походит на рисунок, деланный тушью. Отправившись из Сиены чрез Монтефиасконе, Сан Квирико, Аква Пендента и Витере, прибыли в Рим.

Вручив письмо от Академии г-ну Матвееву, я видел его мастерскую. Между многими хорошими произведениями отличаются два Вида Тивольских водопадов, написанные им с отменным искусством; главнейшее его достоинство, в чем и самые соперники отдают ему справедливость, состоит в искусстве писать дальние планы, что не всегда удачно представляли и самые славнейшие художники. Он пишет оные с отменною легкостью, выполняя верно все части, которые только глаз может видеть на самом большом пространстве, умеет оные прикрывать так, что совсем неприметен труд, копируя совершенно южную природу, он означает как колером, так и рисунком разные качества дерев, соблюдая при том и надлежащую величину их листьев так, что, смотря на оные, всегда различишь одно дерево от другого. Он не менее удачно умеет пользоваться счастливым освещением, отчего картины его имеют приятную теплоту, что отличает его от художников посредственных и ставит наряду с лучшими.

Что же касается до других лучших художников по ландшафтной живописи в Риме, как Воохта[26], Терлинга[27], Вахштабена[28], Шовена[29], то хотя я и посещал сих художников, но не мог видеть их настоящих работ, ибо они только перед нашим приездом оные отправили, делавши по заказу, а оставили у себя токмо незначущие вещи. Видел также немецких художников Кателлия[30], Рабеллия[31] и проч., но ожидаю публичной выставки, которую они намерены в скором времени сделать. И как общество немецких живописцев здесь велико, то и можно ожидать большой експозиции, тогда, сличая одного с другим по их лучшим произведениям, я немедленно дам отчет в моих мнениях Академии[32].

3

В Императорскую Академию художеств от пенсионера
Сильвестра Щедрина[1]

Донесение

Его Императорское Высочество Великий князь Михаил Павлович на обратном пути из Неаполя через Рим проезде приказал мне отправиться в Неаполь и сделать там водяными красками с натуры два вида, ко [далее лист обрезан.— *Э. А.*] Г-ну надворному советнику Батюшкову поручено мне указать. Итак, теперь вследствие такового Его императорского Высочества отд [обрезано.—

Э. А.] из Рима, честь имею о сем в Академии художеств донести, равно, как и [обрезано. — *Э. А.*] что в течение трех протекших месяцев я занимался оканчиванием в[ида] Колосея, о котором уведомлял в последнем моем Императорской Академии художеств донесении, и сверх того еще сделал картину, представляющую Колосей с крестным в оную ходом, также занимался рисованием.

Доставлением работы, для начатия которой теперь отъезжаю в Пе [обрезано. — *Э. А.*] я обязан старанию Г-на Советника Академии Кипренского, исходатайствовавшего оную через посредство Его Превосходительства Павловского. Выгоды оного, доставляемые мне, тем важнее, что виды необходимо на летнее время удалиться из Рима в его окрестности я не мог бы [обрезано. — *Э. А.*] принять без сего пособия.

Впрочем, предавая себя в дальнейшее покровительство Императорской Академии художеств, имею честь быть с глубочайшим почтением покорнейший слуга

пенсионер *Сильвестр Щедрин.*

Рим. Июня 1 дня 1819 года.

4

В Императорскую Академию художеств от пенсионера Сильвестра Щедрина [1]

Донесение

Честь имею донести, что в течение моего пребывания в Неаполе я занимался следующим: по приезде моем в сей город употребил некоторое время на осмотрение оного, сделал в сие время етюды с натуры для рисунков Его императорскому высочеству великому князю Михаилу Павловичу и для своего облегчения повторил оные масляными красками, но начиная два раза чистые рисовать, я принужденным находился оные оставлять неоконченными, не имея нужных к тому хороших материалов, как-то: бумаги и красок, и которых не токмо в Неаполе, но даже в самом Риме достать не мог. По сей причине я прибегнул с просьбою к Его превосходительству г-ну Президенту Академии исходатайствовать мне позволение делать сии виды масляными красками, на что и получил разрешение. В течение же сей переписки и привел одну картину к окончанию, назначенный вид Его высочеством из Королевского саду (Villa Reale), где видна часть города и гора Везувия с моря.

Сверх того написал по заказу две картины, представляющие вышеупомянутый вид с переменою во всех первого плана освещении и расстояния. Теперь занимаюсь тем же предметом, но в меньшем виде. Написал небольшую кар-

тину, представляющую С-тъ Лучие с множеством фигур, обыкновенно наполняющих сию часть города. Тот же самый вид начинал при лунном освещении, но оставлен мною неоконченным. Сделал при том несколько незначущих етюдов.

По возложенной обязанности на каждого пенсионера присылать свои работы в течение года я не мог выполнить, ибо должен употребить много времени для делания картин его высочества. Сверх того малое содержание принудило меня заняться посторонними ра[бо]тами, чтобы не претерпевать нужд в Неаполе, в коем несравненно все дороже римского, и чтобы быть в состоянии предпринимать поездки в окрестности сего города и прожитья в оном, на что требуется больших издержек. По окончании же всех работ и обеспечив себе со стороны содержание, я не премину представить мои труды в Академию.

Впрочем, предавая себя в дальнейшем покровительству Императорской Академии художеств, имею честь быть с глубочайшим почтением

Покорный слуга пенсионер
Сильвестр Щедрин.
Неаполь. Генваря 1-го но. ст. 1820 года.

5

В Императорскую Академию художеств от пенсионера Сильвестра Щедрина [1]

Донесение

Со времени последнего моего донесения я занимался следующим: написал два вида с натуры, один взятый с горы Палатинской, другой с Тибра, на острове святого Бартоломея. Для приискания места и пункта я сделал етюды, прежде нежели приступить к большим картинам, но переменные погоды препятствовали мне оные скорее кончить, чтобы выехать в окрестности Рима, и только в августе месяце я приехал в Тиволи, где и написал двенадцать картин разной небольшой меры. Виды, заслуживающие более внимания, приводил я к окончанию. Таковых находится шесть, как-то: два вида главным каскадам, вид храма Весты, вид Понте Лупо (Ponte Lupo), внутренность виллы Мецената и вид города Тиволи с равниною римскою. Я не мог по желанию сделать других примечательных видов, коими изобилует сия страна, единственная по своему живописному местоположению, беспрестанные дожди в октябре месяце, продолжавшиеся около трех недель, в которое время не находил для себя никаких занятий, принудили меня выехать оттуда в Рим. По наступлению постоянного времени я опять возвратился в Тиволи, где и пробыл до 24-го

ноября. Теперь я начал большую картину, представляющую вид Колисея с окружающими оный предметами.

По возвращении моем в Рим Его превосходительство Андрей Яковлевич Италинский [2] объявил о двухгодичной отсрочке нашего пенсиона. Такая великая милость оказана нам, конечно, более уважая представление начальства, нежели наши заслуги. Чувствую все обязанности, каковые оная на меня возлагает, и буду всеми силами стараться, дабы Академия и впредь находила меня всегда достойным своего заступления.

Впрочем, предавая себя в дальнейшее покровительство Императорской Академии художеств, имею честь быть с глубочайшим почтением

покорнейший слуга, пенсионер
Сильвестр Щедрин
Рим. Генваря 19-го, нов. ст. 1822-го года.

Письма

1819

1

Ф. Ф. и М. П. Щедриным[1] Рим, мая 6-го 1819 года.

Поздравляю любезных Ректора и Ректоршу, полного Профессора и Профессоршу и медалиста с повышением чинов, желаю и повышения здоровья и провозглашаю vivat, ура. Es Lebe.

Письмо ваше получил я маія 4-го нов. ст., за что приношу чувствительную благодарность, прошу неоставлением оными и впредь. Письмо обстоятельное пришлю вслед за сим, приложа к рапорту Академическому, куда должен донести об отправлении моем в Неаполь. Пользуясь отправлением письма С. И. Гальберга[2] чрез банкира, посылаю сию записочку.

Вот и от меня приятная новость! Великий князь[3] на обратном пути из Неаполя призвал меня к себе и встретил сими словами: „поезжайте в Неаполь и сделайте два вида водяными красками, Батюшкову поручено вам показать места". Чрез несколько дней объявили цену, то есть 2500 ср., самую выгодную и царскую, а в Неаполе, вы знаете, мне должно побывать. Итак, не тратя своего пенсиону и не отнимая время от пребывания моего в Риме, я могу провести с пользою время, притом же на лето я бы должен ехать куда-нибудь в окрестности, как-то: Тиволи, Фрескати и даже в Неаполь. Сверх того, Батюшков прислал сказать, что приготовил у себя в доме мне квартиру с его услугой. Но о всем этом скоро узнаете подробно. Отправлюсь же я, окончив картину небольшую для князя Гагарина, но об этом не говорите до присылки рапорта, впрочем, как вам угодно. Не худо, если Министр выхлопочет нечто за мои картины, и если выйдет какая милость от Государя, то располагайте по вашему усмотрению. Что же касается до меня—я такой нужды не имею, а важность в том, чтобы оные дома не квасились. Впрочем, вы Ректор, следовательно, сами все знаете. А за меня поцелуйте Лизиньку, Машеньку, Павлушу, Верушку, Наташеньку[4], а знакомым поклонитесь.

Остаюсь любящий сын Вашего высокородия

Мое благородие *Сильвестр Щедрин.*
Рим, майя 6-го 1819 года.

Вот, маминька, подождите un poco [немного] я вам опишу римских жителей, вы имеете теперь славного корреспондента, покамест. Амин!

2

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь, Июнь, 1819 год.

Раненый Самуил Иванович! [2] Наконец я в Неаполе и уведомляю Вас, нужно или нет, что я, слава богу, здоров, этим обыкновенно начинают письма приехавшие в какое-либо место. Правду сказать, не весело было ехать, сидя в карете с людьми совершенно посторонними. По счастью, тут же был один французский пенсионер, архитектор, весьма добрый человек, а прочие три сардинца, два римлянина, один капитан... неаполитанец. Хотя народ и учтивый, но надоедает своими вопросами. Ловкий француз тотчас отбоярился от сардинца, похожего на Моисеева [3] и который лез к нему с вопросом: для чего он молчит; сей ему отвечал, что он не может много говорить, ибо у него тотчас заболит грудь, тогда он обратился ко мне и стал спрашивать: христиане ли русские, прося, чтобы я ему прочитал по-русски „Ave Maria". Француз за меня ответил, капитан храбрился, держа в руках два пистолета, говоря: лучше умереть дравшись, нежели дать себя обокрасть таким бездельникам. Но приехавши в Альбано, он отвинтил курок и дуло у своих пистолетов, чтобы в случае нападения показать, что он не думал защищаться, и о храбрости своей больше ничего не говорил. На другой день должно проезжать Понтийские болота, Глинка мне сказал, что от них чувствителен запах. Позавтракав, переменив места, я сел подле капитана. Лишь двинулась карета, ужас, как завоняло, я скучал, что почти целый день должен терпеть такую вонь, высунулся в окошко, чтоб больше удостовериться, но ничего не бывало, а понтийская вонь выходила изо рта капитана, и, скучая одним днем, должен был терпеть всю дорогу, ибо приходилось садиться или против него, или подле. Впрочем, с итальянцами ездить хорошо, все расчеты взяли на себя, как-то: при прописке паспортов, и осмотру чемоданов, и боналяно [дурной человек] не передаст и копейки, и во всю дорогу на расдачу не вышло 7 павлов. Мы жалуемся на нищих в папских владениях, но проезжая неаполитанские, скажешь поневоле, что там мало. Здесь обступит куча, за каретой бегут мальчишек двадцать, крича и прося милостыню с жестами, неаполитанец их отгонял, если не словами, так палками или швыряя в них каменьями. Но в Капуе нельзя равнодушно смотреть, до какой степени люди могут унизиться, с просьбою подойдет человек, весь голый, прикрыты только плечи какой-нибудь мерзкой тряпкой, а грешное тело все на виду, и делает всякие подлости, кидает камушки, подхватывая оные ртом, щелкает зубами, визжит и разные мерзости делает. Все это нестерпимо, их много в провинциях, ибо из Неаполя они выгнаны. Кажется, расстояние не слишком велико Неаполя от Рима, а разница большая в народе, так, при платеже или при раздаче денег, всегда побла-

годарит, а пуще если дашь лишнее. Здесь же, что ни давайте, хотя условную цену, всегда недоволен и требует с наглостью. И в первые дни я беспрестанно ругался и так привык, что теперь без причины сначала обругаю по матерну [...] и это несколько облегчает и утешает душу, а пуще кошелек, что важнее самой души и тела.

Что же написать о Неаполе? Город обширный и прекрасный, наполнен народом. Да, я живу у г. Батюшкова, на берегу морском, в самом прекраснейшем месте, где каждый вечер проходит и проезжает множество народа. Весь берег уставлен продажею устриц, рыб всякого роду и морских гадов, тут же черпают и продают мерзкую, вонючую минеральную воду, которую тут перед моим окошком пьют здоровые и больные. В первый день Кон. Нико. Батюшков рекомендовал меня своей хозяйке, француженке m. S. Ange, у которой две прекрасные дочери, и теперь слышу их прекрасный разговор, мягкий голосок, вижу их стройный стан, вникаю в милые поступки, рассматриваю прекрасные ручки, маленькие ножки, словом сказать, ну уж... к несчастью, не могу говорить по-французски, а иностранцы столь учтивы, что лишь поговорил, смотришь—уже и визит и билет, нечего делать, жарко, а тащат тоже с визитом, и рад, рад, если не застаю дома, оставляю билет и бегу, бегу скорее домой. Все к лучшему, нужда заставит выучиться всему. Что же касается до житья—здесь подороже, но зато стол гораздо получше и все приготовляют чисто. Сукно мне сейчас принесли черное на фрак, шаровары и камзол, самое лучшее французское, которое стоит 30 дукатов. Монету рассчитывайте сами напри[мер]: скуда ходит здесь 12 карлинов, а дукат—10, что составляет наших денег 120, немногим дешевле римского[...]

С сим остаюсь любящий *С. Щедрин.*

Прошу уведомить, если есть письма или какие другие дела и новости.

3

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. 18-го июля 1819-го года.

Любезный Самойла Иванович! Чувствительную приношу благодарность на Ваш ответ. Я было совсем отчаялся, живы ли Вы? здоровы ли Вы? и начал было думать, что меня грешного совсем оставили в стране, хоть многолюдной, но тем более чувствительно, что при всей огромной массе народа скитаешься один аки перст. Крайне сожалею о Вашей болезни, верно, Вас кобылицы не любят, что приметно по удару, но будьте спокойны, Вы счастливы в Вашей болезни, видите перед глазами Вашими всегда прелесть с шишкой, но крайне жалею, что Вас морят проклятыми вареными огурцами. Что же касается до меня,

то новые открылись таланты, куда ни взойду—в кафе или в трактир обедать, то всегда что-нибудь расшибу (но не каждый день, однако же довольно часто). Сказывают, у Вас Ария Каттива нонешнего году в высшей степени. Здесь хоть и жарко, очень жарко, но море всегда прохлаждает, а пуще в той части, где я живу. Место самое веселое, весь берег уставлен продажею устриц. По вечерам сии маленькие лавки или, лучше сказать, стойки освещают и это делает вид наипрекраснейший. В 6 часов подымается езда и шум престрашный. Эта дорога ведет в Королевский сад, где прогуливаются до 8 часов. На обратном пути останавливаются пить серную воду, другие садятся под моими окнами ужинать, где больше ничего не приуготовляют, как только рыбное, и потчуют себя: суп а пуассон, то есть уха, уха на вине, и едят фрутти де маре [устрицы] и прочую погань. Проклятые ужины продолжают до четырех часов утра, иногда дьявол подымет их танцевать, словом, делают всякие дурачества и кричат, как обыкновенно итальянцы, глас с гласом не сойдется. Лежишь, лежишь, встанешь смотреть. У нас дурачатся только пьяные, а здесь же все, без разбору. Хорошо, что милые хозяюшки приходят на мой балкон смотреть эту кутерьму и мне толкуют, но они слишком сентиментальны и очень благовоспитанны [...] Также хожу в морские ванны и теперь совершенно свежепросоленный и жары не боюсь, не протухну.

Неаполь описывать Вам не стану, приедете—тогда-то сами все увидите и узнаете, только припасайте денег. Здесь их очень любят, каждый день непременно надо пиастр, без квартиры. Я теперь живу один, К. Н. Батюшков уехал в Искию пользоваться тамошними банями, я его провожал за город 30 миль. По дороге в Пуццоли, во все это пространство, начиная с Гроту Позилипо, все Ария Каттива так, что в Лаго Daniano нельзя проводить ночь, всякий сделается болен. Причиною сей заразы сами неаполитанцы. Они возят мочить пеньку в сие озеро, которая, лежа там долгое время, гниет и заражает воздух, отчего живущие тут люди удаляются сих мест на все лето. Принужденные остаться по бедности, или другим причинам, держат беспрестанно огонь в каминах, и вся сия страна Иския представляет из себя пустыню, где изредка попадаются селения. Во всю дорогу видишь фундаменты древних зданий, поросшие совершенно деревьями и превратившиеся в одну массу, и неизвестно, что тут было. В некоторых местах попадаются маленькие катакомбы, или, так сказать, фамильные, совершенно в целости, и места для урны все видны, но праху нет [...] Возвращаясь назад, извозчик меня беспрестанно толкал, говоря: „нон не дорме“ [не спите], синьор“. Тут же Ария Каттива, хотя и без того нельзя уснуть, ибо дорога самая скверная, но подъезжая к Гроту, вотюрин едва не наехал на двух солдат, не крича и не давая знать, чтобы посторонились, как обыкновенно здесь водится. У них поднялась ссора,

извозчик одного назвал „повра креатура“ [„тварь несчастная“]. На шум прибежали другие солдаты и вступились—как он смел назвать военного человека „повра креатура“. Стали кидать в него шапками, схватив лошадь за узду, прося меня сойти с курикулы, требуя непременно, чтобы вотюрин уехал в полицию. Представьте мое положение—я сидел на возвышении, народ, обступив, смотрел на меня, разиня рот, однако же кое-как сговорились и нас отпустили.

Прошу попросить сих господ русских зайти ко мне, чем меня крайне обяжете и мне приятно будет видеть кого-нибудь из русских.

На днях я обедал у барона Голанда[2], секретаря посольства, тут же был один немецкий барон, который долгое время находился в английской службе и который мне многое, очень многое рассказал об образе жизни итальянцев, но это до другого времени [...]

Благодарю Вас, что Вы уведомляете моих родственников, о чем прошу и впредь. Хотя я и послал одно письмо из Неаполя, но теперь и я, со своей стороны, равно буду извещать Ваших, ибо наши письма не в одно время будут посылаться. Не знаю, каким образом присланное Ваше письмо попало в Искию и оттуда прислал ко мне К. Н. Батюшков. Я нахожусь, слава богу, здоров.

С сим остаюсь любящий *Сильвестр Щедрин.*

Здравствуй, Васинька[3] [...] живи, как я теперь живу, в рот хмельного не беру, до скоромного не дотрагиваюсь, а чем унимаю себя, выбегу на Толедо, пущусь за красавицей, но лишь опущу руку в карман, схвачу пиастр в руки, как тотчас и отпадет охота.

[...] Спасибо, братцы, что прислали письмецо, чем доставили великое удовольствие. Не шутя, прошу оными и впредь не оставлять и уведомить, что делается с рапортами и посланы ли они, и еще прошу уведомлять и о прочих русских, кто приедет в Рим, я имею некоторую надобность.

Твой, все, что ты хочешь и чем называешь

Сил. Щедрин.

Ну, моя крошечка Васинька Дрезденский, видишь, как я аккурат 18 числа получил письмо, того же числа обратно написал.

[...] Кланялся Матвееву, не знаю сколько раз, то поклонись еще и напомни о моей просьбе. Если он получил мое письмо, где я его просил о картине, а мольберт, пожалуйста, возьми.

С сим остаюсь Дрезденский наставник и, если угодно, и впредь.

С. Щедрин.

4

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь, 17 го августа 1819-го года.

Любезный Самойла Иванович! К Вам обращаюсь с нижайшею просьбою, оная состоит в следующем. Я получил письмо от Ф. М. Матвеева, в коем он меня уведомляет, что князь Гагарин препоручил Бартоломе взять мою картину и за оную заплатить, то и прошу Вас покорно ему оную отдать, сделав на мой счет следующие маловажные покупки, как-то: краски, шифервейзу шесть обыкновенных пузырей, какие там продаются, то есть небольшие или два больших, светлой вохры три пу[зыря], желчи один п[узырь], темной вохры два пузыря, бакану один пуз., кости один п[узырь], лазори один и пиастра на три ультрамарину, также холста длиною 10 вершков, шириною 8 вер., таковых четыре, да две холстины той меры, как я писал картину для князя Гагарина, и одну холстину, аршина в два, все оные вещи взять у краскотера Сильвестра а Strada Vite, заплатив ему за оные. Остальную часть денег препроводить ко мне и попросить от меня, если не будет г. Матвеев в Риме, ибо он писал, что уедет в Тиволи, Бартоломе, чтобы при удобном случае оные переправил ко мне, а деньги прислать, не теряя времени. Вы знаете, эти штучки всегда бывают нужны, если же вам по какому-либо случаю невозможно будет оное исполнить, то прошу поговорить с г. Матвеевым, по его возвращении в Рим, ибо я его уже просил, если мне будет надобность в тех вещах, к нему адресоваться. Так же не знаю что значит, Сазонов мне прислал сказать, чтобы я сам прикрыл свою картину лаком, а он не хочет. И в сем случае прошу взять какого-нибудь сводника в Пиаццо Диспанья, хоть бы он прикрыл. У меня же остался лак, который я велел Тете[?] принести к Вам или к Сазонову, и если оного нет, также прикажите купить на мой счет. Я прошу Вас, если оное возможно сделать без малейшего затруднения, в противном случае предайте все забвению. Здесь такой славный город, что достать ничего нельзя, и художники здесь такие, как у нас каретники, пишут в больших сараях, раскрыв настежь двери—вот его и мастерская.

Г. Савенков [2] и Герцбергский [3] еще находятся здесь, намереваясь пробыть еще долго, но вдруг собрались сегодня. Я на прощание обедал у Давыдова [4], который отправляется водою в Пизу, и мне рассказывал [что] они, узнав, что он нанял судно, пришли к нему с тем, чтобы он их взял с собою. Но это не беда, но вот что забавно, они с ним стали говорить по-итальянски, на котором Давыдов не говорит и на что он довольно смеялся; что русские к русскому пришли говорить на таком языке, которого никто из них порядочно не знает, но им дела нет. Савенкову кажется все дрянно, а другому—что все смердит.

Я их приезду был рад, ибо мог с кем-нибудь осмотреть По[м]пею и сходить на Везувию, последний вояж очень забавен. Приехав в Резину и взяв провожатого, сели на ослов и пустились на гору порядком тем же, каким ездят все путешественники, но не все такие трусы, как мы, что ниже увидите. Приехав к той части горы, куда уже не могут входить тихоходящие пегасы, и там мы их оставили. Взяв палки, побрели один за другим, сгорбившись по золе, где сделав четыре маленьких шага вперед, наверное, взад на один скатишься. После проходили по камешка[м], где сделав шаг, вместе с оными поддаешься назад на четверть. Однако же добрели до верху кое-как, и как сначала были веселы, так становились скучнее, по мере как подымались, ибо жестоко утомительно и даже по самой плоскости надо итти по камениям, где нога вертится взад и вперед и бедные мозоли не знали, что с ними делается, тащившись разными закоулками, как провожатый закричал: „кураж, пользуйтесь временем, идите скорей", и лишь мы поднялись на последнее возвышение, тут явилась гора, откуда извержение, и лишь стали мы оную обходить (приметить должно, что шли гусем, один от другого далеко), вдруг со страшным шумом сделалось извержение и посыпались камни. Я нагнулся, желая отойти к стороне, напрасно, камни летят вокруг меня на большое [про]странство, лишь прошло, я встал и вижу, что я один. Испугавшись, кинулся вперед и вижу моих товарищей, бегущих по горе что есть мочи, тут я смешался, стоя подле провожатого совершенно безопасно, но кинулся их догонять, крича, чтобы остановились, но нет, только одни пятки с гвоздями отвечают. Наконец, я закричал им, что они бегут без проводника, не зная направления забегут в такую чертовщину, что совсем пропадут, тогда они остановились. Бледные, обезображенные, едва переводя дух, кричат проводнику, чтобы шел к ним, что они хотят сойти с горы. Я стал их просить—хотя бы издали посмотрели извержение, нет, и слышать не хотят, насчитывая только болезни, какие могут быть от испуга. Наконец, упросил я и мы сели. Я испугался очень мало, но проклинал труды, взбираясь на гору. Наконец, спустившись и ехав повесив носы, начали спорить, кто больше испугался, как маленькие ребята. Савенков говорит, что он был в такой опасности, что камень раздробил ему палец, который он оцарапал еще в самом начале, и прочее. Никто не говорил, что упал в кратер, да выпрыгнул.

Только я приехал домой точно таким же, как с Лахты, где ездил верхом, Вы помните? Итак, мы были на Везувии и ничего не видали, а только вошли да сошли.

Скажите, благополучно ли доехал генерал Храповицкий?[5] Он был у меня, принял от меня письмо домой, где я упомянул, что Вы здоровы. Жаль, что поздно познакомился, как он, так и его фамилия весьма добры. Я у них в по-

следний день обедал, и при мне сели в карету, и при мне поехали. Еще прошу уведомить, нет ли каких писем на мое имя в Риме, или не писали ли что к Вам. Уже мне кажется, слишком долго нет известия, или они ленятся писать, или почта из Иностранной коллегии заезжает прежде в Камчатку, а после в Италию. Нет ли каких бумаг от Академии и прочее в рассуждении нашего жалования. Знайте, что не через кого инако получить нельзя, как только через Министра в Риме. Сам Президент вряд ли может выхлопотать что-нибудь, а Министра одна записка подействует. Если можно при случае, напомните ему кто-нибудь.

[...] С сим остаюсь любящий товарищ *Сильвестр Щедрин.*

Краски же обыкновенной протертости, но холст, чтобы был гладок. Если ко мне сии вещи будут присланы и если за оные надо платить вотюрину и привезшему их, то чтобы там сторговались и написали, что стоит. Я страх боюс[ь] итальянцев.

Василию Алексеевичу кланяюсь. Господ малороссийцев держали три дня в карантине, говоря, что в твоем толстописании засела язва, которую нельзя так скоро выкурить из толстых литер. Ты пишешь дрянно, и чернила смердят. Впрочем, эти добрые люди вас всех очень хвалят, вот их слова: „не так как наши, эти живут дружески" и прочее. Я это письмо пишу после происшествия на Толедо. По обыкновению вечером я хожу есть мороженое, поровнявшись с переулком, вижу куча народу и солдаты с ружьями, а в середине лежит молодой человек, которого ткнули ножом в брюхо, отчего он тут же умер. И здесь на это так хладнокровно смотрят, как на спектакль какой-нибудь забавной пьесы.

С сим остаюсь, все, что хотите *Сильвестр Щедрин.*

Василию Кондратьевичу[6] кланяюсь. В тот же день, до еды мороженого, скорее отвозил я их в S. Lucia, сделался шквал, ялик опрокинулся, из шести человек спасли одного матроса. Если ты будешь в Неаполе в театре и будешь сидеть в ложе, то старайся сидеть задом к сцене. Нынче это в тоне, кто смотрит на игру, тот без воспитания. Я у Давыдова в ложе исполнял в точности, сидел задом, или передом, или боком, не знаю, а знаю, что я спал и это в тоне.

Прошу поклониться Ф. М. Матвееву и поблагодарить. Я бы написал к нему, но может быть, его нет в Риме, так М. Г. Крылову[7].

С сим остаюсь *Сильвестр Щедрин.*

5

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Сентября 6-го 1819 года.

С 31 августа пишу и порчу скверную бумагу неаполитанскую—так протекает, что сам не могу прочитать—итак, начинаю.

Любезный Самойла Иванович! Не знаю, за что прежде благодарить, за исполнение моих комиссий или за присылку двух писем, которым я обрадовался более всего, а пуще первому. Не получая долго никаких известий от Вас и полагая себя вовсе забытым, даже начал говорить, что если кто из вас будет один среди четырехсот тысяч народу, тогда узнает, каково не получать известий от людей самых близких (но это шутки). С каким удовольствием перечитывал несколько раз Ваше письмо, хохотал от всего сердца на приключение с чемоданом, с кражею которого потерпел более Сазонов, и в ту же минуту хотел бы быть посреди вас, но все мое веселье разрушает рисунок, начатый для великого князя и довольно подвинутый. Но я без вины виноват, в акварели испортил оный и должен был начать другой. Итак, нам нечего завидовать: Вы без мастерской, у М. Г. Крылова статуя упала, которую по греческим законам должно вынести за город, а как она человека не задавила, то следует давить оную, положив в катку.

О Неаполе писать не для чего, сами приедете, и сами все увидите. Скажу только, что мне во все лето ни одной ночи порядочно не давали выспаться. С. Лючия столь же шумная улица, как и Толедо, тут дорога в Королевский сад, тут продают устрицы и разную погань. Внизу под моими окнами трахтиры, куда сбираются ужинать и потчевать себя фрутами де маре, и все эти прожоры сидят на открытом воздухе и за столами народ беспрестанно переменяется, что продолжается до четырех часов утра, тут явл[я]ются музыканты и черт подымет их танцевать. Я же, валяясь с боку на бок на жес[т]кой постели, должен поневоле выйти на балкон смотреть на проклятых. С приближением осени шум уменьшается, зато клопы на моей постели составили другую С. Лючию и сии вонючетихоходящие животные меня замучили, но пора писать о деле.

К. Н. Батюшков возвратился из Искии и просит Вас сказать Скуделярию [2], чтобы он с оказией переслал ему в Неаполь Пинелля [3] гравированные сюжеты из Римской истории, за что при случае будут присланы деньги. Благодарите от меня г-а Бартоломея и Скуделярия за принятое во мне участие, за что с моей ст[о]роны, буду стараться отслужить, и что им там на всемирной перекличке будет вторичная благодарственная благодарность. Я не понимаю слова Министра: „Надо писать ко Двору". Неужели в нас и Двор принимает участие, но что про это говорить, дела министерские для нас посторонние, лишь

бы дали прибавку к нашему пенсиону. Вы жалуетесь, что одним скучно гулять, а мне скучно, что должен не гулять, а отдавать визиты, на что много время уходит. Вы не подумайте, что я пустился в знать, нет, совсем не то! К одним представься, к другим явись, а третьим поклонись. Знакомых, кажется, немного, да туда и сюда приглашают прогуливаться, обедать, ездить за город с людьми необыкновенными, напри. я ездил в Пуццоли, в Ба[й]ю и прочие места, с кем бы вы думали? с консулом датским, да где же? в Алжире, который мне сказывал, что в Алжире христьян только двадцать пять человек, все должностные, и, живя с варварами, кажется, одно это должно их соединять, но совсем напротив. Они один другого терпеть не могут и не имеют между собой никаких связей. Не правда ли, прекрасное житье? Не знаю, кто Вам сказывал, что я имею много заказных работ, хорошо бы его устами мед пить. Правда, я написал картину для князя Голицына[4], если вы виделись с Храповицким, то он Вам, верно, сказывал про нее, ибо он у меня был. Может быть, буду писать для Министра, сначала казалось довольно, но на поверку и есть, не знаю, что бог даст вперед. Что же до моего приезду в Рим, то сам не знаю, когда он будет. Я уже третий месяц здесь, а кажется, только вчера приехал, и Рим не скоро будет иметь счастье меня видеть, и жить в Неаполе буду до последнего карлина, хотя бы то продлилось и более году, разве особенные обстоятельства меня к оному принудят. „Vedi Napoli et poi mori" [Узри Неаполь и потом умри]. Местоположение города самое пленительное, окрестности чрезвычайные, город шумный, народу много, театров, кукольников [...] чего еще хотеть?

Не знаю, откуда Матвееву пришло в мысль мне прислать орехового масла, я писал о маковом, возображая, что в Риме все пишут на оном, а здесь только нет, но он мне отвечал, что и там употребляют ореховое, которого и здесь много, но пущай присылает, беды нет, лишь бы за провоз много не платить.

Впрочем, если это письмо придет прежде, нежели он отправит, то намекните ему осторожно, что орехового масла не надо, а лучше немного лаку. Не могу надивиться, сколько добрых людей на свете, одни стараются, другие хлопочут, третьи без процентов деньги посылают, четвертый их принимает, кладет в карман, несет домой, запирает в комод. Не правда ли, что последняя добродетель очень хороша, и очень кстати мне деньги пришлось получать. У меня есть маленький комод, где лежит моя казна, и не знаю каким образом случилось, только его отпереть иначе нельзя, как надо сломать, а денег у меня не было. Итак, я оставил комод покамест он сам отопрется, а взял от Фалконета мне присланные. Вторично благодарю Вас, Бартоломея и всех участников, доставивших мне удовольствие принимать денежки, которые я очень люблю.

Сентября 5-го я должен был обедать на даче у датского консула г. Гангелин, к которому был рекомендован нашим Министром в Риме. Поутру заехал за мной его племянник. Хотя Вам до этого мало дела, где я бываю, но для меня замечательно то, что я должен был говорить на всех языках, и что же, так кстати умел говорить: „Si, signora“ [да, госпожа], так же кстати усмехнуться, кивнуть головой, и меня спрашивали, что я, конечно, учился в Петербурге.

[...] Гангелин человек весьма почтенный и добрый, у него находятся много картин нонешних художников, в особенности Акерта[5]. Вечером меня привезли обратно, остальное время провел в театре С. Карло. Не помню, давал ли Вам свое наставление, как обращаться в здешнем театре. Надобно стараться никоим образом не смотреть на игру актеров, а зевать по сторонам, если же нечаянно случится взглянуть на сцену, то должно морщиться, тянуться и тотчас обратиться к зрителям, в противном случае назовут человеком без воспитания, а пуще в ложе, куда приезжают для того только, чтобы отдавать визиты, переходя из ложи в ложу, а другим оные принимать. Извините, я Вам всяких пустяков написал, как не пишешь, так многое вертится в голове, лишь взяться за перо, так вот и засело.

Прошу поклониться от меня Ф. Ф. Ельсону[6] и поздравить его со славною экономией, желаю только, чтобы он возвратился в Россию в целости, до греха не долго, евши один суп, может получить честь лежать подле пирамиды Кайя Сестия, или, нет, он хочет беречь свою шкуру. Также поклонитесь Ф. М. Матвееву, О. А. Кипренскому, Лауницу[7] и прочим землякам. Князь Голицы[н] будет в Риме нонешнего месяца, так по крайней мере он с[о]бирался, но я думаю, разве в конце. Что Вам так рано вздумалось праздновать Александра Невского, еще мое письмо успеет Вас поздравить. Не знаю, что сделалось, нет никаких известий из дому, я готов уже браниться, хотя бы они присылали пополам, если боятся, что дорого будет стоить, или бы сами платили за дорогу хоть половину, а то уже на пол-листа, пуще Ф. Ф.

С сим остаюсь Ваш друг и товарищ неаполитанский

С. Щедрин.

Прошу Вас, если есть какие явления письменные в Риме, меня уведомить, чем меня крайне обяжете. Что старая хозяйка, не спрашивали ли чего, или дожидается, что я приеду на ее квартиру по обещанию, но бог с ней.

6

С. И. Гальбергу[1]

Начато сентября 9-го 1819-го года.

Любезный Самойла Иванович! Напрасно почитаете меня неисправным человеком, вот Вам доказательство. Сие письмо начато в тот день, когда от Вас получил записочку или запечаточку, за что приношу мою чувствительную благодарность, то есть такую, как мои чувства позволяют, равно и Бартоломею и Скуделярию. Я великий охотник сделался писать и отвечать на получаемые письма, в этом состоит моя выгода, чтобы меня не забывали и не покинули среди шумного города, где, несмотря на всю рассеянность, каковую можно получить, провожу время единообразно так же, как в Риме, с тою только разницею, что если захочется гульнуть, то уже есть куда девать любезные денежки: театр, гуляния, катания [...] Едва не проговорился и, если карман тяжел, то идите в рулету или поставьте на карту, мигом все кончат, не сказав спасибо. На последнее я люблю смотреть, как бледнеют и дрожат итальянцы, зато банкиры, нимало не переменяясь в лице, пригребают лопаточками денежки [...] Я сунулся однажды, и злодеи пригребли к себе мои два пиастра, и я оставил их.

[...] Что Вы мне не пишете, не имеет ли над Вами влияния Ария Каттива, сказывают, она в Риме в высшей степени нонешнего году, и не причиняет ли вреда твердокаменным грудям русским. Здесь все отдуваются от жару и, должно признаться, горячо, но не так, как говорят и как я ожидал, я проходил в полдень по нескольку миль без всякого вреда и без особенной усталости от жару.

[...] Приезжайте Вы в Неаполь, а меня в Рим дожидайтесь тогда, как разве в толчки отсюда выгонят какие обстоятельства или деньги, не токмо не думаю об отъезде, но даже никогда не приходит в голову, что я должен возвратиться в Ваши объятия. Сверх того, мне славная задача—виды для в. князя, одни сии рисунки отнимают много времени.

Что, Самойла Иванович, приходит ли Вам охота быть в Неаполе посмотреть Геркулеса и Флору, Аристида, ту славную статую, которой Канова столь был восхищен, что назначил места, откуда должно смотреть сие чудо. В самом деле, вещь прекрасная, не знаю как покажется знатокам и скульпторам римским, а здесь все хвалят. Князь Голицын хотел сделать подарок Академии, снять с оной форму, но неизвестно, дадут ли на оное позволение. Здесь всем скупятся, не позволяют рисовать в По[м]пее, не испросив на то дозволение от Правительства, даже не позволяют остаться посмотреть при лунном освещении и всякого, в сумерках там заставшего, выгоняют. Ни с чем нельзя сравнить сего удовольствия видеть столь древний город, где видны все их домы,

храмы, маленькие улицы и прочие домашние обиходы, все это в миньятюрном виде против руин римских. Тем приятнее, видевши город обширный, капитальный, то есть столицу вселенной, и после провинциальный городок, словом сказать, все это очень приятно видеть.

Наконец прибыл мосье Прокаччо, не в субботу, как Вы писали, я не был, ибо мне было недосуг, а пришел в понедельник, но вещи еще были на дороге. Но благодарю Вас, наверно, что мне оные доставили, также благодарю за все хлопоты, за что сам при случае похлопочу. Вещи я хотя и не получил еще, то сам виноват, ленился зайти к человеку, которому ум волосы выпорол. Но будьте спокойны, все мною получено или получу

[С] сим остаюсь Вам преданный друг Ваш

Сильвестр Щедрин.

Тороплюсь, земляки завтра едут.

Филипп Федорович, еще здравствуйте, как это взмилостивились приписать несколько строк и то, я думаю, Самой. Ива. принудил, а то бы забыли совсем бедного неаполитанца, прощаю, будьте здоровы и весело ешьте один суп.

Ваш друг *С. Щедрин.*

Михайле Григорьевичу кланяюсь. Мне кажется, на Вас жестоко нападают, но для меня все равно, в каком бы то случае не было всегда к услугам Вашим

Сил. Щедрин.

Басинька, здравствуй, напиши, мой милуша, Ария Каттива не делает ли тебе вреда, от чего боже оброни, все кабашники и [...] будут о тебе плакать

Твой тоже [слово неразборчиво.— *Э. А.*]
Щедрин.

[...] Кланяюсь Матвееву, мое почтение также и Кипренскому и прочим землякам.

Сил. Щедрин.

Господа, не забывайте, что прибавка нашего пенсиона совершенно зависит от Министра, это я так знаю, как дважды два. При случае напомните ему, никто другой не в состоянии сделать.

7

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Сентября 30-е 1819 года.

Любезный Самойла Иванович! От всего сердца поздравляю Вас с радостною радостью и радуюся Вашей радости с радостною радостью и поздравляю от всего горла, с берегу Средиземного моря, из городу древнего, с улицы самой

многолюднейшей, из дому прекраснейших француженок, Вас с повышением, с крестюлешкой[2] и проч., и как будете писать, свидетельствуйте мое нижайшее почтение и поздравление и долголетие, а Вас прошу за фляжкою пропеть всем многие лета.

Что же касается до меня, то вышло совсем противное Вашему. Я огорчен смертью моей младшей племянницы и, вместе, крестницы. Сверх сей неприятности, я получаю письмо, в котором только и есть несколько строк, написанных батюшкой, нет ничего, исключая сего печального известия. Не знаю, что привезет Тон[3], а то я готов был уже браниться, хоть должен сказать, я очень привык ничего не получать. Однако же все досадно, как пришлют письмо из-за трех тысяч верст, не исписав даже листа почтового. Благодарю Вас за уведомление о себе и товарищах и за присылку письма. Скажите, не надо ли за оное платить, без всякой церемонии!

Насилу стали думать о прибавке пенсиона, и то, я думаю, совесть упрекнула, что, посылая другим, полагают больше. Что же касается до замечания на мое донесение, меня слишком мало интересует, и я Вас прошу, если оное придет и будет состоять в большом конверте, то не присылайте ко мне по почте, а велите отдать в Министерство, чтобы при удобном случае ко мне переслали. Мне, право, нет охоты платить пиастр за критику на мой [...] журнал, и как он написан, я о нем столько же думаю, как и о мне там думают.

От Савенкова и Герцбергского я получил письмо с рецептом, просят их уведомить о книге. Но если Вы будете к ним писать, то скажите, что немцы у меня были и книги не нашли, др. прочие комиссии, возложенные на меня, я исполню с удовольствием. Вы меня удивили, написав, что двое поляков пришли пешком, а мне они сказали, что все едут, еще они хвастать мастера. Благодарю за краски, я все получил сполна, и мне это стоит три пиастра, инако с таможни нельзя было достать и никто говорить не хочет. К. Н. Батюшков благодарит за исполнение комиссии.

Вы скитаетесь по Риму, а я по окрестностям Неаполя. На прошедшей неделе князь Голицын взял меня с собою в Искию—мы остановились в трахтире дон Томаса, священника тамошней деревни, или, лучше сказать, своего трахтира. Князь хотел подшутить и послал сказать, что два русские художника желают у него остановиться, но не по-художнически стал поступать, ибо занял целый стол, стол имел богатый и принимал все безоговорочно. Всевидящее око дон Томаса стало примечать, что должно быть другие люди. Между тем, наверху приезжим англичанам сказал, что мы, должно быть, музыканты, ибо он слышал, как мы хорошо пели. Господи, боже мой, я пел, да еще прекрасно, подумайте, я пел за столом! Вошел он к нам, и я смотрел на него с удо-

вольствием, какие он кидал взоры и вскоре пропал. На сем острову мы провели два дня очень весело и в течение сего времени почти не сходили с ослов, взбираясь на вершину горы С-о Николо, где на самом верху иссечены в горе кельи для 24 человек монахов, но живут тут только двое и при них находятся две часовни. Взбираясь кверху, стоявшие там люди стали махать шляпами, крича, верно, считая нас за англичан, и [мы] разговаривали с ними на манер английский, и первое—показывают надписи, которых чрезвычайно много, но одна только написана русским следующее: „Здесь был русский после войны 1812-го года, что могут делать русские в царствование Александра". Тут же написал князь: „Здесь также были к. Г. и Щ." Итак, кому случится быть там из вас, смотрите на мое имя с почтением [. . .] Замечательно, что в сем острову народ очень хорош и весел, смешит и сам хохочет беспрестанно. Итальянцу не много надо, если он с голоду не умирает, то он счастливейший человек в свете. Итак, осмотрев, что можно видеть, пустились обратно. Тут же на дороге мне показали издали Арию Каттива, как она носилась над Позилипо, Пуццоли, Байей, наподобие облака, между тем Неаполь был чист и до сей поры я полагал, что Ария Каттива есть не что иное, как геометрическая точка, которая ни большая ни маленькая, а черт знает какая. Не правда ли виденную штуку знаю, если хорошо понял у Скабовского [4]

Не знаю, что будет, я писал к Президенту, отложив присылку работ нонешнего года, успеть никоим образом невозможно. И вот уже год, как мы в Италии, а я по-итальянски ни бельмеса не знаю, а Вы, я думаю, славно хлещете, желал бы Вас послушать и побывать в Риме на недельку, чтобы погостить и попить с Вами, да и опять бы в Неаполь, от которого будет очень трудно отвыкнуть. И иногда здесь несказанно весело, а в иное время бежал бы, не оглядываясь. Но все-таки в скуке и веселье остаюсь Вам преданный товарищ и друг

Сильвестр Щедрин.

Прошу писать и не забывать.

[. . .] Врешь, Сазонов, ты не сам писал, хотя бы ты знал по-итальянски, но все же твой почерк, смотри, пожалуй, не вздумай шарлатанить, что куда ты будешь годиться, врешь, врешь-таки! Никогда не поверю, что ты сам писал! Сделать ли тебе подарочек неаполитанскими кисточками? Напиши, какие тебе надо—толстых или тонких, только помни, что они козьи и довольно хороши, в Риме [их] нет. Прощай, преданный тебе

С. Щедрин.

Не сам писал, не сам писал, не сам писал, врешь, врешь, а если сам, чего боже оборони, то далеко ушел от меня. Подарок будет с условием—напиши полное письмо.

Хотел было это письмо послать по почте и совсем приготовил, по обыкновению, заключив Сазоновым, но князь Голицын отправляется, так и препровождаю вам оное с Федором Яковлевичем Паулем[5], человеком весьма и очень, очень добрым, но, пользуясь временем, пишу вам еще несколько строк и от скуки и от веселья.

С приятностью проведенное время в Искии мне стоило того, что не удалось видеть чуда С. Януария, о котором мало сожалею и над которым сами итальянцы тихонько посмеиваются, но, сказывают, любопытно видеть народ, как он кричит и умоляет святого, чтобы кровь его разошлась, в противном случае ругает его по-матерну. В бытность французов кровь Януария не разошлась, народ пришел в бешенство, полагая, что французы противны их патрону, но ловкий французский генерал, командовавший в то время в Неаполе, послал сказать попу, который делал этот раствор, что если кровь сию минуту не разойдется, то он его повесит. И святой сжалился над своим служителем, и кровь разошлась, и все остались довольны и спокойны. Простой народ здесь груб, отвратителен и гадок своей неопрятностью, но их жадность к деньгам выводит всякого из терпения. Нельзя ничего спросить, а вельми паче что сделать, даже нельзя взглянуть, тотчас протянет руку и если не дадите, то обругает, а если вы нанимаете для какой безделицы и желаете знать цену, то он вам такую заломит, хуже наших сидельцев в Гостином дворе, и я много в чем себе отказываю, чтобы только не связываться с народом. Что же до воровства, то не знаю, где больше платков воруют, в Петербурге или в Неаполе, но только знаю, что у нас из каждой толпы я выходил без платка, а здесь ношу оные еще плоше, и со мной этого не случалось.

[...] Неаполь стоит того, чтобы приехать, взглянуть на его прекраснейшее местоположение, может я Вам об этом пишу десятый раз, но сколько бы я здесь ни жил, всегда оное буду повторять, и, если будете здесь, то, наверное, признаетесь сами и согласитесь со мной. Крайне жаль, что места самые занимательные по истории и по своим остаткам древних строений, как-то: Позилипо, Пуццоли, Байя и проч. представляют из себя самую печальную пустыню, тут Ария Каттива в высшей степени, выключая Пуццоли, и ходя по сим местам ничего нельзя достать для брюха, едва встретишь человека. Место, где древние почитали Елисейскими полями, хуже нашего Голодая и теперь несравненно хуже.

Забавно, как приметна любовь русских к парным баням. Сколько мы проехали и как мало видели, чтобы русские марали стены своими именами, но штуфы Нерона унизаны именами русскими самым скверным почерком, и, к несчастью, сии остатки кинуты без всякого внимания, не обчищены, не отрыты, завалены камнем, который по времени мужики растаскивают. Чento

камерелли [сто покоев] только по названию, а войдете—увидите не более четырех коридоров, которые мужики прочистили для своих выгод. Где бы вы ни ступили, везде раздается гул, знак, что есть пустота, но там нет макаронов, так и не к чему разрывать. Все, что сделали французы, то только и видно и хорошо, а теперешний [6] сидит да копит деньги, скупердяй, сказывают, престрашный.

Но, кажется, пора окончить, довольно напорол всяких пустяков. Уведомьте г. Матвеева, что Давыдова [7] умерла, если он об этом ничего не знает, и должно признаться, что на людей не всегда должно смотреть по виду, как, напри[мер], Давыдов кажется серьезен и мрачен, а в самом деле человек очень веселый и простой, а жена его была женщина очень добрая и ласковая.

Напишите, какие у Вас новости в Риме или в Петербурге. Рим для меня приятен, и я хотел быть Прозерпиной на сей раз, чтобы проводить 6 месяцев в Риме, а другие в Неаполе. О лаке позабыл, я в нем такой нужды не имею, и если будет удобный случай, то прошу Вас доставить мне небольшой пузырек. Если нужно, то пришлю бутылку морской водицы, которую, если угодно, выпить за мое здоровье.

В день С. Франциска был здесь придворный праздник, в сей праздник театр С. Карла освещается и должно отдать справедливость его великолепию. Дан был балет—„Магическая лампада“, где на сцене человек сорок конных делали разные эволюции, при сем были прекрасные декорации, костюмы, но все это однако же теряет от блеска зал.

Аминь! *С. Щедрин.*

8

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Октября 17-го 1819 года

Любезный Самойла Иванович! Я чувствовал, что получу от Вас сегодня письмо, и предчувствия мои сбылись. Я ходил по комнате взад и вперед, не зная, что делать и куда итти. Погода самая сквернейшая, а лишь приготовился Вам царапать разные разности, как вдруг человек вошел, держа письмо в руке. „Das haben Sie ein Brief“ [„вот вам и письмо“], ай, нашлось дело читать и перечитывать, и в ту же минуту Вам ответил, чем занимаюсь всегда с превеликим удовольствием. Я теперь один-одинешенек, нет никого и некуда выйти. С занятием время проходит довольно приятно, хотя я не великий охотник работать. Но когда придет время бездельное, тогда становится нестерпимо, а пуще в дурную погоду. Сунешь в рот прескверную цигарку и смотрю на море, и то слава богу, что есть на что смотреть! А беда, как придется жить и не на что смотреть, что, я думаю, со мною скоро будет, ибо хозяйка дому, у которой нанимает К. Н. Батюш.[ков], переменяет дом, вместе и он с ней,

для меня там нет такой удобной комнаты, и я должен буду себе нанять квартиру, вот тут-то пущусь жить один. Не знаю, много ли поживу, а в Рим скоро возвратиться невозможно. Между нами сказать, я водяными красками пакостил, пакостил, да и послал к Президенту письмо с просьбою сделать оные виды масляными красками, но еще не получил ответа и не знаю, что будет, но по уверению К. Н. Батюш.[кова], что великий князь согласится, начал масляными красками. Сверх того, для графа Стакельберга[2] надо написать две порядочные картины, да для великого князя, да для Голицына еще одну, да надо благодарить доброго К. Н. Батюш.[кова], чего долг мой требует, хотя [он] от меня ничего не требует, да для себя должно наделать етюдов, ибо до сей поры я ничего больше не писал, как только один вид, с разницею только тою, что [от] одного отойду, [к] другому подойду, и вот вам отчет тому же самому виду, который писал я, был с малою переменою. Сверх нескольких чертежей сделал етюд масляными красками и водяными, написал картину и два рисунка для в. к., которые портил, не доканчивая, теперь тот же для графа Стакельберга. Не правда ли, надо иметь дьявольское терпение, но терпением стяжите души ваши.

Итак, любезный Самойла Иванович, не токмо Васиньку здесь придется увидеть, но может быть и Вас.

Не понимаю, как одним можно доставить выгодный пенсион, как, напри-[мер] Тону, а нам грешным целый год не могут ничего достать, хорошо, что еще кое-что перепадает, а то бы клади зубы на полку. Не знаю, каковы расчеты будут, как я буду один, но теперь, имея квартиру и услугу и прочие потребности, я много ухайдокал денег, и, право, без всяких шалостей. Да, мне советуют взять квартиру попышнее, говоря, что по платью встречают, по уму провожают. Правда, на денежки, милые денежки, вами должно, чтобы люди встречали и провожали.

До сей поры провожу время с кашлем и насморком да с небольшой болью в пояснице, что, однако же, мне не препятствует таскаться по похабным театрам. На одном из сих театров alla Penice было представлено Карл 12 в России, или по-итальянски in Moscovia, в двух частях, как Русалка. Как не посмотреть русскому! В первой части Карл везде одерживает победы и со своим Пипером смешит до такой степени, что роли сии занимают буффы. Петр выставлен государем сурьезным, храбрым и не злым, и я был доволен, что нас, по крайней мере, не дурачили, хотя Петра одели казаком и припутали к обоим государям по женщине. Во второй части вклеили какую-то дуэль Петра с Карлом, где последний получил рану в руку, но дрались, несмотря на то, что сим должна была кончиться вся война и оттого произошло Полтавское сражение, где Карла ранили, разбили и [все] оканчивается триумфом

Петра Великого. Теперь ожидаю третью часть, где будет смерть Карла. В прочих театрах так удачно приходилось смотреть по два раза одну и ту же пьесу, что меня жестоко бесило, а Вам может показать, сколь я далек в итальянском языке, а учиться никак не хочется, все думаю, авось, либо само придет. Ан смотришь, уже год как в Италии, и сим письмом же поздравляю вас всех с протекшим временем.

[...] Что же касается до критики, если Вас сие не обеспокоит, если не в тягость, то раскритикуйте меня своей копией, а если скучно, то какой-либо оказией перешлите ко мне. Впрочем, как Вам угодно и как рассудится. Также благодарю Вас за осторожность, что не показали моего последнего письма — понимаете? а то я вить прежде напишу, а после подумаю, а пуще как пишу Вам, то сами видите, без всякого принуждения не пишешь, а чешешь!

Вот счастье человеку, что ваши чужие края, что труды и скудное положение, которое должно терпеть, все терпите, а никогда не получишь тех милостей, которыми обласкан Витберг[3]. Огромное жалование, богатая жена, ничего не делай, уж как хорошо, право, хорошо, при всем счастьи таковом, не променял бы удовольствия быть в чужих краях. Не знаю как для Вас, но для меня пребывание здесь служит величайшим удовольствием, и это время почитаю лучшим в моей жизни и что вперед ничего другого не вижу, выключая своего носу. Мысли сии хоть иногда жестоко беспокоят, но умные люди, так же как я, долго о путном думать не могут.

[...] Скажите мне, пожалуйста, есть ли назначенное время для присылки наших работ или как вздумается, то есть я говорю о великом князе.

Октября 18-го. А все худая погода. Дождик ливнем льет, но я не тужу, мне есть дело — писать Вам всякий вздор. К. Н. Батюшкову отдал Ваше письмо, он благодарит за уведомление и извиняется, что сам не может отвечать, ибо занят канцелярскими делами, с которыми теперь возится один, и просит Вас оные рисунки доставить по какой-либо оказии, ибо ему оные нужны не к спеху, а время терпит. Да, еще скажите, писали ли Вы рапорты третные в Академию? Живучи здесь, мне уже кажется, что я совсем не должен рапортовать, право, чтобы не нажить себе хлопот, и я теперь не знаю, куда мне отдавать свои бумаги, если оные случатся, ибо в здешнее Посольство не токмо никогда курьеров не посылают, да и не думаю существует ли оно. На почту мне отдавать не слишком хочется, за такие пакеты денежки хоть небольшие, а порядочные все-таки стянут, в чем я утехи никакой не нахожу.

Скажите, не видались ли Вы с князем Голицыным, если Вы с ним познакомились, то свидетельствуйте мое нижайшее почтение, равно и Феодору Яковлевичу и поздравьте с благополучным приездом в Рим, желаю и впредь продолжать дорогу весело, счастливо и спокойно и просить Феодора Яковле-

вича, чтобы не оставлял меня и уведомлял по временам о себе и прочем... Уж вот что называется пустяки, я думаю, Вы прочтете и рассмеетесь, что таким сухим вздором наполнил целый лист, да, право, никаких известий до моих ушей не дошло, а впредь, что только случится, то в ту же минуту и в письмо влагается, а теперь писать уже больше нечего, как только пожелать Вам доброго утра, доброго дня, и хорошего аппетита, и спокойной ночи, то есть, из этого выберите одно то, к которому времени мое письмо подойдет, и с сим остаюсь

Ваш друг и товарищ
Сильвестр Щедрин.

Поклонитесь от меня Кипренскому, Матвееву и прочим, кто обо мне спросит. Прощайте.

9

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Ноября 21-го [1819 года].

Любезный Самойла Иванович! Письма Ваши все приходят по воскресеньям, Вы непременно хотите добиться до хорошей погоды, но тщетно, хотя накануне время казалось и хотело поправиться, но лишь воскресенье, то Неаполь почернеет, небо задернется облаками, свежепросольное море колыхается, и к чему это, право, не знаю и утехи в оном нималой не нахожу, и мне кажется спокойно сидеть или лежать гораздо лучше, нежели переваливаться с боку на бок, как то делает море. А мне теперь крайняя нужда в хорошей погоде, которая служит великою остановкою в моей работе. Одна утеха, что получаю от Вас письма, которыми прошу не оставлять и в хорошее время, и для меня их всегда весело и приятно читать и перечитывать, хотя бы самому пришло[сь] бы переваливаться не токмо с боку на бок, но даже со спины на брюхо.

Сегодняшний день я обедал у Министра и в первый раз в моей жизни видел квакера, сидя в приемной зале в таком месте, откуда мне было видно проходящих. Место сие было не последнее, ибо сидели в кружок, да и не первое, потому что видно было, кто входит. Обратив очи в отверстие, или в двери, вижу идущего лакея, за ним человека в кожаном платье странного покроя, одетого довольно опрятно, но просто, на голове белая шляпа с большими полями. Вошед в оный, он никому не кланялся, хотя все встали, он подал руку Министру, а прочих удовольствовал какою-то ужимкою, которая не знаю на что похожа. Сделав сие приветствие, он тотчас скинул шляпу и начал разговаривать, точно как актер, игравший царя, уходит за кулисы, скидает свою фальшивую порфиру и начинает разговаривать с фонарщиком, Он много вояжировал, проехал всю Россию взад и вперед, всех и все знает,

и, вообще, все наше хвалит, и говорил неустанно об Америке, об Англии, Франции, об индейцах, о татарах, словом сказать, всех именовал и про всех что-нибудь да рассказал, одних только чухонцев оставил в покое.

[...] Везувия во всей форме шалит, лава огненным струем течет слишком до половины горы, и я, смотря на оную, говорю сам себе: ну, к чему это, на что похоже, право, худо будет. Англичане таскаются оную смотреть, которые здесь немало смешат. Сидя в трахтирах за обедом с лексиконами, выговаривая: „ува да пера", то есть „яйца всмятку", и лакеи бьются, бедные, на всяких языках, но не могут добиться толку. Сей народ теперь потерял весь кредит и на них смотрят как и на прочих иностранцев. Сказывают, в некоторых немецких городах есть при трахтирах следующие надписи: „Здесь англичанам нет впуску". Это слова одного немца, который испытал сию участь; его сочли за англичанина и отказали, и бедный немец едва мог уверить трахтирщика, что он ошибается. И этот народ есть теперь предметом насмешек всех иностранцев, которых здесь развелось очень много. Немцев здесь немного, а русских почти никого нет, исключая князя Меншикова[2].

Я уже начинаю верить иностранцам, которые сказывают, что нет другого города, который мог бы морем наскучить, как Неаполь. Рим скучен, но надо из того выехать, тогда узнаете всю его цену, и никоим образом забыть его нельзя, пуще художнику, который там всегда найдет беседу откровенную, смешную, подлую и добрую. Зде[сь] этого вовсе нет, и одни только неаполитанцы могут каждый вечер просиживать в театрах, смотря на одну и ту же пьесу четвертый месяц. Вот все занятия здешних жителей, иностранцы живут и ведут связи между собой, удаляясь совершенно неаполитанцев.

В заключение поздравляю Вас с обновкою и желаю Вам носить да не износить, а меня Вам не увидать во всем величии. Забавно будет, если Вас придется здесь встретить, ибо скоро возвратиться никоим образом невозможно, а время на быстрых крыльях летит, так что неделя ничего не значит и считаю оную как будто сутки, а месяц—как год. Заврался довольно.

С сим остаюсь Вам преданный телом и душою

Сильвестр Щедрин.

10

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Ноября. 1819-го года.
Воскресенье.

Любезный Самойла Иванович! Ночь, проведенная без сна, вознаградилась получением Вашего письма. Раскрыв поутру едва сомкнувшиеся глаза и думая о всякой всячине, между прочим и о сюртуке со шнурками обшитом, который

заказал сделать и ожидал сегодня с трепетом, воображал, что за него должен заплатить, слышу гром, отворяю ставни, дождь ливмя льет, что меня обрадовало и я, потирая руки, стал одеваться, дожидаясь почтальона с письмом от Вас, ибо всегда получаю оные в самую скверную погоду. Так и сбылось, гром гремел, дождь ливмя лил, сюртук принесли—слупили—и опять—„Das haben Sie ein Brief" [вот вам и письмо]—за что очень много благодарен, но не думайте, чтобы оные мне приносили удовольствие только в худую погоду, напротив, они для меня всегда и везде приятны.

Последнее письмо мое было Вам доставлено по всей форме неизвестным, ибо и я его не знаю и никогда не видал и не слыхал. К. Н. Батюшков ему оное отдал, а кому ему? неизвестно. О рапортах я еще не принимался думать, вот что я сделаю—другого ничего более не буду посылать, включая одних обыкновенных донесений. Описывать ничего не намерен, разве за оное пришлют выговор, но теперь прежде рапортовать не намерен, не получив известий от Тона и ответа на мое письмо, писанное Президенту, которое я также включаю в число донесений, где касался только до работ, которыми занимаюсь, и заключил оное просьбою, Вам уже известною.

Что же касается до знакомства Вашего с к. Голицыным, я оному хохотал от всего сердца и смеялся столь громко, что ко мне в дырочку замошную стали смотреть, думая, не рехнулся ли я. Надобно быть в отдалении, чтобы живо вспомнить все ваши движения, слова, разговоры, вспомнить Сазонова, как он должен был выходить из Ватикана и рассказывать свои замечания. Он держал левую руку в штанах, правую поднял кверху, махал пальцем около носу и, скрививши рот, делал свои замечания, а вы все молчали, оправдывая его министерскую политику, на это он был тонок. В другом случае промахнулся, как взять Матвеева дядькою, зная согласие его с князем, от таковой рекомендации ничего нельзя было ожидать, но это между нами. Может быть, и Лауниц немножко грешил, я не знаю, что думать, ибо князь со мной был очень ласков, везде меня возил и к художникам, и в окрестности города, даже на гулянья, а что же касается до Лауница, то он его очень любит. Это я мог не однажды приметить из его слов. В самом деле, что вышла опера, писатель ею может воспользоваться, а декоратор должен быть в восхищении, напри[мер]: в первом действии чертоги и лавка Скуделярия, во втором—площадь св. Петра, на которой Вы стоите, в заключение при огненном освещении Ватикан, все прекрасно и великолепно. Жаль, что это вышло в глазах курляндца[2], это может служить к какому-нибудь дурному поводу, и эти люди всегда близки быть курносыми, поэтому должна быть непременно какая-нибудь причина. У меня не выходит из головы его прием [Голицына.—*Э. А.*]. Вот Вам доказательство: он мне однажды сказал [что] некто Свечин[3] приезжал в Неа-

поль, но у него не был с визитом — „хорош земляк, не придет и навестить“, другой раз, когда были Дрянко и Фуй[4], я ему о них сказал, и он мне очень намекал, что ему приятно было их видеть. Я сколько раз твердил нашим молодым морителям, но твердокаменная поясница русских ни перед кем не может гнуться. Но между нами, может быть он и мною как-нибудь был недоволен и поэтому заключил и о Вас, но только я расстался с ним очень хорошо. Вы не оставляйте это просто, но разведайте с терпением, тихонько, легонько, чтобы впредь при подобных случаях себя вести, и с кем и как говорить, где пригнуться, где надуться, где столбом простоять. Смотрите на итальянцев, чем выигрывают — наглостью, самохвальством. Мне дают наши раз[ные] наставления, я их сообщаю Вам, не умея сам оными пользоваться, но терпение! Может быть, кто из нас первый сделает пример наглости, тому последуют все, и нас назовут ловкими, умными, а теперь надо кричать: „О, Академия, чему ты нас учила, но бог тебе простит, давай лишь больше денег, так увидишь нашу рысь!“

Теперь о сюртуке со шнурками. Мне говорят весьма справедливо следующее: старайтесь быть одеты как можно чище и лучше, это показывает человека трезвого, вместе и значущего, говоря: „по платью встречают, по уму провожают“ (и того довольно, хоть встретят хорошо). Старайтесь иметь порядочную квартиру, хотя бы то было через силу. Это показывает, что художник не в грязи валяется, и ему этим даст себе цену, что он недаром имеет сии преимущества перед прочими. Конец вознаграждает потерянное, вот почему сюртук со шнурами по последней моде, за что я заплатил столько, что бы можно было обшить оными почти весь Неаполь. Хотя правила сии странны, но для меня кажутся весьма справедливыми.

К. Н. Батюшков через меня желает Вам успеха и советует Вам как можно стараться. Причины его справедливы, которые сообщу при удобном случае, и будьте уверены, все, что до него касается или от него зависит, он исполняет с удовольствием и благородством. На сей раз об этой материи довольно. Прошедшее письмо Ваше я ему читал, и оно показалось ему столь интересным, что князь Меншиков просил меня ему оное прочитать. Жаль, что мои записки и письма к Вам слишком питореск [...] Письма сии со временем будут служить верным журналом пребывания нашего в чужих краях, в коих столь много упоминается о вине, что если они перейдут в потомство, то нас наши праправну[ки] почтут совершенными пьянчушками, вследствие чего я объявляю: что за обедом всегда выпиваю бутылку вина, и не всегда ею бываю доволен, иногда и мало, распустив брюхо вином и пищею (ибо обедаю позд[н]о), иду каждый вечер в театр зевать и ничего не понимать, но только бы убить и прошибить время.

Кажется, совсем нечего писать, а лишь примусь, то мигом лист измажешь. Потихоньку, что говорили о моей картине, писанной для князя Голицына, не слыхали ли чего-нибудь? Глинка мне писал, что ее носили к Министру, этого я не ожидал, полагав, что она, спрятавшись, через Рим проедет до самого Петербурга, а там как-нибудь прорвут и след пропал, ибо я ее отхватил, как говорится одним человеком: „во всей форме для декорации". Но этот же самый вид теперь пишу для графа Стакельберга, который отхватывать нельзя. В случае неудачи, будут пальцами в самый нос совать, говоря: „се Москва".

Я получил от Глинки небольшую записку от батюшки, который Вам кланяется и сожалеет о Вашей болезни, прибавя, что он видел рисунок Вашей статуи, которую очень хвалит, прибавив к тому, что Президент к нам очень хорошо расположен, а к сему прибавлю свое к Вам расположение и с оным остаюся Ваш друг и товарищ

Сильвестр Щедрин.

Письма прошу адресовать по-прежнему, ибо мы не выезжаем. Пишите, не бойтесь, что погоду портите, авось, поправится, но до сих пор нестерпимо мерзкая стоит. И если здесь всегда так переменчива, то Неаполь есть второй Петербург.

Ну, вот Вам, не знаю, которое число, дома никого нет.

11

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Декабря 26-го 1819-го года.

Любезный Самойло Иванович! Забыли меня, грешного, сижу у моря да жду из Риму новостей, которых, я думаю, у Вас накопилось. Господа приезжие наговорили всякой всячины. Что же касается до меня и до писем, мне присланных, то ни в первом, ни в последних толку на грош нет, и я из-за трех тысяч верст получил несколько записочек, которые как начинаются желанием, так им же и оканчиваются. Напрасно Вы не прочли оных, увидели бы, что надо лопнуть с досады и, наверно, это со мной случилось, если бы я был потолще. Н. И. Уткин [2] ко мне написал кучу комплиментов всякого роду и заключил, что нам будет прибавка пенсиону. Итак, г-н пенсионер, надо потерпеть, вот эти буки впереди, а уж мы пробуковали год.

Итак, прошу Вас, преклоняя колени перед Вашим коллежским регистраторством, не оставить меня какими-либо новостями, право, ничего не знаю, и ничего путного не пишут. Мне стыдно было говорить, что я получил из Петербурга письма, со временем Вам их покажу.

Я от Вас также дожидался, думая, авось, либо догадается что-нибудь нацарапать, но четверги и воскресенья проходят так же, как и прочие дни, без известий. Наконец решился писать и своеручною рукою пенсионерскою поздравляю Вас с наступающим рождением Его Императорского Величества и Рождеством чужим. Но, чтобы письмо не совсем было пустяковое, опишу Вам анекдот, который рассказывал один немец в одной беседе и который ярко показывает, что такое теперь немецкие студенты из Гетинга, если не ошибаюсь, но все равно, важно одно происшествие следующего содержания.

Два пруссака задумали путешествовать по Италии и пустились из своего отечества по-апостольски, то есть пешком, один был доктор медицины, другой служащий научный. Неизвестно, ошибкою ли или по их желанию, они в пашпорте названы студенты. Вот они пришли в Рим, из Риму в Неаполь и тут пустились осматривать прекрасные окрестности сего города и первое Салерно, но тут были остановлены для осмотру пашпортов и, когда смотритель дочитался до имени студента, то с ужасом и трепетом арестовал бедных самозванцев, отписав об этом деле с важностью в Неаполь, а Неаполь с важностью повелел сим студентам выбраться не только с городу, но чтобы и духу их не было ни в одной неаполитанской провинции. Бедные пруссаки кинулись к Министру, прося защиты и позволения на несколько дней, и, что сверх того, они терпят напрасно, ибо оба находятся уже в службе короля. Министр только и мог им достать льготы на 14 дней с тем, что [бы] в течение сего времени они должны уже быть в Риме. Вот вам немецкие студенты дожили до славной участи.

[...] Еще прошу Вас не оставить новостями, но может быть Вам это обременительно, ибо Вы, как думаю, уже занялись работою для в. к., то попросите хотя прочих господ, в свою очередь, кто что слышал, приписать, но, впрочем, прошу Вас, если это стоит Вам хотя малейшего труда, то не принуждайте себя, ибо это с моей стороны не что иное, как прихоти, которые по приезде моем я могу удовлетворить, хотя оной и будет на худой конец по происшествии года, разве что помешает. Я уже 6 месяцев ровнехонько здесь, так еще 12-ть как-нибудь удастся, но все скоро быть ни под каким видом не могу.

С сим остаюсь Вам навсегда преданный товарищ и друг

С. Щедрин.

Прошу от меня поздравить Тона с Басом[3] с благополучным прибытием в Рим. Василия Алексеевича благодарю, что не забываешь преданного тебе С. Щедрина.

Михайле Григорьевичу кланяюсь и советую не называться студентом, чтобы не терпеть прусскую участь. Также кланяюсь Матвееву, Кипренскому,

Сазонову, Ельсону и прочим русским с немецким языком. Едва не забыл, так новенького захотелось. Домашние Вам все кланяются и желают быть здоровым, как обыкновенно желают, желают, желают, да только есть нового, что желают.

Прошу отдать сию записочку Оресту Адамовичу. Еще не все сказал, я теперь пишу ответ Президенту и целую неделю бьюсь, покорнейше благодарю, или благодарю покорно, или чувствительную приношу благодарность, или благодарность приношу чувствительную, бился, бился и, наконец, купил дорогих чернил, а то понюхайте большой лист, самого с души мутит, бывало обмакну, да и закрою чернильницу, как стал писать, так мочи не было. [С] К. Николаевич[ем] мы довольно хохотали на новости академические, написанные Вами прекрасно, продолжайте стараться повествовать. Я Вас награжу устрицами, которые, как приеду в Рим, с собой привезу. Еще позабыл, что Баранов [4] женился ли и имеет ли место, формовщик М. Иванов [5] в форсу ли, Анисимов [6] не выгнан ли, моя возлюбленная Софья Григорьевна хорошеет ли, что [...] Софья Мудрова [7] и Ефимовы [8]? Мне один француз сказал про Монферана [9], что он mauvais sujet [шалопай] и был в Париже презираем до такой степени, что с ним никто дела не имел, а теперь?

Боже мой, кого позабыл, Николая Андреевича [10], который как на дно канул или в реку канул, или не знаю, только канул.

12

С. И. Гальбергу [1]

[Неаполь.] Декабря 30-го 1819 года.

Любезный Самойла Иванович! Письмо Ваше я получил сегодня и радовался оному радостью великою. Вы пеняете, что оставил Вас без известий целый месяц, будьте уверены, что нет человека более любящего отвечать, и я в течение сего времени написал три письма, из которых последние посылаю от 26 числа сего месяца, не знаю, что препятствовало оные к Вам переслать, только кончилось тем, что писавши одно после другого, носил их в [...]

Новенького, клянусь Вам, нет ничего, хотя на сих днях я получил письмо от Президента довольно, как бы сказать, приятное или лестное. Он пишет о позволении мне писать масляными красками картины Его Высочеству, в заключение только приписано собственной его рукой, что мой брат был болен, но теперь выздоровел. Вы думаете, есть что-нибудь о прибавке нашему пенсиону? Ни словечка, а только „продолжайте с богом“, не знаю, учиться ли или получить старый пенсион, ибо с божьей помощью и то и другое делается.

[...] Кстати о нашем отечестве, меня крайне опечалило несчастное положение Тихонова [2], неужели это радость? также Ал. Ф. Лабзина [3], надобно думать, что он сильно огорчен, ибо до сей поры он умел хладнокровно пере-

носить. Признаюсь, мне что-то очень прискорбно, что же касается до нового инспектора, то я кричу „виват! ландшафтные взяли верх!“. Но будьте уверены и вспомните мои слова, что Т. Васильева[4] ожидает участь Фоняева[5], Гюне[6] и Константина натурщика, или он сопьется от множества огорчений, или его выгонят за проказы, или на нем ученики будут верхом ездить. А. Кондратьев[7] давно ли был у нас шутом, из которого делали всякие дурачества, а теперь? Советую Вам в Ваших донесениях писать поклон ко всем сим карикатурам, до последнего гадкого служителя.

Прошу Вас, любезный С. И., не оставить и впредь новостями, какого бы роду оные ни были, для меня все приятно. Иногда здесь такая скука обу[р]евает, что нет сил переносить, на которую даже К. Николаевич жалуется. Письма Ваши, хотя излиш[не] повторять, приносят удовольственное удовольствие, а с домашними я скоро буду браниться. Представьте себе, брат ко мне целый год строки не написал, исключая конвертов, после этого на знакомых нечего негодовать.

Скажите, пожалуйста, как ведет себя Басин[8]: басом или тенором, он, вить, в Петербурге аршин проглотил [...] До сей поры время провожу, как Вы сие видите, скверные погоды жестоко надоели [...]

Остаюсь Вас любящий 25 пиастровый пенсионер

С. Щедрин.

Васинька, у тебя усики смеются, попался тебе на голые зубы, да нет нужды, вить, ты поедешь в Париж, тогда будет на нашей улице праздник, а уж будет, будет непременно! Что за черт, уже кажется 4 месяца прошло, а ты все говоришь, что через три приедешь. Это по-нашему называется завтраками кормить, а между тем устрицы теперь славные. К вам скоро будет один курляндец Енгельбрех[9], я с ним познакомился и рекомендую. Кажется, если не ошибаюсь, хвастун со смешными манерами.

Твой *С. Щедрин*

A propos, скажите, что теперь Теглев[10], он, верно, держит сторону учеников, и что старый инспектор[11], что наш Воинов[12], Суханов[13] и прочие и прочие и прочие.

1820

13

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Генваря 23-го нов. ст. 1820 года.

Любезный Самойла Иванович! Едва дождался случая отплачивать Вам новостями за Ваши известия, беспрестанно мне присылаемые и беспрестанно м[н]ою читаемые с величайшим удовольствием, не знаю как Вам покажутся

мои. Сегодняшний день я намерен был гулять как для отдыху, также чтобы дать прибрать свою комнату, которая была превращена моей опрятностию в свиной хлев. Возвратившись домой, вижу на столе два письма, одно от В. А. Глинки, другое прямо из Петербурга, которое начинается следующими строками: „прислана официальная бумага от А. Я. Италинского к Министру Иностранных дел Нессельроде[2], который немедленно оную представил Государю Императору и в которой рекомендует вас всех вообще за хорошее и благородное поведение, и что вы исполняете обязанности ваши с великим рвением и жаром, занимаясь единственно художеством, для которого посланы". Слушайте, слушайте! „Представляет в пример германских студентов, которые находятся в Риме для той же цели, как и вы, напитавшиеся духом вольности нонешнего времени, он великую находит разницу между вами и изъясняет так: что ежели всех германских студентов сложить вместе, то не стоят одного нашего. Похвала самая лестная и убедительная". Далее. „Император сим официальным донесением был очень доволен и в ту же минуту приказал Министру Просвещения написать к Президенту нашему, чтобы он сделал доклад, что для Вас нужно. Наш Президент в восхищении и, конечно, не упустит случая воспользоваться в вашу пользу". Тут батюшка просит, чтобы вас уведомить обо всем происходившем и чтобы, не теряя времени, благодарили бы лично е. п. — А. Я. Италинского за таковой отзыв, дошедший до Императора.

Прежде, нежели приступлю к дальнейшим описаниям, позвольте Вас благодарить за участие, во мне принимаемое, в котором я не сумлевался. Мне пишут так: „При получении письма от Храповицкого, ввечеру пришел Карл Иванович[3] и именем Вашим объявил всем домашним расположение и отзывы, каковые были деланы в мою пользу, как Министром в Риме, так равно и прочими, что их очень обрадовало и все, начиная с большого до младшего, Вам кланяются и желают всякого здравия".

Брат мой благодарит Вас, что вы его вспоминаете в своих письмах. Он был болен гнилою горячкою, но, слава богу, выздоровел теперь. Теперь буду Вам продолжать описания, Вам отчасти известные. По приезде несчастного Тихонова в Кронштадт Президент послал немедленно за ним доктора с тем, если есть надежда его вылечить, чтобы привезли в Академию, в противном случае в дом сумасшедших. По сему случаю Тредер[4] привез его в Академию, видя возможность его вылечить, и теперь он здоров, только иногда на него находит род сумасшествия и сделался еще страннее, нежели был, бывши в лазарете. Больные, находившиеся возле его комнаты, шумели, он вышел к ним преважно и говорит: „что вы шумите, надобно служить отечеству, вам — говорит — богом назначенный, жена не кувшин" и ушел. Он живет опять в пен-

сионерской и пляшет беспрестанно на манер диких и еще ничем не занимается. Во время своего вояжа он скопил 800 червонных, с женщинами сделался развязен и даже нахален. Брат мой просил его, чтобы он написал что-нибудь ко мне, „нет — говорит он — поклонись им, мне стыдно, я забыл писать". О строениях городских и их переделках писать нечего, разве только то, чем больше ломают и переставляют, тем более открывается недостатков, именно, передвинувши бульвар к Адмиралтейству, нашли, что Гваренгия Манеж стоит на боку и портит линию. Теперь задали прожектировать архитекторам, чтобы скрасить сей недостаток, иные уже предлагали сломать портал. Церковь Екатерины Мученицы Михайлова[5] уже окончена вчерне (довольно бедная получилась без крышки). В Академии выстроен натурный класс для рисования с животных, во фронтоне будут сделаны фигуры вовсе круглые, на манер древних греческих барельефов, Васильев, Констан. Ильич, зять Плуталова[6], сделан полицмейстером на Острову.

Теперь еще новая новость. Токарев Н. А. академик, он вылепил, сказывают, очень удачно статую „Улисс, натягивающий лук". Токареву отведена была мастерская в бывшей кухне Чекалевского[7], где он всегда угорал, отчего однажды едва не умер, но теперь только жалуется, что испортил натуру свою, из сего вы видите, что он тот же, как и прежде был „малад" [болен], извините, по-русски. Но к этому еще прибавилась странность, он жестоко жалуется, что домовой ему не дает покою. И именно, во время его работы хохотал, стучал, ронял вещи и делал всякие над ним шалости.

[...] А. Ф. Лабзин возвратился из Москвы, куда он ездил лечиться от падучей болезни, и чем далее, тем удары становятся сильнее, и, к его несчастью, не может оные предузнавать, и падает в собраниях, на улицах. Штат академический еще сочиняется, и половина оного переписана начисто. Когда Басина назначили в чужие края, в это время Дорофей Ширяев[8] встретился с моим братом на бульваре, разговорился с ним, он ругал наших господ, что мало обращают внимания. В это время проходит Басин, „вот — говорит он — счастье человеку 3000 пенсии, я бы меньше взял, да я найду дорогу, притом же климат здешний для меня нездоров, да и дорого жить. Находясь же в чужих краях, я буду работать и присылать труды свои в Академию". Василий Иванович[9] всем семейством Вам кланяется и не перестает еще сожалеть о Вашем несчастном путешествии в Тиволи. Что же касается до концертов, то оные не разыгрываются, дожидаясь Вашего возвращения. Вот Вам все новости. Между прочим, подивитесь осторожности, с какою ко мне пишут, ни одной строчки, ни одного слова о переменах академических. Брат очень удивляется, что у нас находится так много времени писать. Мне так удивительно, как не быть времени для пустяков, на что я слишком мало употребляю времени.

Милостивый господин пенсионер, сделайте мне одолжительное одолжение, купите, если только возможная возможность позволит, дюжину кистей щетинных во французской лавке в Пьяцо Диспан[ния?] следующей толщины, как написаны [обозначены три столбика с цифрами 4 и 3. — *Э. А.*], пузырь шифервейзу, желчи, вохры, да одну толстую [?], да еще бакану, кости, темной вохры, терцесвену натурального, все это дубли и хорошо истертых, лазори, немного киноварю и, прошу Вас, переслать оные вещи с оказией, которые теперь часто открываются. Денег за краски хотя и не платите, а попросите от меня Матвеева, чтобы он, если можно, так взял, за что я деньги вскорости пришлю, только, ради бога, не с Прокаччием, притом как ходят неаполитанские пиастры в Риме. Кисти же выбирать такие, чтобы щетинные или не слишком длинны были [...], чем Вы меня премного обяжете, но как Вам недосуг, то сложите эту комиссию на Матвеева. Я надеюсь, он исполнит все и достанет, может быть, все это в долг. Еще прошу пришлите с попутчиком, то есть с путешественником, с вояжером, с больным, с ленивым и проч., за что я Вам буду много и премного благодарен. Что же касается до моей милости, то я нахожусь в вожделенном здравии. Вы жалуетесь на холод, а я на дождливую погоду, и не только не ставлю у себя скалдина [жаровня], но живу еще при двух разбитых стеклах, которые уже два месяца прошло, как сбираюсь вставить, и думаю, что вставлю не прежде, как летом, чтобы пыль не летела.

Здесь же карнавал начался [...] также начались и фестины в Сент Карла. В одно воскресенье я туда зашел и в сем огромном театре, иллюминированном тысячью свечами, прогуливалось человек 15-ть, но вскоре и те ушли, остались только дежурные гвардейцы, два офицера, для которых огромный оркестр наяривал вальс. Дюпор[10] своим прыганием украшает и утешает, как театр, так и публику. Вот Вам, милостивый пенсионер, все, что знаю, а что знать буду впредь, сообщу, а покамест остаюсь Ваш друг и товарищ

Сильвестр Щедрин.

Генваря 25-го 1820 года.

Василию Алексеевичу кланяюсь и благодарю за доставление письма. Письма этого мне не удалось отдать в четверг, следовательно, переменил число, в сем случае я сделался чрезвычайно аккуратен.

14

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Февраля 15-го 1820 года.

Любезный Самойла Иванович! Очень рад, если письмо мое Вам принесло великое удовольствие, и очень благодарен Вам за Ваши беспокойствия в рассуждении моих комиссий, возложенных на Вас. Я уверен, что они Вам в тепе-

решних обстоятельствах тягостны, но все-таки, простите, хотя бы у Вас и столько бы было дела, как говорится, хоть в петлю лезть, несмотря на то, к Вам бы прибегнул. Но как выбирать краски не скульптурное дело, то я и прошу г-на Матвеева принять участие в сем деле, сверх того, мне есть нужда в такой краске, которой истолкование и примеры увидите в конце письма сего.

Также прошу Вас не дожидаться отъезда г-д пенсионеров, ибо это слишком долго протянется. Да, кстати, прошу Вас их не беспокоить и не понукать, чтобы они ко мне писали, я не поставляю себе счастьем получить несколько строк, писанных с принуждением. Как бы сделать этим честь мне, прибавив ни к селу, ни к городу: „приезжай, нам без тебя скучно".

[...] Если Вы будете в Неаполе около сего времени, то февраля 10-го и 11-го должны ввечеру смотреть Грот Позиллипы, оный освещается довольно хорошо при закате солнца, ибо солнце светит впрямь во всю его длину, все даже ездят оное смотреть, и я пошел с моими хозяюшками, стояли, смотрели. Солнце заходило в облака и ничего не осветило, нет, они мне говорили, вчера было лучше, жаль только, что мы позд[н]о пришли и ничего не могли видеть.

[...] Вы счастливы, находясь в карнавале римском, здесь оной чрезвычайно скучен, множество экипажей, мало масок, нет живости, одна только теснота и опасно, чтобы не вышибли глазу конфетами величиной с грецкий орех, по счастью, что оные дороги, следовательно, не очень много кидают.

[...] Знаете вы, что в Риме между художниками есть расколы и партии, не терпящие одна другую, это лютеране, принявшие католическую веру, и что они столь возненавидели свою братью, то есть лютеран, что оставили Тринита де Монте, обыкновенное жилище живописной мудрости, и переехали в Капитолий. Это мне сказывал немец, получивший из Риму таковое известие и который сам из числа партистов Лютеровых. Иногда от скуки я бы Вам советовал поузнавать все эти дела, оно очень интересно и немаловажно по всем частям, и которое не есть ребячество или слабость, но точно ведет к большему искажению художеств, восстановив в оном Республику, такую, чтобы не почитать худым, если колонна без капители, человек без головы, корова без вымя, лошадь без копыт и проч.

Из письма Вашего я вижу, что Вы плотно принялись за работу и, верно, хотите окончить статую [2] к марту месяцу, в чем Вам желаю счастливых успехов и за Ваше здоровье выпиваю сию минуту стакан вина и уверенность кладу и каплю оного на сей лист [на листе обведенное чертой коричневое пятно с надписью „каплю красного вина". — *Э. А.*]. Не знаю, будет ли видно пятно (красного вина). Вот письмо во всей форме деловое, с красками, с пят-

нами, с виньетом и с разными обер-пустяками, лишь читайте, а мне бумагу марать в привычку.

Еще одно слово. Что Скуделярий думает делать с естампами, вить они могут пропасть, мне его жаль, и я бы охотно желал оному пособить, но никак невозможно, ибо таможни везде одинаковы.

В заключение прошу Вас, хотя времени совсем не имеете, все-таки мне позволено Вам пропеть „не забуди убоги до конца“ [на листе нарисованы ноты.—*Э. А.*] и исполнить мою просьбу, доставив сию маленькую записочку г. Матвееву, в коей я его прошу, если есть у него знакомые, отправляющиеся в Неаполь, чтобы мне доставили, он ж, я думаю, может доставить в долг. Впрочем, отдаю все на волю Вашего пенсионерского благомыслячноствования, за что я Вам скажу: „Ne la ringrazio con tutto il cuore“ [За что приношу благодарность от всего сердца]. Прощайте, покамест еду на фестину, веду себя подлинно благородно, ни одному балу спуску нет от моего присутствия.

Кажется, больше писать нечего, разве дополнить тем, что пишу картину великому князю, и, кажется, за грехи меня бог наказывает, не могу окончить, даже не могу всю в порядок привести. Сегодня, то есть февраля 14-го[3], я имел честь быть посещенным датским наследным принцем[4], он явился вдруг и застал мою комнату, нечего и говорить, сами знаете, в каком положении, судя по прежней моей жизни.

Прошу Вас, к дюжине кистям прибавить еще половину, то есть чтобы было полторы, и эту половинку предоставляю на Ваш выбор, за что постараюсь со временем сам отслужить с услужливой услужливостью, если чем путным не удастся, то хоть буду у Вашей будущей супруги, если она будет, кавалером Сервенти [верным рыцарем], а теперь

остаюсь Вам преданный телом и душой и помышлением

Сильвестр Щедрин.

Письмо уже было приготовлено вотюрину, но мерзкая погода в сей день принудила меня опоздать, и как человек аккуратный, то и прибавляю к оному сии строки и число 18-го, то есть февраля. Я от скуки играю в лотерею, хозяйка наша выиграла недавно около 3000 франков, но всегда меня мучит выбор нумеров. Прошу Вас мне написать терца-три, а Вас, либо удастся на Ваше счастье, а не в этом двух поставленных для примеру, но если побоитесь ошибиться, то пришлите все три.

[На листе наложена коричневая краска и приписано.—*Э. А.*] „Нужда в этой краске, оную покупал у Сильвестра в Страда Vite, от которого и вы брали“.

15

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Марта 28-го нов. ст. 1820 года.

Любезный Самойла Иванович! Приношу мою благодарность за покупки и доставление мне красок и кистей, которые получил сполна, прошу также от меня благодарить Ф. М. Матвеева. Хотя совесть меня попрекает, что я Вас так беспокою, но последняя Ваша записка от марта 21-го придала мне смелости и бодрости пополам просить Вас прислать мне с Глинкою холста, которому меру усмотрите ниже, надеясь на г-на Сильвестра, что он отпустит в долг по поруке г. Матвеева. Таковые покупки могут расстраивать счет Ваших финансов, деньги же за все будут присланы с г. Глинкою или с кем другим, если то будет нужно.

Я бы посоветовал нашим пенсионерам отправляться в Неаполь прямо после праздника, чтобы не претерпевать нужд в дороге от множества съехавшихся иностранцев. А Сазонову и того пуще, если он не имеет лишних денег, а хочет отделаться одним жалованием, то чтобы и не расстраивал себя, ибо нет возможности таковою малостью оборачиваться в столь обширном городе, разве имеет на то посторонние виды, тогда дело другое, Неаполь страстно любит денежки, да и есть куда девать.

На прошедшей неделе я имел несчастье лишиться почтенного г. Гангелина, который оставил живописную природу неаполитанскую. Скоропостижная смерть была наградою за его добродетельную жизнь. Со смертью сего почтенного человека я лишился многих выгод. Дом его всегда был наполнен художниками, которые оказывали мне возможные ласки, видя его отличный прием и расположение ко мне. Он был похоронен [с] эффектом, на кладбище провожатые стояли с факелами, в черных одеждах, английский пастор бормотал, не знаю что-то, молитву ли или какую сказку, но только обыкновенно, как и у нас, то есть зарыли и поехали по домам. Ехавши на похороны, я встретил скульптора баварца, того самого, который вылепил Пегаса[2], с четверть минуты мы, разинувши рты, смотрели один на другого, потом заахали и стали разговаривать и уверять один другого в радости, которую доставил нам случай видеться столь нечаянно. Не знаю, что он испытывал, я гримасил сколько возможно, чтобы изъявить ему мое сердечное удовольствие, потом расспрашивали один другого о жительстве, он мне первый сказал свое двухмесячное пребывание в доме, на котором нет номеру, что значит—не приходи. Я ему равномерно также отпустил, сказав, что живу в Сент Лючии, без номеру, и просил к себе, итак, мы квиты, он еще обещался писать к Вам и принести ко мне письмо, но этого никогда не будет, и если мы теперь встретимся, то будем уверять друг друга, что несколько раз принимались искать и

невозможно, по крайней мере, я буду так говорить, что уже со многими делывал.

Вот еще новость, я начал учиться по-итальянски у одного великого грека, доктора и сочинителя, также и переводчика, но главнейшее его достоинство состоит в том, что он учит меня даром и говорит по-французски à la Diable [как черт]. Кстати, вы вправе полагать, что я пользуюсь случаем, говорю по-французски, но дела идут совсем напротив. Я так боюсь девушек, как черта, боюсь влюбиться и жениться [...] Мне совсем нет времени ухаживать около их, но лучше, одним словом, все окончить, я совершенно отказался от всех созданий женского роду.

[...] В Риме, сказывают, много русских, как Вы с ними поступаете? дают ли какие выгоды? или, по крайней мере, ласковы ли? Здесь никого нет, выключая должностных при Миссии, да еще живет здесь Бенкендорф [3], которого я не видал. Еще вопросы, нет ли каких известий из Питера, и писали ли Вы что-нибудь к своим? Если будете писать, то попеняйте за меня, так экономно никто в свете не пишет. Прошу поклониться от меня г. г. пенсионерам и прочим русским, кто обо мне спросит, не ведете ли Вы переписки с Герцбергским или Савенковым? Они мне дали комиссию им переслать книгу с каким-то попом, о котором здесь и запаху не было.

Теперь о холсте, длина и ширина оного следующая, но можете выбирать шире или немного уже, как Вы увидите, ширина полтора аршина, а в длину возьмите хоть 6 аршин, хоть целый кусок или изрезанный пополам. Сим Вы меня крайне обяжете, ибо я начинаю чувствовать в оном недостаток. Присланный Вами прежде холст весь рассортировал по картинам, и вновь писать будет не на чем. Здесь же покупать оный ужасно боюсь, чтобы моя плачевная живопись не сделалась еще плачевнее на неаполитанском холсте. Итак, я прошу Вас избавить меня сей плачевной участи, в благодарность же Вам за все Ваши одолжения желаю усердно быть здоровым, веселым и проч.

С сим остаюсь Ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

16

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Апреля 9-го нов. ст. 1820-го года.

Воистину Воскрес!

Любезный Самойла Иванович! Сегодня я исправляю долг христианский в греческой церкви, богу молитвою, попу деньгами, господам поклонами, а Вам желанием быть здоровым и проч. Поздравляя греков, я говорил Христос Ан Анеские, а грека, своего учителя, научил говорить Христос Воскрес, и он, подходя к русским, говорил: Христос Воскрес.

Теперь о холсте, мне желательно тонкого, но как я слишком худой практик, то и прошу Вас посоветоваться с Матвеевым, и как он присудит, который лучше, грунт чтобы был белый, ровно чтобы и нагрунтовано было, ровно без шишек и прочих коклюшек. Да, уже кстати, небольшой пузырек вареного масла и лаку, в чем заключается вся моя просьба.

Что же касается до естампов, которые Вы предлагаете купить и доставить К. Н., за что он благодарит и просит не беспокоиться до времени, ибо не имеет в них нужды. Прошу Вас меня уведомить, как ходят неаполитанские пиастры в Риме, также и Гишпанские, чтобы счет был мною уплачен верно. В течение моего здесь пребывания я довольно денежек ухнул, и сам черт не узнает на что, тем более, что здесь приходится тратиться для етикету. Очень рад, что эта докторская комиссия с меня свалилась, о которой я совсем и не думал, но иногда совесть упрекала, оставить людей без такой книги, которая их удерживала морить людей, хотя они совсем не из числа таковых.

Кажется, больше нечего писать, разве только о театре. Здесь на днях вышла новая пьеса на большом театре Софонизба[2], которая была жестоко освистана в ключи. Я не мог себе представить подобных беспорядков. Даже самым лучшим актерам не давали петь, свистели и шикали, между тем, актеры в замешательстве таскались по сцене, подняв руки кверху, что добавляло еще смелости, и должно правду сказать, что таковой мерзкой музыки мне даже не удавалось слышать, а Вы, я думаю, помните, между нами будь сказано, как вы вчетвером с Василием Ивановичем перекладывали Прагскую баталью, и где Токареву доставалось, что он палил не в такту. Теперь и я начал вникать в тонкости музыкальные и скажу правду, что наши оперисты тогда только могут назваться знающими свое искусство, когда И. В. Ческий[3] будет виртуозом.

Дюпор своей коротенькой фигуркой также украшает театр С. Карла.

С сим остаюсь вам преданный *С. Щедрин.*

Не правда ли, что письмо Министра о нас очень много педанствовало [?], и мы можем надеяться прибавки на обратный путь, когда прибавят к 800—200 рублей, а жить можем положенным жалованием. Я ожидал со дня на день письма от Президента, который, я думаю, будет писать что-нибудь на мой ответ.

17

С. И. Гальбергу[1]

[Неаполь] Мая 4-го дня 1820-го года

Любезный Самойла Иванович! Простите, Христа ради, мое замедление и неучтивость за неполучение от меня ответа на письма, ко мне присланные, равно и за посылку, за что приношу ту же благодарность, каковой и прежде Вас

наделял. Прибытие товарищей, с которыми столь долгое время не видался, перемена квартиры и прочие беспокойства, равно и неприятности, хоть маловажные, но все-таки расстраивали мою исправность в переписке.

В самый день приезда я встретил наших молодцов на Толедо, куда вышел прогуляться, полагая их найти непременно в дорожной карете, но вышло напротив. Зевая по сторонам, чтобы не пропустить ни одного вотюрина, как вдруг схватил меня человек под руку, это был Ельсон, остальное вы сами можете знать. На другой день они у меня завтракали, где неповоротливый, но добрый Глинка разбил графин, тут беды нет, кажется, но этим сделался диспут между мной и хозяйкой, ибо тут мешалось учтивство с расчетом, с прибавкою скупости с ее стороны. На другой день расшиб у меня банку с вареным маслом и испакостил все почти кисти, также и свой платок, на третий день я получил от него ящик с маслом и пустую склянку без лаку, ибо он оную по дороге расшиб, на четвертый день сломал кресла и, вдобавок, смущал меня едой и не давал работать, а пятый помогал искать квартиру и все по пустякам, ибо все вышло напротив, да сверх того беспрестанно хвалится своей красотой.

Тон и Ельсон осматривают окрестности и достопамятности сего города, а иногда путешествуют веселыми ногами. Они торопятся все видеть, ибо на обратном пути должны миновать Неаполь. Также все обедали у Министра и нашего консула[2]. Вот Вам подробное донесение о наших товарищах, которые теперь ожидают отправления в Мессину.

Теперь следуют неприятности, которые прошу удержать между нами и никому об оных не говорить [...] Дело вот какое, сюда, как Вам известно, прибыли некоторые господа русские, в том числе Опочинин[3], я им отдал визит и был ими отпущен с обыкновенными учтивостями, а пуще Опочининым, который настроил мне кучу комплиментов. Но отдавая визит К. Н. Батюшкову, первые его слова были следующие, то есть, когда зашел разговор о художниках (что в большой моде у подобных ему людей): „Верно Щедрин здесь ничего не делает?“ На вопрос Батюшкова, почему он так полагает, он ответил: „По товарищам его, находящимся в Риме, которые ведут жизнь самую недеятельную, и ни у кого нет никаких работ, между тем, иностранцы столь деятельны, что мастерские их наполнены работами. Кипренский горд, Гальберг вылепил бюст[4] хорошо, Крылов статую хуже Лауница“. Таковая несправедливость бесила страшно. Можно критиковать, и критику всякий перенесет хотя с неудовольствием, но впоследствии времени согласится с оною, но несправедливость огорчает страшно, и я загнул ему, равно и пригоженьким его племянницам, тысячу... Едва не проговорился, лег спать, утешил себя тем, что это еще не последний случай, их много впереди. Еще повторяю Вам и

прошу оставить это между нами и, если можно, наблюдать, не будут ли что говорить у Министра, чтобы можно было предпринять против оного меры, а то в Петербурге расславят нас пьяницами, негодяями и [...]. Вдобавок моей злости, прислали им нарисовать в албаум, но что об этом говорить много, хуже позабыть, чего и Вам желаю, по прочтении моего письма.

За поклоны, присланные мне от Ваших родственников, благодарю, и оные розданы по принадлежности всем товарищам. Что же касается до столь прекрасного известия о нашем пенсионе, тоже нечего говорить и писать, только махнуть рукой по-сазоновски.

Еще одно, мы всякий вечер едим мороженое на счет Барбая[5], содержателя картежной игры, и посещаем оный всякий вечер, несмотря на проигрыш Ельсона, иногда также и Тона. Смоленский архитектор[6] выходит почти всегда с полупиастром, где мы, похваляя его за скромность, прохлаждаем свои желудки.

Майя 10-го. Не сердитесь на меня, любезный Самойла Иванович, что так долго вожусь с моим письмом. Я перебрался на новую квартиру покамест, а на днях переберусь еще на другую новую квартиру, дожидаясь верного себе жилища с нетерпением, чтобы уведомить Вас об улице и номеру дому, о красоте новых хозяек, а более всего, чтобы вернее и скорее получить о Вас и от Вас известие. Наши господа расхаживают по неаполитанским улицам, жалуясь беспрестанно на скуку и дожидаясь своего отправления в Сицилию, о которой едва ли думают.

Майя 12-го. Наши все еще здесь находятся, думают отправиться 15-го, чего с нетерпением ожидают, я же, с моей стороны, желал бы им противного ветру. Завтра я думаю перебраться на новую квартиру, которую уступил мне наш консул на четыре месяца, и теперь я уже навсегда простился с моими целомудренными хозяйками, даже не имею времени отдать им визит, может быть, первый и последний. Подагра начала меня снова щипать, хотя эта боль и очень сносная, но напоминает несколько о будущности, как-то: постель... беспрестанные охи, но, с другой стороны, утешает уважение[м], которым пользуются люди, находящиеся в сей болезни.

Бинеманн[7] также прибыл сюда, и благодать духа святого будет над ним. Если будете писать вскорости к Вашим родственникам, свидетельствуйте им мое почтение, а меня все забыли и никто не хочет удостоить даже одной строкой. Я же с моей стороны больше писать в Петербург не намерен, послав дюжину писем, на которые только получил два в течение почти двух лет, воля их святая! Мне рассказывали, что Сазонов очень далек в итальянском языке и хвастает господам, что он Mobile [ветреный]. Кланяйтесь ему тем же нижайшим почтением, которое он прислал мне с Бинеманном. Михайла Григорьевич, благодарю за незабытие меня грешного.

[...] Майя 14-го. Завтрашний день наши отправляются в Сицилию, отложив дальнейшие свои путешествия, как-то: в Грецию, вместо которой они довольно пожили в Неаполе и по возвращении, надеюсь, что столько же протянется времени в городе, который они столь ругают и скучают. В заключение объявляю Вам новое мое жилище Capella Vechia № 22, причина, которая меня заставила это быть неисправным, но надеюсь, что Вы простите почитающего

Вас и любящего
Сильвестра Щедрина

18

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Июня 6-го 1820 года.

Любезный Самойла Иванович! Вы вправе мне напоминать, даже и ругать, да и матерщинку загибать за мое таковое долгое неписание. Отлагая почту за почтой до такой степени, что раза четыре распечатывал письмо, всегда прибавлял к оному что-нибудь. Бывши очень занят сие время и живя далеко от почты, я не мог быть столь точен, как в старинное время, но чтобы доказать Вам, что мне не за что браниться и сердиться на Вас, то и принимаюсь Вас мучить снова своими пустяками.

Глинка, равно и прочие, не находятся дальше Сицилии, которую осмотрев, возвратятся в Неаполь, а от Греции они уже давно отказались. Что же касается до писем, то оные можно переслать ко мне, если оное Вам так кажется нужным, и тогда он их получит неделей раньше. A proposito [между прочим], нет ли в оных чего-нибудь и для меня. Spero in Dio, spero nel cielo [надеюсь на бога, надеюсь на небо], а то меня все и вся вовсе забыли.

Июня 9-го. Скончался почтенный и всеми почитаемый наш консул Е. П. г. Беннакия. Смерть сего оригинального человека так меня огорчила, что если бы не занятия удерживали меня, я в ту же бы минуту оставил Неаполь, столь противно находиться в обширном городе одному и между страшною кучею встречать людей, которые без всякой искренности скидают шляпы и, разговаривая, кривят с боков рты, чтобы этим сказать всю свою ласку и дружбу. Но Вам об этом писать нечего, сами знаете, как в чужих краях, и окончу рассуждения похвалою почтенному и святому Беннакию, который жил, чтобы делать добро кому можно, за что и получил в награду скоропостижную смерть, не перенося никаких мучений. На другой же [день?] стали более и более открываться его похвальные поступки особами, им облагодетельствованными, и которые должны были молчать при его жизни. Крайне жаль, что Вам не удалось его видеть и с ним беседовать.

Июня 13-го. Праздник святого Антония я провел в слушании разных ужасных историй, происходивших в сем городе от Революции против французов, которые и были выгнаны, как известно, из Неаполя. Куда ни взойдешь, станешь ли с кем говорить, в ту же минуту начинают о действиях, показывают места, где что произошло, показывают знаки на домах от пуль и проч. и проч. и пр.

Г-на Пеппо[2] я стал встречать чаще, но он не думает даже и заикнуться о Ваших деньгах и все еще продолжает звать к себе, не говоря номеру дома, где живет, а толкует, что его ателье находит[ся] против какого-то высокого дому. На днях я посещал известных здесь пейзажистов г. Хуберта и Питлоо[3]. Первый имеет всю возможную репутацию, живет хорошо, имеет беспрестанно кучу работы, но, признаюсь, из всей его кучи работ я не желал бы иметь и самое лучшее его произведение. Живопись его суха, колеру вовсе нет, сверх того, на многих картинах находятся такие части, которые бы и Ивану Гавриловичу[4] не пришло бы в голову так писать. Второй вторую степень и занимает в мнениях многих, а в моих глазах он очень далеко превышает первого. Живопись его небрежна, но столь приятна, что я целый час смотрел на его картину с удовольствием, несмотря, что он совсем потерял характер в Искии, которой сделал вид и которую украсил пальмами и прочей дьявольщиной. Третий есть г-дин Валхов[5], который наделал кучу рисунков, все виды сицилийские, и которые заслуживают всяческую похвалу, сверх того, они все люди очень добрые, и ласковые, и откровенны. С прочими, то есть неаполитанцами, я веду шляпное знакомство, хотя некоторым из них и приходит в голову, встретясь со мной, целоваться, но у них это бывает в случае какой-либо выгодной надежды, но лишь чуть оная миновалась, никто смотреть не хочет, что со мной здесь и случается. Летом я совершенно один, никто меня не знает, но лишь наступает зима, откуда возьмутся антиквариусы, учителя итальянского языка, продавцы картин и проч. проч.

Июня 15-го. Сейчас получил Ваше письмо от 5-го и 13-го. Не правда ли, что наших господ можно назвать первостатейными скотами. Генералы, пожилые люди, скитаются с подлостью со своими албаумами, сколь многих я уверял (которые почитают, что им с удовольствием рисуют), что каждый художник, по необходимости рисующий в албаум, загибает им баранки и проклятия при каждом штрихе, а в ландшафте при каждом листочке, а эти твари и не знают, что у них в албауме для памяти матерщина и прочие ругательства.

Теперь я нахожусь в хлопотах следующих. Живу я у Батюшкова, а работаю у Беннакия в квартире, и должен был бы там работать около пяти месяцев, но ему вздумалось умереть, а мне приходится ехать в Кастель Амаро, так и не знаю куда деваться мне с ландшафтной рухлядью. Светлые ателье

здесь весьма редки, это не Рим. Хотя я некоторое время и не буду в Неаполе, но все-таки прошу не думать, что ко мне писать нельзя. Письма так будут ко мне в Кастель Амаро проворно доставляться, как только возможно, ибо там живет Министр и Батюшков, последний по временам.

Что ж бы Вам еще сказать новенького? Разве о театральных представлениях. На здешнем большом театре явилась новая певунья г. Памелли[6], которая о себе заставила говорить целый город и которую называют второй Катталани[7], и как я стал входить во вкус музыки, то мне и показалось, что она начинает очень часто не в тон. Вообразите мое восхищение, когда я услышал от неаполитанцев, да еще и любителей, то же замечание, но те приписывают оное робости, ибо она столь скромна, что определилась в театр на вторые роли и в оных она отличалась лучше первой, да какой же? которая находится у Барбая на содержании, и ей тотчас дали не первое по соперничеству место. На днях вышло новое драматическое сочинение и было представлено в Театре Флорентино, сюжет взят из сказки Екатерины Первой, и где выставлен Петр умнейшим государем, но он влюблен, говорит неблагопристойности. Екатерина, молодая девушка, влюблена также в него, тут же, ни к селу ни к городу, приклеены голландцы, поминутно к нему министры приходят с докладами, он на многое отвечает собственными своими оригинальными словами, но кончу тем, что пьеса была по справедливости освистана. На другом Театре Ново представлена [...] кряду недель шесть опера Агнесие[8] [...], прекраснейшее представление, совершеннейшая музыка. Сказывают, как сия пьеса вышла вновь, то оную беспрерывно представляли 120 раз. И в самом деле, оная стоит того, чтобы утешить строгих и взыскательных неаполитанцев.

Сии несвязные и пустые строки препровождаю к Вашему благородию с нашими сицильянскими путешественниками. Я их долго дожидался, но, наконец, увиделся, простился надолго, а может быть, и навсегда, воля божья. Теперь буду дожидаться Вас в Неаполь, дай бог, встретиться в радости и весельи, пить Лакримо Кристи за добрых и выполаскивать рот водой для злых.

Едва успеваю окончить сие письмо, ибо отправляюсь в Кастель Амаро, и уже пропел нашим общим друзьям (извините, русскими литерами, грамматика уже уложена): ко са [неразборчиво] квесто ултимо абрачио [вот последнее объятье] и повторяю оное горестное ко са [так или этак], не дай бог, дурачился сими словами, и которые, кстати, очень забавны, но после наводят грусть нестерпимую, и которая надолго остается, дружба лучше познается по удалении тех предметов, к которым столь был привязан, но находясь вместе, не всегда оную чувствуешь и при прощании поневоле пропоешь: ко са квесто [так вот] и проч. Деньги, оставленные Вами на покупки для меня разных вещей, отдаю Глинке, и по расчету выходит 10 ску [до] 11 бай [оков], что,

переложив на неаполитанскую монету, составит 10 ск., 6 карли [но], это рассчитывал Тон, чего недостает, будет вскорости додано с благодарностью.

Любезный Самойла Иванович, Вас теперь я буду дожидаться в Неаполь, но до сего дня прощайте, будьте здоровы и не забудьте Вам преданного телом, душой, даже платьем, чулками и сапогами.

Ваш друг *С. Щедрин.*

19

С. И. Гальбергу[1]

Кастель Амаро. Июля 3-го. 1820.

Любезный Самойла Иванович! Теперь веду жизнь пустынную, в шумном безмолвии, в темном уединении, вспоминаю Вас и моих товарищей, поистине любезных и добрых. Они посетили меня в сем прекрасном воздухе, где „семпре фреско е нон ле широкко“ [где всегда свежо и нет широкко], где природа меня восхищает своей разнообразностью. Представьте мое восхищение видеть беспрестанно лучшие местоположения Италии, смешанные с природою поганою Шлиссельбургскою, ибо часть Кастель Амаро уложено каменьями, отрывавшимися от гор во время разных глупостей природы. Знайте, что письмо сие пишется на поверхности несчастной Стабии, города древнего, засыпанного шалостями Везувия. Отец хозяина, у которого я живу, отрыл некоторую его часть, прося от правительства себе за убыток и труды награждения, но ему было в том отказано. Что бы Вы сделали на его месте? То же, что и он, засыпал землю и рассадил виноград и прочие фруктовые деревья, которые ему приносят доход 2000 дукатов, что составляет 8000 руб. Не правда ли, что на эти дукаты лучше смотреть, нежели на изломанные стены?

В первые дни я начал делать етюды в таких местах, где, по-видимому, ни одна нога не ступала, ибо, проходя мимо меня, некоторые мальчишки, лет 12-ти и более, плакали и кричали „мама мия“, прячась от моих взглядов, хоть и были в расстоянии от меня в саженях 20-ти, но взглядывая беспрестанно на делаемый мною вид, им казалось, что смотрю на них с угрозою, чем приводил их в страх. Другие полагали, что я англичанин, дразнили меня, коверкая итальянский язык, и без того несчастный в Неаполе, на манер лошадиный или английский, третьи влезали ко мне на гору, и я их ничем отогнать не мог, иначе, как грозя, что их всех нарисую, отчего они опрометью от меня бежали. Посещаю же я сии места довольно знатно, разъезжая всюду на осле [...] Здесь надо питаться воздухом самым чистейшим но, между прочим, мое лицо попрошлогоднешнему становится а ля Мальцев[2], а по багровому подбородку гожусь в любители нашей Академии.

Июля 10-го. Теперь пишу при частом подземном гуле, должно думать, что у Везувии сегодня гости и очень часто двигают стулья, может быть, пьяные

Вулканы. При этом шуме хочу Вам писать страшнейшие пустяки. Вам уже известны происшедшие здесь перемены. Кастель Амаро, как провинциальный город, снабжаем был разными ужасами, происходившими будто бы в Неаполе, что в ту же минуту опровергали и снабжали другими, еще ужаснейшими. Хозяин мой все переносил хладнокровно, но при известии, что будто бы три тысячи калабризцов идут в Неаполь, потерял свою бодрость и объявил мне, что меня не выпустит из дому, чтобы со мной чего не случилось. Насилу я мог его уверить, что в Неаполе должна быть тишина, ибо мне никакого оттуда известия не дают, и что Министр и Батюшков, наверное, меня не покинут. Министр при первом известии уехал в Неаполь, а на другой день прислал и за своей фамилией. Все иностранцы разъехались, народ по городу ходит толпами, привесив себе на шляпы трехцветные кокарды, другие через плечи трехцветные ленты, все с ружьями, и большая часть не понимала, что такое конституция. Но оное слово переходило от одного до другого, иной думал, что ленточки носят на шляпе для того, чтобы оная дольше носилась, другой ходил с ружьем, полагая стрелять в конституцию и защищаться от нее, но кончилось тем, что оную дали и с радости иллюминировали город, крича: „Viva il Re, viva il Constituzio!“ [да здравствует король, да здравствует конституция!]

[...] Прогуливаясь вечером по городу, я был остановлен кучею непонимающих конституцию с вопросами—„Кто я?“—„Иностранец“.—„Какой нации?“—„Русский“. Они отошли все вдруг, как будто бы не знали, каким образом к русским придираться, и во все время следуют за мной самым приметным образом. Не знаю, что будет дальше, однако же это меня беспокоит.

Июля 22-го. Ежели это письмо не красноречиво написано, то прямо называйте меня беспутным, на что имеете совершенное право, ибо как почти в три недели не умею оное окончить, но вот причина: как был один, то рано ложился спать, а днем было некогда, но приехал сюда барон Зон[3], опять днем некогда, а вечера с ним проводил в разговорах. Но теперь опять один грущу о будущих счетах, которые готовится мне подать хозяин и которые он уже подавал Батюш. и барону со всею безбожною безбожностью. Но как казна моя начинает ослабевать, то и желаю предупредить дальнейших безденежных болезней, прибегаю к Вам с просьбою переслать мне третное жалование с июля месяца 1820-го года. Но как Вы не имеете время, а может быть придется хлопотать об оном у Министра или у кого другого, то я и прилагаю небольшое письмецо к Матвееву, прося его об оном, как охотника ходить к Министру и банкиру.

Августа 1-го. Какой исправный человек, начал письмо в Кастель Амаро, а оканчиваю в Неаполе, но Вы не сердитесь, что я повторю еще свою просьбу о присылке денег, хотя хозяин и взял с меня цену умеренную за поганый

обед, по его словам самый лучший из всех французских кухонь, которые делают разные смеси, негодящиеся для здоровья (обыкновенные слова самых скупых людей). Кофей он мне варил на четыре дня, и подает в первый день гущу, во второй прокисший, в третий какую-то жижу, а там опять начинает снова. Сверх того, от его ужасного самолюбия я должен был терпеть и прихваливать все, что он подает. Впрочем, я с прискорбием оставил Кастель Амаро, прекраснейшие места, одно утешение, что надеюсь вскоре опять их увидеть [...] Прощайте, л[юбезный] С. И., не забудьте моей просьбы, в чем отдаюсь на Ваше благоусмотрение поступить, как Вам кажется лучшим, а меня извините, кажется, я уже слишком Вас затрудняю и с сим остаюсь

любящий Вас *С. Щедрин.*

Ельсону, М. Г. Крылову, Глинке, Сазонову, Тону, Кипренскому кланяюсь и благодарю за их ласки и дружбу, может быть, с ними больше не увижусь, то и прошу меня не забывать. Нет ли каких новостей из Петербурга? К Глинке, кажется, много пришло писем, а мне пишите в старое место, то есть не в Люция, а в Capella Vechia № 22.

20

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Августа 10-го 1820 года.

Любезный Самойла Иванович! Насилу я дождался писем из Петербурга, целых три, одно только последнее немного утешительно, а прочие, сами усмотрите, которым я сделаю выписку по порядку. В первом, от марта 11-го, пишут о рекомендации Министру о нас, полагая, что я не получил прежде посланного письма, ибо я оставил оное без ответа, где, прибавляет батюшка, что он очень часто напоминал Президенту о нашей прибавке, но всегда получал в ответ: „все будет сделано". Во втором письме, от брата, также мало нового или интересного, вот Вам все, что только есть путного и любопытного. В театрах играют хуже и хуже. Здесь находится также и французская труппа, но еще негоднее русской, а немцы выдумали давать итальянские оперы и играют прескверно, но в Академии не ищут нового. Сцену вздумали осветить сверху, разумеется, было неудачно, то и оставили по-старому. Тихонову становится хуже и хуже, и полагают, что он в сем положении останется, то есть сумасшедшим, иногда, разговаривая очень хорошо о чем-нибудь, вдруг вытаращит глаза и говорит: „Я вас сотворил, воспитал и проч.!" Говорит, что он влюбился на Сандвичевых островах, хотел там остаться, но его поневоле увезли, ест редьку, пьет кофей, все это еще более раздражает в нем кровь, куда ни придет, со всеми целуется, поет и танцует.

Анна Никитична Нарышкина[2] скончалась, она оставила после себя, сказывают, семь миллионов, Феклуше отказала 150 000 (хорошая невеста Сазонову). В библиотеке по представлению Президента вышло всем награждение и так далее и далее, все пустяшнее да пустяшнее.

В третьем письме, присланном с Вашим вместе, находятся следующие строки, что уже вышло повеление положить нам жалование по 600 червонных и вознаградить за прошедшее время по 200 червонных на каждого. Это не совсем худо. Президент еще получил вторично письмо от А. Я. Италинского, где опять восхвалил сколько возможно, и Президент опять читал оное Государю, но между прочим, и между нами, Министр, писавши к Президенту разные похвалы о нас, упомянул так, что о Кипренском он этих похвал не может сказать. В Академии со дня на день ожидают Государя. Александр Христофорович[3] получил крест четвертой степени Владимира и сделан членом Российской Академии, Иван Иванович и Карл Иванович[4] тоже с крестами Анны третьей степени. Каталани находится в Петербурге, здесь любопытно. Бортнянскому[5] вздумалось ее попотчевать духовным пением придворных певчих, запели, она вышла и остановилась в недоумении и восторге, но как запели Херувимскую, то она растрогалась до такой степени, что плакала и даже рыдала, конец сей заключили многолетием, чем также ее привели в немалое удивление. Сим пением она столь была довольна, что на другой день всем певчим прислала билеты на свой концерт.

Здесь батюшка заключает сим, что сию минуту, при окончании письма, пришли Анна Ивановна и Александр Христофорович и Вам свидетельствуют свой поклон, равно и все мои домашние Вам кланяются, больше нет ничего, а что и находится, то все пустернак.

Теперь наша переписка, не знаю отчего это происходит, от привычки ли, или от Вашего забавного манера описывать происшествия, бывшие с Вами или с другими, и лишь только письмо, на коем почерк Вашей руки, мне смешно, но начну читать, я хохочу от всего сердца, зажимая иногда рот, что [бы] кто не видал.

Но пора приступить к делу. В письме к Матвееву я ясно показал, что мне нужны только деньги за одну треть, даже означил число — 100 пиастров или 500 франков, следовательно, он и не ошибется, а то жаль, если крючок в моем письме заставит меня платить проценты банкиру. Но это моя вина, слишком размашисто пишу, только прошу поторопить Матвеева, чтобы он не замедлил, ибо мне очень нужны деньги. Больше писать, кажется, нечего, ничего нет путного. Вы добрый человек и, конечно, позволите мне удовлетворить мою страсть, то есть написать несколько пустяков, притом же много чистой бумаги остается, я оную замараю, а Вы от досуга прочтете.

Вы знаете, сколько я желал попробовать любви всех родов актрис, наконец, в воскресенье ввечеру, при большом количестве народу, по Страда Къяйя, сторонкою, пробирается дама со служанкою, довольно стройная, но одета просто и легко, и при множестве экипажей, съехавшихся в сей улице, она на меня часто натыкалась, поглядывая с грациями. Я начал с нею разговаривать, а она отвечать, я прошу позволения ее навестить, она принимает это с удовольствием, но только по окончании спектакля. Мне показалось, что можно и прежде спектакля. Гм, гм, гм, понимаете? Но дама мне объяснила, что она оперная актриса, то и не может так располагаться по своей воле, но по окончании пьесы я могу быть у нее и что она меня будет дожидаться. В другом случае я не стал бы так долго терпеть, но слово актриса для меня драгоценно, как, напр., сидя в театре, я буду рассматривать свою прелестницу в мишурном платье, это сколь приятно, столь благородно. Читайте, любезной Самойла Иванович, из всего можно получить пользу, для того Вам и делаю сие примечание, чтобы Вы были осторожны, хоть и в маловажном случае, но для нашего брата и это не безделица, читайте дальше.

Женщина сия довольно пригожа, хотя и не так-то молода, высокая грудь, прекраснейшая спина, прекраснейшие руки, плечи, зубы, все открыто в самом привлекательном положении. Лишь я вошел, то в восторге, можно сказать, облапил ее, или покрасноречивее, прижал в свои объятия, она то же делала и терлась около меня, а я около ее прекраснейшего тела, белого как снег, но лишь взглянул на себя, то ахнул, весь белый, как домовой или мельник, который сию минуту только отыскал мешки или, лучше сказать, как будто бы меня кто-то тер около вновь выкрашенной стены, обвиняя себя, что столь был недогадлив, что вошел не обтряхнувшись. Но когда восторг стал ослабевать и как я стал равнодушно рассматривать свою красавицу, тогда-то узнал причину моей неопрятности, ибо все ее прелести сделались полосаты, со всех возвышений стерлись белила и остались на моем фраке, и, к несчастию, сам черт не отчистит этих белесоватых пятен. Вот Вам урок, никогда не ходите к актрисам после спектакля, а если пойдете, то надевайте старое платье, а то при одном фраке это невыгодно. Хотя Вы сердитесь и бранитесь, но мне теперь нет дела, я себя потешил и с сим остаюсь

Вам всегда желающий добра и выгод Ваш друг

Сильвестр Щедрин.

Пожалуйста понукайте Матвеева, чтобы он не замедлил, мне нужны деньги, но не подумайте, что для актрисы.

Благодарю тебя, любезный Василий Алексеевич, за присылку писем, я оные получил сполна, но только немного поздно, теперь надо ожидать решительного

объявления о нашем жаловании. Как будешь писать к Кронштадскому, то кланяйся и благодари его. С сим остаюсь

твой друг *С. Щедрин.*

Очень рад, Сазонов, что ты с работой окончил, да приезжай посмотреть Неаполь. Сюда наехало пропасть немцев с усами, без галстуков, с дубинами, в фуражках, совершенные черти, они никак не могут, чтобы им чем-нибудь не отличаться.

С. Щедрин.

Не забудь Феклуши—150 000! М. Григорьевичу, Ф. Феодоровичу и длинному Тону с короткой фамилией [...] поклон, также Кипренскому, Матвееву и проч.

21

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Октября 22-го нов. ст. 1820.

Любезный Самойла Иванович! Что это значит, что с Вами сделалось? нет ни слуху, ни духу, уже не больны ли Вы? или заняты работою по горло. Я до такой длинной степени дожидался четвергов и воскресеньев, что меня клопы блохи, комары да еще какие-то маленькие букашки совсем заели, и я страдал от них бессонницей, после чего захворал порядком и был два дня в постели, но милосердный бог помиловал, потом переменил квартиру и живу опять в S[ta] Lucia и плачу в месяц 17 пиастров, очень дорого, но зато вид из окошка наивеликолепнейший. Перед носом курится Везувия, по обеим сторонам оной синеются прекраснейшие горы, живописно расположенные строения, все сии предметы заставили меня платить такую непомерную цену, но к этой превосходной природе можно прибавить слова Крылова: „Прелестно, что и говорить, но все прискучится, как не с кем вымолвить и слова". Один-одинехонек, и сначала хоть в петлю лезть, но как к всякой подлости можно привыкнуть (слова В. А. Глинки), так и я привыкаю.

Сентября 20-го но. ст. Приехал сюда русский курьер. На другой день я обедал с ним у Министра, где он рассказывал многие новости фельдегардские, ибо он во всей форме. Курьер молодец собой, но немного невинен. Он сказывал, что польские войска не имеет сил хвалить, что оные должно всякому видеть собственными глазами, а пуще три полка русских, находящихся в Варшаве. Можно судить по сему, что в Уланском Российском полку есть рядовые, у которых лошади стоят 3000. Всюду строятся, само правительство к оному поощряет, доставляя выгоду строющемуся, давая ему половину суммы взаймы, что будет стоить его дом без процентов на 20 лет. На Невском проспекте

бульвар срыт, а по обеим сторонам домов сделаны тротуары, около которых рассажены деревья и расставлены фонари, какого-то нового разбору чугунного, и которых он назвал прекрасные. Лето в Питере столь было горячо, что в полдень нельзя было отворить окна, ибо делалось удушье. Сей курьер приехал сюда в 14 дней, пробыв в Риме 40 часов, ехавши из Варшавы самым дальнейшим трактом, ибо, по его словам, никто не знал ближайшей дороги. Отсюда же он надеется приехать в 10 дней. Ему я отдал мой рапорт в Академию, где сослался на политические обстоятельства, которые принудили меня не рапортовать полгода, но я Вас прошу не брать с меня примеру и рапортовать мне немного почаще. Я иногда от скуки напишу всем письма, запечатаю, полагая отдать на другой день на почту, но и пропущу одну, потом другую, третью и так далее и оканчиваю тем, что сам и распечатываю и читаю от скуки. И это письмо к Вам третье, за которое прошу извинить. Схватив с жару целую тетрадку почтовой бумаги, начал царапать сии строки, но когда пришлось перевернуть лист, тогда только увидел, что пишу на половинке. В досаде ударил себя по писарскому обычаю по лбу, но уже жаль стало переписывать.

Не помню, писал ли я Вам, что Петр Мартос[2] женился на сестре Пятницкого[3], архитектора, и взял вовсе без приданого, Алексей Мартос[4] выдал перевод Квинта Курция, отец его дал на напечатание 2000, но он ничего не выручил. На днях я имел удовольствие читать журнал „Сын Отечества", в трех книгах, читал оные с возможным прилежанием, но ничего путного и интересного в сих журналах не находится и наполнены одними критиками и ответами на оные и то самые незначительные, например: Александр Бестужев[5] критикует перевод с французского об искусстве в верховой езде, актер Брянской[6] отвечает за молодого актера Каратыгина[7], который был обсмеян за худую его игру и за неспособность к театру, далее находится вояж Головнина[8] с продолжением впредь и предлиннейшая епитемия всех польских писателей старинных и новых, которых я не имел терпения прочитать. Это я Вам пишу для того, что если бы случилось Вам узнать, что я читал журнал, то не будете пенять, что я Вас не известил ни о каких новостях.

Теперь, кажется, можно Вас поздравить с двухлетним пребыванием в чужих краях. Время пролетело быстро, а последний год пролетит еще скорей, ужасно помыслить, что должно возвратиться, не знаю как Вам, а мне никак бы не хотелось оставить столь прелестный край для пейзажистов, чем я еще мало пользовался.

Октября 1-го был день торжественный для Неаполя, сегодня был открыт парламент, король ехал в сопровождении всей своей фамилии, статских и военных чиновников, все войско стояло в параде, народ кричал: Viva il Re!

[Да здравствует король!], а дождик со своей стороны также исполнял свою должность, спрыскивал всех без разбору. В сей день я увиделся с Габбе[9] и ввечеру был в театре, где при входе наследного принца в ложу повторили в три приема: Viva, с сими же восклицаниями и проводили его. Никогда в свете я не видал представление балета с таким беспорядком, как сегодня. Представлен был Дон Жуан, который уже играется на здешнем театре более трех месяцев. За болезнью первого лица, выпущены были многие танцы, но это не беда, целые явления должны были пропускать, ибо декорации столь были дурно приготовлены, что не успевали их переменять, и если кто видит эту пьесу в первый раз, так уверен, что сюжету он не мог понять ни под каким видом. Мне писали из Петербурга, что Кипренский отправляется в Париж, и как это известие уже давно мною получено, то я думаю, что его уже нет в областях святого отца. Картины же мои приведены к окончанию, но я не знаю, каким образом мне отправить и есть ли какие поручения Министру в Риме в рассуждении посылки оных. На сей раз я хотел писать Матвееву, чтобы осведомился у Министра, как в сем деле поступить, но удержало меня то, не обидится ли этим Кипренский, если он в Риме находится, что мимо его идут. Итак, прошу Вас узнать, как в сем случае поступить, и каким образом Вы сделаете со своими статуями, меня об этом уведомите. Более писать, кажется, нечего, выключая, что погода здесь весьма дурная, но, несмотря на оное, город уже второй день иллюминовывается.

С сим остаюсь преданный Вам товарищ и друг

Сильвестр Щедрин.

Нет ли каких новостей из Петербурга? Не слышно ли чего о ложных или ложных [?] деньгах, о чем другом? Прошу меня уведомить, если найдете хоть мало досужего времени, право, иногда страшно скучно, из Петербурга в кои веки несколько строк накропают, да и то всегда повторы прежних писем, да правду сказать, и я хорош, начал писать домой и хотел поименно отсчитать имена знакомые и, право, большую часть забыл. Письмо же ко мне адресовать по-старому: в Капеллу Векио в № 22, это вернее, нежели на мое нынешнее обиталище. Прошу поклонитесь от меня Елингу[10] и благодарите его, что он меня помнит, также поклониться Унгерну Штерберху[11], если Вы с ним знакомы, и пожелайте от меня здравия и долголетия.

Сие письмо посылается к Вам с известным чудаком Артемием Араратским[12]. При первом моем знакомстве с ним я пожелал знать, не видался ли он с кем из вас, но он видел одного только рыжего пенсионера в лавке Скуделярия, не знаю, кто из вас в рыжие попал. Г-н Араратский очень добрый человек, но странное его путешествие меня забавляло до крайности. Он не может

понять, для чего ездят смотреть изломанный город, так он называет Помпею, также ему странно кажется, для чего я, рассматривая картины в студии, пропустил несколько незначущих картин, но больших, кинулся смотреть маленькую картину Вувермана, на что он мне сказал: „Какой ты смешной, смотри, сколько ты пропустил больших картин, а смотришь на маленькую". Гроту дель Каппо не может запомнить, для чего и называет ее собачьей комедией, и множество отпущает подобных штук. Он приехал сюда от стыда, как он говорит, чтобы не стали смеяться в Петербурге, что он, быв столь близко Неаполя, не заехал в сию столицу, а сам, прожив восемь дней, дальше Толеды нигде не жил. Едва я его уговорил осмотреть помянутые места, чем он остался доволен. Между прочим, издал какие-то сочинения о Персии на французском языке в Париже, за что был выхваляем во многих журналах. Чтобы описать Вам подробно сего оригинального человека, должно много измарать бумаги, хотя знакомство мое с ним слишком было коротко. Мусье Габбе здесь находится без денег, но не перестает опущать концы губ книзу, при всякой малости, все худо, все не по вкусу, а между нами будь сказано, он не любит мясных и составных кушаньев, понимаете? но он чего-то ищет и чего-то надеется, но он добрый человек, притом кто не без пороку.

Я же теперь сижу у моря да жду погоды во всей форме, во всем смысле сего слова. Неаполь находится в глубочайшей тишине, все ожидают окончания Конгресса. Дай бог, чтобы обошлось без шуму и военной тревоги. Мне очень жаль будет покинуть эту землю. Терпение, Geduld [терпение], passione [страсть]. Иной, проживши 60 лет, не видал в течение сего времени столько политических перемен, которые теперь случаются в один год, а наша братья не знала другой тревоги, как палитра с кистями, тоже должна терпеть, Geduld, geduld-stvovat и pasianst vovat.

Если есть какие новости из Петербурга, прошу Вас меня об оных уведомить, и что происходит хорошего в Риме, чем в моей пустынной жизни крайне одолжите. Хотя я впереди и переменил число, думая, что не беда, но совесть упрекнула так обманывать. Сие письмо начато октября 2-го, а окончено 22-го, только прошу не брать с меня пример, я Вам обещаю, что это в последний раз.

22

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Ноября 22 нов. ст. 1820 года.

Любезный Самойла Иванович! Наконец дождался от Вас известия, не получая столь долгое время никаких писем, я начал горевать, полагая, что Вы меня покинули в моем одиночестве. Октября 21-го мне отдал письмо портиер, который служит у меня, не знаю в какой должности, но по важной осанке,

по большому брюху и по харе, испещренной угрями, я не смею его инако называть, как своим камердинером. Скомпонуйте радость, сколько сил Ваших достанет, сколь я оному был обрадован, прочитав же Ваш визит княгине Волконской[2], я столь оному хохотал, что мой камердинер, по имени Гайтан, думал, что я плачу, и явился было ко мне с утешением, полагая, что я получил неприятные известия, ибо глаза мои от смеху были наполнены слезами. Я живо вообразил себе смущение Ваше, неповоротливость Глинки и неуместную учтивость Сазонова, который, может быть, хотел похвастать своим крепким лбом, силу оного показать на голове Глинки. Извещайте меня побольше о подобных приключениях, оные меня более смешат, нежели Пулчинелли неаполитанские. Что же касается до денег, то оные мною получены сполна и без всяких претензий. Я много благодарен ошибке Матвеева, что он мне прислал годовое жалование, ибо издержки мои становятся час от часу больше, и я проживаю мое третное жалование в два месяца, не издерживая оных ни на какие шалости, даже не имею достаточно платья. Обстоятельства же мои таковы, что должен беречь копейку на черный день, во всем смысле сей пословицы. О прощальном празднике, данном Глинкою, меня уже известил Бинеманн. Я крайне сожалел, что не мог найтиться посреди вас, но, может, скоро увижусь с вами и тогда за фиаскою Дорвьетта буду вам рассказывать о своем долгом житье в Неаполе, которое оставлю с сокрушенным сердцем. Одна мысль, что остается нашего пребывания в чужих краях один год, приводит меня в ужас, я почитал других счастливыми, когда оные отправлялись в чужие края, но себя почитаю несчастным, что видел столь прелестнейшие места.

Теперь я живу, как Вам уже известно из письма, посланного с Артемием Араратским, с чудным армянином, с которым я Вас частью познакомил в нескольких строках в посланном с ним письме (пропустил сказать Вам, где живу, на S^ta^ Lucia № 28), сего азиятца я не мог понять, для чего он вояжирует, умен ли он или глуп, богат или беден? он ничего не хочет видеть, между прочим, все знает, показывается невинным, между прочим, делает политические описания и рассказывает многие происшествия, которые только могут быть известны одним тонким лазутчикам. Он также и не беден, ибо таскается по свету, как будто бы ждет фортуну, он для меня точно та же загадка, как Битерманну[3] неизвестный. Иногда г-н Араратский меня смешил совсем новым манером. Вошедши с ним в трахтир обедать, он увидел, что зеркала не чисты, в ту же минуту приготовился их мыть, я едва его упросил, чтобы он не принимал на себя этот труд, на что он мне отвечал, что не может терпеть никаких неопрятностей и что он у себя в трахтире сам зашил все распоротые тюфяки и простыни и вымыл стекла, вот вам как вояжируют с самого начала трахтирные создания. Я думаю, не бывало человека, путе-

шествующего с такой опрятностью, это я Вам даю только понятие о странностях, но о прочем если писать, то недостанет терпения, и сначала я очень обрадовался его знакомству, потом оное мне обратилось в тягость, покончить о г. Артемии тем, что пожелать ему счастливого пути. Все это лишнее, но Вы извините.

Письмо Ваше я получил октября 24-го нов. ст. Благодарю за новости академические, которые мало имеют для меня отрады, и причиною тому следующее: я имею некоторые дела интересные. Вам, я думаю, небезызвестно, что в Питере остались мои картины, которые г-н Президент обещал представить Государю при первом случае, то есть в Академии, ибо Императору угодно было удостоить оную своим посещением, итак мне бы желательно знать, не упоминал [ли] что-либо в письме Басина, был ли император в Академии, если он удостоил своим присутствием нашу матушку, то мне ничего не осталось ожидать, ибо меня хотели немедленно уведомить о происшедшем. Если еще не был, то надежда меня все будет водить на своих помочах, но, во всяком случае, я не прощаю моим родственникам за молчание, которое некоторым образом расстраивает мои предположения, ибо уже почти полгода, как не получаю никаких известий. Вас прошу, как единую мою отраду, вопросить Басина, нет ли чего в письме его о бытии Государя в Академии и мне ответить, и я буду иногда от скуки мыслить, рассчитывать и этим себе несколько облегчить.

При каждом письме Вашем мой гнев воспламеняется до высочайшей степени при словах: „между тем как мы в течение целых двух лет ничего получить не можем". В самом деле, это уже похоже на какое-то презрение к нам, грешным, хотя я полагал, что нет ничего досаднее, как цигарка не курится, но теперь вижу, что еще досаднее, как не дают денег. Но эти слова пустые и ничего из них не выходит, как только один кукиш из трех тысяч верст. Между тем Бинеманн написал с меня миньятюрный портрет очень хорошо, я не потому хвалю, что я в маленьком виде очень пригож. Когда вздумаю жениться, то не инако буду свататься, как посылая свой портрет с требованием, чтобы, на него глядя, тотчас невеста согласилась, а там уже явлюсь и сам. Хотя и будут делать кривые рожи, да нечего делать. Сей портрет написан с тшанием, с самою тонкою отделкою, хорошо нарисован, и все детали выполнены с искусством. Здесь следует его описывать п[л]астически, глаза, прямой с площадкой нос, ужимистые губки, златовласые бакенбарды, завивистые волосы, словом сказать, нет похвал моей красоте в портрете, которую боюсь продолжать, чтобы не стали бранить за самолюбие, и окончу только тем, что он на меня так похож, как две капли воды (чур, между нами эти дурачества). В самом деле, портрет хорош, Бинеманн также сделал портрет Габбе,

с которым мне случалось пробовать обедать в разные цены, как-то: в 6 карлинов, в 10 и 12, и все я был сыт и доволен, но в прошедшее воскресенье смутило меня обедать за 8 карли. Сели за стол, Бинеманн с нами же обедал, и как он не может всего съесть, что подается за таковые цены, то и спрашивал по карте, тут я ел во всю Ивановскую и не приметил, что выпил бутылку вина, и не приметил, что выпил другую, а уже приметил, как выпил бутылку пива, так захотелось дополнить и пуншем для очищения горла. Был в театре, пришел домой, писал еще при свете ночь с натуры, которые я повадился писать. Все сии дела я приметил на другой день, как во вздувшемся брюхе моем, казалось, наставлено несколько бочек сороковых с вином, в голове же ни на денежку ума, в глазах же ни на копейку свету, и я должен был с восходом солнца итти прогуливаться, восклицая беспрестанно, что никогда не буду есть за восемь карлинов, а всегда за пиастр или дукат, чего и Вам советую. Шереметевы[4] отсюда уже отправились, и что с ними случилось по дороге несчастье, это все Вам лучше известно, нежели мне. Сюда прибыл новый чиновник к Миссии, с которым я еще не имел чести коротко познакомиться. Сказывают, Петербург совершенно нов, скучен и очень дорого житье. Писать больше нечего, весь вздор Вам излил, на манер донесений о всякой всячине. Что же касается до моих картин, то оные могут немного повременить, и я Вас прошу ничего другого не говорить, разве кто вопросит, то скажите, что оные окончены.

Декабря 1-го но. ст. Я получил письма под двумя конвертами. Вам не следовало бы извиняться и тогда, если бы Вы распечатывали письмо, адресованное прямо ко мне, я более уверен в скромности Вашей, нежели в собственной моей. Итак, я разрешаю мои письма читать, перечитывать, складывать, перекладывать и проч. Мне ни к чему повторять братнего письма, из которого Вы увидите, что нас, грешных, вспомнили, почему многие строки в первых листах моего письма не годятся, но вымарывать их не буду, чтобы доставить Вам больше удовольствия на сон грядущий их перечитывать. Батюшка ко мне ничего важного не пишет, выключая некоторых семейных приключений, не заключающих в себе ничего важного, только фамилия моей сестры умножилась рождением сына Василия. Кажется, я на грех писал картины, в Петербурге с рук некоторые не идут, что меня иногда крайне сокрушает и судьба указывает пальцем прямо, чего я должен ожидать: чин советника, 600 жалования, в одном кармане платок, в другом табакерку, в жилете ключ от комоду, в котором будут лежать етюды, в большом кармане драная бумага... понимаете? а в панталоны буду класть руки, что[бы] укрыть оные от холоду.

Теперь, любезный Самойла Иванович, прошу Вас еще усерднейше и, может быть, утруждаю Вас в последний раз, ибо, как кажется, скоро должен буду

возвратиться в Рим, но так или не так, а дело состоит в следующем. Вы уже прочитали, что нам сделана прибавка, жалования же я получил за четыре трети или за три, право, я не помню, а лучше сказать не понимаю, но в ноябре месяце началась новая треть, почему я опасаюсь, если де известие о нашей прибавке придет в течение сего времени, то не зажилит ли банкир и не вставит сию сумму в число прибавленного пенсиону, то есть ту, которая теперь хранится у него (я говорю о жаловании, а не о какой другой сумме) и которую я не получаю по причине моей отлучки. Как бы Вам лучше растолковать, но Вы это можете лучше знать, получая аккуратно каждую треть ваш пенсион, почему посмотрите и мою сумму, о которой я говорю и которой боюсь лишиться, если же тут нужны будут какие присяжные дела, то прошу Вас утрудить г-на Матвеева, как общего нашего ходатая по таковым делам, и ему же известно, что он ко мне переслал [из] моей пенсионной суммы. Итак, если-де есть сомнения тут, то прошу Вас предпринять против оного меры, и если необходимость потребует, то возьмите лучше деньги к себе под сохранение. Все сие предоставляю на Ваше благоусмотрение, чем меня крайне обяжете. Эти пенсионные расчеты меня с толку сбили, а пуще переводы пиастров в дукаты, а от Матвеева я не получил никакого месячного расчету, за которое и по которое я получил.

Что же касается до моей личной особы, то я нахожусь, слава богу, здоров, одна только подагра меня несколько пощипывает. Деньги же, заплаченные Вами за письмо, будут с первой оказией возвращены.

С сим остаюсь любящий друг и товарищ

Сильвестр Щедрин

Декабря 1-го 1820 года.

Прошу поклониться от меня всем, а Сазонову пожать руку за труды его с Марфой Посадницей.

23

С. И. Гальбергу[1]

[Неаполь.] Декабря 25-го 1820 года.

Любезный Самойла Иванович! Что бы это значило? Нет никаких известий от Вас, или мое последнее письмо не дошло до Рима, или не было принесено в кафе Греко, или там употребили оное на непристойное дело, и что сделалось с Константином Николаевичем? Конечно, он болен, ибо нет от него никаких известий. Здесь все спрашивают меня, не получал ли я чего, какой-либо записки от него, а я у других и, таким образом, проводил прескучное время, которое когда-либо бывало в Неаполе. Проливной дождь испортил

праздник Рождества и обратил оное в совершенную будничную пятницу и воспрепятствовал мне обновить новый сюртук с девятью пуговицами на лифе, поставленными рядом. Везувия тоже со своей стороны довольно пошаливает, гром на небесах, шум моря и мокрота земли упрекают Вас вместе со мной за таковое широкое молчание.

Декабря 18-го я получил письмо от Глинки из Генуи от ноября 11-го, он жалуется на одинокое путешествие, скука и перенесенные им труды едва не ввергли его в горячку, далее написал поминанье всем городам, которые проехал и которые будет проезжать, заключив почтениями и поклонами разным особам, которых уже здесь и запаху нет, в том числе и вам всем кланяется.

Я думаю, Вы никак не воображали иметь при Миссии Римской Константина Николаевича, он как умчался отсель, и только на другой день я об оном узнал, и что сталось с ним Gott [бог] [помог?] [2].

Здесь теперь все кажется не на [далее неразборчиво. — *Э. А.*] все качается. Бинеманн с большою ватагою немцев отвалил от Неаполя, кафе Собето опустело совершенно, иногда только появляются французские художники, но их слишком мало, чтобы заменить место табакокурных посиделок, и я теперь пошел за совершенного немца, не знаю, почему вдруг таковым, только уже несколько раз ко мне прямо подходили с сими словами: „Sie sind warscheinlich ein Deutscher“ [вы наверно немец].

Во всяком другом случае сие было б неприятно, но на чужой сторонке и это божий дар. Но писать Вам больше нечего, право, скука отнимает все идеи, и эти строки писаны с большой натяжкой, за что прошу извинить, и порадовать меня еще каким-нибудь щелчком лбиным Сазонова. Также прошу Вас не оставить в моей прежде посланной просьбе, в рассуждении моего интереса с банкиром, чем меня крайне одолжите, и также прошу уведомить, что сталось с Константином Николаевичем (я бы к нему и нацарапал что-нибудь).

С сим остаюсь Ваш друг и товарищ

Сильвестр Щедрин.

Может быть, скоро увидимся, а до тех пор поклонитесь от меня всем товарищам и Бинеманну, который, надеюсь, благополучно доехал, ибо с ним ехал такой Виртембергер, которого не токмо разбойники, но даже и сам черт не испугается. Может быть, вы не знаете моего адреса, то вот он: S^ta^ Lucia № 29. Сделайте милость, напишите что-нибудь, я, со своей стороны, за это чем-нибудь отплачу. Теперь, как Глинка остался один, то и пишет: „как приеду в Париж, то напишу к тебе в надежде, что и ты то же сделаешь“. И лишь он в Париж, то я ему такую цицероновскую рацею нацарапаю, что он и в неделю не прочтет и проч.

24

С. И. Гальбергу[1] [Неаполь.] Генваря 12-го 1821-го года.

Любезный Самойла Иванович! Поздравляю Вас с Новым годом и желаю Вам пользоваться всеми благами земными, небесными, огненными и водяными, также, чтобы с Новым годом водворились бы к Вам новые силы, чтобы пища расширила Ваш желудок и питье укрепило бы Вашу грудь, и поручила бы руки Ваши на брак, и вознесло бы Вас аки кедр ливанский—без шуток, желаю Вам быть здоровым и веселым. Это желает Вам истинно почитающий Ваш товарищ.

Я думаю, Вы ожидаете новостей? Вот они: развернув конверт, прочитал Ваши строки, нахмурил брови на Вашу болезнь и сделал улыбочку такую, что расширил рот до ушей, на покупку кистюлешек, развернул другой конверт, а там, что бы вы думали? третий конверт К. Н. Батюшкову, а мне на лоскуточке приписаны желания да упомянуто, что Алексей Мартос женился на какой-то неизвестной, которую ни его отец, ни сестры не знают, и что он выключен из службы без мундира, да вдобавок с дурным аттестатом, да заключили, что Лабзин отчаянно болен, вот Вам все новости.

Но теперь в Неаполе происходят новости совсем мною не ожидаемые. Г-н Стакельберг сменяется, и Убри[2] будет Министром здесь, и я теперь, как кажется, копил, копил, да черта и купил, то есть, живши столь долгое время при одном Министре, который ничего не мог худого сказать в рассуждении моего поведения, почему я и полагал, если-де придется нужда, то он не преминет меня рекомендовать в Россию с хорошей стороны, что для моих предположений было необходимо нужно. Но вышло совсем инако, теперь к новому изволь подделываться, и некому меня теперь представить с выгодной стороны, и теперь только и думаю, как бы сделаться, чтобы на меня не клевали, а впрочем, что бог даст. Габбе мне говорил, будто бы я напугал какого-то его брата Щербинина[3] приехать в Неаполь и будто бы тем, что намереваюсь приехать в Рим. Между тем, как ему кто-то сказал, что я намерен век вековать здесь. Но приезжающим к Вам немцам не слишком верьте, они, как сказывают, привирают без милости. Неаполь теперь так тих, что не уступит ни одному немецкому городу.

Сию минуту получил Ваше второе письмо, на что спешу, как возможно скорей, ответить и препроводить к Вам требуемые кисти с Варфелдом, человеком К. Н. Батюшкова. Я просил не столько о присланных мне деньгах, сколько об оставшихся на текущую треть, полагая, что в сие время будет известие о нашей прибавке, так, чтобы мне не потерять старого пенсиона,

чего я еще не получал. Скажите Ф. М. Матвееву, что просьба его будет выполнена с удовольствием. Извините, тороплюсь, завтра рано поутру человек отправляется. Прощайте, не забывайте Вас любящего без шуток

Сильвестра Щедрина.

В письме, право, ничего нет, если будете писать к своим, то свидетельствуйте мое почтение и поздравление с Новым годом.

25

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Февраля 3-го дня 1821 года.

Любезный Самойла Иванович! Я крайне сожалел и вместе сердился на Вашу болезнь, что она изволит столь сурово гостить в Вашей голове, размышляя при том, для чего природа не устроила сего следующим порядком: если человек должен быть одет с ног до головы, то почему бы господам болезням не приходить бы так: вместо головной боли болела бы шляпа, брюхо заменяли бы штаны, подагру башмаки и проч. Не правда ли, это бы было гораздо лучше. Но теперь, надеюсь, Вы находитесь в добром здоровии. Хотя иногда меня и приводит иногда в сумнение долгое Ваше молчание, и что глухота, не пакостит ли еще Вашей голове, ибо в Риме все может случиться. Теперь дошла и до меня очередь, пожалейте и Вы также, любезный Самойла Иванович, и имейте терпение читать длинное описание моей болезни. Это первый день, что я встал с постели, и первое письмо к Вам. Недуги мои начались две недели тому назад, проклятый зуб вздумал играть во мне значительную роль. Наглости такой я не стерпел и велел позвать к себе доктора, но при входе испугался его толстого фризового сюртука, полагая, что он не один ли из тех, у которых [далее неразборчиво.—*Э. А.*] над окошком висят три деревянных зуба, а под окошком лежит миллион зубов натуральных, в доказательство несомненной его практики в сем деле. Он с важностью посадил меня на пол, не дав времени ему растолковать, что я хочу пломбировать, и выдернул бунтовщика. Долго шла кровь, но дело кончилось довольно хорошо, и через три дня я пустился работать по ландшафтному обычаю в поле, но дня через два я стал чувствовать боль в желудке, и которая с каждым днем более и более усиливалась. 26 генваря я уже не мог переносить жестокой боли в животе, в боках и в груди, словом, весь мой корпус ни к чему был годен, и я в состоянии был сыграть роль Каттона и вытянуть вон свою внутренность, если бы не было большой разницы в положении, тому надо было умереть, а мне жить [...] Но теперь учительским голосом могу провозгласить: никто не должен из нашей братьи шеромыг нанимать квартиры в больших палациях, где обыкновенно жи-

вут люди богатейшие, имея около себя тысячи прислужников, и до которых хозяин, так сказать, не смеет иметь дела, боясь сим оскорбить знатных особ (в то число, как видите, и я попал), и живет совершенно в стороне, в 7 этаже. Чулан ему служит спальней и терраса или чердак прекрасной залой. Между тем как наш брат один-одинехонек должен терпеть.

27-го поутру было невтерпеж, толстый Гайтан советовал принять магнезии, я его послушался, но побоялся велеть ему кликнуть лекаря, ибо эти люди готовы пожертвовать, если можно что-либо выиграть, а я не знал, что делать и кому адресоваться, как вдруг входит ко мне Гамбургский консул г-н Матцен. До сей поры не могу добиться причины, ибо знакомство наше дальше кафе Собето не простиралось, после [далее неразборчиво.—*Э. А.*] сказал, что пришел посмотреть мои работы. Я стал ему выставлять, что у меня есть, между тем он приметил мою кислую физиономию, хотя я и старался как можно улыбаться. „Helft ihnen... Krank, diesen Augenblick ich werde ihnen schiecken mein Artz“ [если вы больны, я моментально пришлю вам своего врача]. В ту же минуту меня оставил, и через час явился лекарь, ощупывая со всех сторон, провозгласил, у вас колика от накопления желчи, смешанная с простудою, и пошла потеха, пустил кровь из левой руки, потом из правой, на третье наставил пиавиц в неучтивое место, будто бы от гомороиду, рвотное за слабительным, слабительное за рвотным, декокты, клистиры, разные приправы и мази, и полетели, полетели из моего кошелька денежки в латинские кухни. Если кому случится хворать в Неаполе, то не посылайте в английскую аптеку, á Strada Vitoria, там за одно рвотное взяли с меня пиастр.

Свет не без добрых людей, любезный Самойла Иванович, хотя я и полагал, что должен терпеть от одинокой жизни путешественника, но с самого первого дня и до последнего двери мои не затворялись от посещающих особ и, при появлении каждого лица, я только что удивлялся, ибо никак не мог себе представить, чтобы люди, с которыми я столь мало был знаком, могли так скоро узнать о моей болезни и принимать живейшее участие в моем положении. И я не был ни одной минуты один. Консул и прусские художники посещали меня аккуратно каждый день.

Из всего можно извлечь пользу, итак, потрудитесь прочитать следующее, чтобы не полагаться на невежество слуги, из чего также усмотрите ум великого и толстого Гайтана. Лекарь, прописывая мне рецепты и отдавая оные Гайтану, толковал таким образом мне оные дать, между тем словесно приказал приготовить бузинного декокту и положить в оный какое-то olio siropo, говоря с незначительным видом, чтобы взял без рецепту, ибо это продается всюду, а скотина также со своей стороны принимает, что ему это известно, ибо он слышал слово olio и, зная по великому своему уму, что больному ника-

кого масла давать нельзя, которым обыкновенно приправляют кушанья. Итак, он купил жасминного и влил оный в декокт, чем составил такой поганый бульон, что меня рвало, как только возможно, а он со своей стороны подхваливает: „questa va bene“ [это хорошо] и проч. На другой день тотчас рассказывает медику, что лекарство прекрасно действовало. Лекарь был рад, но взглянув на склянку [сказал]: „Che cosa questo? Che cosa avete comandato ieri?“ [что это такое, что вы вчера сделали], тогда-то опешил мой глупец краснорожий, а мне, разумеется, как опротивел и заставил бояться вечных его слов „lacate fare vostro servitoro“.

Февраля 4-го. Сегодня я почти здоров, но как будто бы с похмелья от большой вечеринки и от бешеных кадрилей, которыми я у Вас, бывало, отличался, а теперь, сидя спокойно, пишу Вам разные нелепости с величайшим удовольствием [...] Теперь заключение, к которым Вы, я думаю, уже привыкли, оные всегда наполняются просьбою. Теперешняя состоит в следующем. В конце сего месяца или в начале будущего, не знаю как Вы получаете пенсион, попросите банкира, чтобы мне переслал деньги в Неаполь на имя банкира Heigelin за две трети, то есть за прошедшую и будущую, ибо я не получал за месяцы: ноя., дек., ген. и февр. 1820-го года и за мар., апр., май, июнь 1821-го года (1820 года, 1821 года—прошедшая треть, будущая треть). Если же к сему времени придет назначенный вновь нам пенсион, то оного прошу не трогать, а следовать только старого оклада, ибо я до некоторого времени хочу остаться коровою на козьем кушанье, вот в чем заключается вся моя просьба, в надежде, что Вы оной не отвергнете. Если же Вам не захочется связываться с расчетами, то поручите оное нашему почтенному адвокату Ф. М. Матвееву, а кисточки я ему давно желал прислать, но, право, мудрено попасть к кистовязу в то время, как у него их куча, но при первом случае оные будут доставлены. Во время моей болезни граф Стакельберг отсюда отправился, я об этом узнал спустя два дня и не знаю, кому препоручен оставшийся у молодой графини мой етюд „Вид Кастель Амаро“. Убри не едет, газеты одни перед другими пишут нелепости, бог знает, чем кончатся эти дела, а таковая неизвестность только расстраивает располагать занятиями, а то, пожалуй, останешься как рак на мели. Надобно происходить по прямой линии от Владимира, чтобы обратить на себя хоть малейшее внимание г-д русских, а прочие люди кажутся им родились от колюшки или [...] рыбицы, почему и держи ухо востро.

Будьте здоровы, любезный Самойла Иванович, и счастливы, не забудьте Вас искренне любящего товарища и друга

Сильвестра Щедрина.

Февраля 6-го но. ст.

Прошу поклониться от меня всем товарищам, пишите мне, знакомы ли Вы коротко с Кон. Нико. Батюшковым?

Сегодня я получил от банкира Фалконета повестку о полученном им векселе на мое имя, что меня крайне удивило. Деньги посланы из Академии, и я не знаю—прибавка ли это к пенсиону или что другое. Если же это пенсион, то прошу Вас взять у банкира Торлония недоимки от моего старого пенсиона, а новый все-таки оставьте, при том, прошу Вас, уведомить о всем подробно, чем меня крайне обяжете и выведете некоторым образом из крайнего недоумения. Извините беспокойством за оные, я постараюсь сам чемнибудь отслужить. Прощайте вторично.

26

С. И. Гальбергу[1]

[Тиволи.] Сентября 27-го [1821 года.]

Любезный Самойла Иванович! Благодарю Вас за письмо Ваше, равно и Глинки. Я лишь только собирался к Вам писать и одно письмо уже было готово, чтобы к Вам препроводить с представившимся случаем чрезвычайно глупым, о котором, я думаю, Вы знаете. Но, чтобы не подумать так же, как и Вы, что мне все известно из полученных двух писем от Крылова, клянусь Вам, я и ничего не знаю и ничего не понимаю. Первым письмом я был уведомлен, что Шидловский[2] был у меня и спрашивал цены всем картинам. Я означил продажные картины и цены на оные, упомянув, между прочим, что если Шидловский захочет взять две картины: виды С. Лючии при дневном и лунном освещении за 200 скуд, и если он немного поморщится, то сбавить скуд 10. Если же поодиночке, то непременно должны остать[ся] в прежней цене, но вышло напротив. Шидловский наговорил кучу, что он берет ту, другую и которые я не могу продать, чтобы сделать с них копии. По этим пышным словам Крылов сбавил цену с картины и вместо 50 скуд, я получил 40 ск., а о прочих он будет писать из Парижа. Кажется, очень легко было догадаться, что г. Шидловский шарлатанит, впрочем, это легко могло бы случиться, если бы и я там находился. Но меня выводили из терпения письма, из которых я ничего не понимал и не понимаю, а только по догадкам, зная характер нашего грека, так заключаю и уверен, что не ошибаюсь. Но к довершению сей сумятицы, недоставало только подлости бывшего слуги Анжела, которому вздумалось придти пешком в Тиволи, чтобы меня уведомить, что он принимает участие в продаже моих картин (то есть дело в 200 франках), и чтобы доставить мне письмо от г. Крылова, надобно, чтобы человек заработался, чтобы не удержать скотину от сей глупости, и я, ни к селу ни к городу, должен был заплатить за постой Анжела с сыном, за ужин, кофей, вино и проч. и дать

еще на обратный путь. Признаюсь, это меня порядочно взбесило и я принялся Вам было жаловаться письменно и измарал лист, но как не совсем чужд политики, остановился, опасаясь, что Анжел ошибкой может разменять письма, чем наделал бы великих хлопот. Сей скотина мне наговорил кучу, а всей кучи не больше вышло как куча козьего [...], что Шидловский был у всех, что всем заказал премножество работ, что он об этом хлопотал и настаивал, чтобы он посетил всех русских, хотя тот на это не соглашался и проч., я же ходил по комнате, читал беспрестанно письмо и ничего не понимал; но дело кончено, так нечего ходить спустя по ягоды в лес, по малину.

Из сих двухсот франков я просил Крылова заплатить хозяйке за два месяца вперед, то есть за октябрь и ноябрь, то прошу Вас проведать из-под руки, исполнено ли мое поручение. Что же касается до Сазонова, то, право, ничего не знаю и не слышал даже ничего об его имени. Я согласен взять квартиру вместе с ним, с условием, чтобы не платить больше 7-ми с половиною скуд в месяц и чтобы контракт был заключен только на год с таким условьем, чтобы только мои обязательства состояли бы в Римском государстве. Но если же я должен по воле или неволе выехать из Римских владений, чтобы все обязательства в подобном случае уничтожались, хотя бы оному прошло не более одного месяца, и чтобы квартира была отдана во всем порядке и проч.

В Рим я не прежде возвращусь, как по наступлении худых погод, здесь очень мало художников, выключая нас двух, меня и Филипсона[3], находится француз, ученик Гране[4], и два голландца, исторические живописцы, но и те скоро отсюда выедут. Упомянув о художниках, должно нечто рассказать и о нашем добром ландшафтном соотечественнике. Я пропущу все наше житье, Вы себе можете представить, что за ужином его заставляют представлять в пении Гроту Нептуна и Сирены. Но может ли Филипсон за ужином что представить? Он всегда об этом долго думает и оканчивает, что надувшись не в состоянии подать голосу, гасит только свечки и говорит: „Das ist sehr schwer“ [это очень тяжело] и приказывает подать вина.

Может быть, Вы некогда слыхали о Кастель Мадаме, местечке, которое славится вином Алеатико. Мы собрались попотчевать, ибо в прошлое воскресенье Филипсон с нетерпением дожидался сего. Наконец наступило воскресенье, а мы приступили к Кастель Мадамо, не нужно говорить, что мы ели и пили на обратном пути. Можете себе все представить, Филипсон был очень хорош, равно и прочие были красивы. По обыкновению путешественников, пошли посмотреть город и по прескверным кривым улицам мы шли так криво, что, не сделав и нескольких саженей, определились советом ехать тотчас в Тиволи,

каждый полагал утащить ноги отсюда, покамест не разобрало, в кривых улицах кривые и мысли. Лучше бы было протрезвиться на месте, взяв с собою 20 фульет вина, чтобы оное распить в Тиволи или на [...], вот задача! Филипсон вовсе сидеть не может, и его поддерживали мальчишка один, сидя с ним на осле, двое с боков под руки, а четвертый вел осла, а мы окружали его верхами, групп самый живописный и единственный, какой только может быть представлен Рубенсом. Но жаль, что это не могло долго продолжаться, ибо Филип. и при сих пособиях не мог сидеть на осле, и мы должны были его вести поодиночке. Не знаю, как другим, а мне самому все дальности представлялись на первом плане, а первый план казался пропастями или усеян ступенями. Наконец, Филип. стал обижаться, что его как пьяного ведут под руки, вырвался, что было весьма легко, и, не сделав и одного шага, тюгнулся носом в землю. Сами себе можете представить, какие иероглифы очутились у него на носу. Продолжение впредь, прошу только, чтобы Филип. не сведал, что я Вам описываю наше путешествие.

Прошу Вас, не в службу, а в дружбу, переслать мне три рамы с холстом, следующей меры с тем, чтобы ширина никак не была больше. Лучше взять меньше, в противном случае нельзя будет укладывать в ящик, длина произвольна, немного больше, немного меньше, вреда не причинит, и один пузырь вохры светлой, но не самой светлой, так, что после жженой вохры она бы была темнейшая. Филипсон Вам кланяется и просит Вас также доставить ему его холстину с рамой, отданную Сильвестру Пелюкки à Strada Vita для починки.

Сентября 28. Вновь получена мною Ваша записка, в которой извещаете меня о контракте, конечно, хозяин намерен хорошо посчитаться. В Рим же я быть не могу, ибо никак не намерен оставить свои занятья, пусть Сазонов делает как ему выгодно и удобно, лишь бы условья не слишком связывали в рассуждении отъездов, это и ему может случиться. Как закажут работу в Неаполе или Флоренции, в подобном случае, как тот и другой свободны бы были оставить свою квартиру, ибо для одного она слишком дорога. Словом, чтобы все было сделано с осторожной осторожностью.

Кланяюсь всем и желаю быть здоровыми. Ежели окончите письмо прежде моего приезда в Рим, то кланяйтесь всем Вашим родственникам. Да прошу г. Анжел, чтобы он ко мне ни с какими известьями не приходил.

С сим остаюсь Ваш друг и товарищ *С. Щедрин.*

Крылов мне писал, что он не платил хозяйке, в ожидании дела Сазонова, так прошу до времени не беспокоиться.

27

С. И. Гальбергу[1]

[Тиволи. Октябрь. 1821 год.]

Я Вас просил, любезный Самойла Иванович, переслать мне три рамы с холстом в письме, отданном мною одному французу S-r Alesieu. Не получая столь долгое время холста, в коем имею крайнюю нужду, уж проклятый француз не потер ли [...] или какие другие причины оное задержали, и для всякого случаю посылаю Вам вторично меру холста с рамами да прошу Вас также переслать мне китайчатые панталоны, которые должны валяться у меня в комнате, ибо старая прачка принес[ла] их после моего отъезда, да старые суконные панталоны. Здесь по утрам бывает крайне холодно, да еще один пузырь светлой вохры. Пишу скуль[п]тору, почему почитаю объясниться подробно. Сия вохра должна быть светлее темной вохры и темнее всех других вохр на свете, чем меня крайне одолжите. Деньги же на сии потребности лежат, как Вам известно, в моем сундуке.

С сим остаюсь *С. Щедрин*

Кланяюся всем. Если хозяйка желает быть заплаченною за октябрь и ноябрь месяцы вперед, то прошу г. Крылова выдать оное, если только деньги не издержаны.

28

С. И. Гальбергу[1]

[Тиволи. Ноябрь. 1821 год.]

Лю[безный] Са[мойла] Иванович! Президент получил наше письмо и соглашается на год отсрочить, и то не худо. Теперь даже даются свадьбы Ивана Ивановича, а Карл Иванович получил Владимирский крест. Больше писать нечего, ибо только что успею обрадовать Вас сими новостями. Более вас интересующими подробно опишу все после.

С сим остаюсь *С. Щедрин.*

29

С. И. Гальбергу[1]

[Тиволи. Ноябрь. 1821 год.]

Вот Вам, любезный Самойла Иванович, все новости в оригинале, читайте оные и перечитывайте, сколько душе угодно. На будущей неделе я надеюсь с Вами увидеться, ибо живу здесь по пустякам, хотя погода до сей поры стоит и хороша, но зато по утрам такой холод, что работа с руками мерзнет. Осталось только теперь доделать две картины, начатые при вечернем освещении, вследствие чего прошу взглянуть в мою мастерскую и на занавески, не ис-

пачканы ли они и не должно ли их помыть. Вы, как человек аккуратный, тотчас это усмотрите, то и попросите хозяйку, если и ей покажутся нечистыми, чтобы вымыла и привела в порядок как следует, чем меня крайне одолжите. Башмаков не присылайте мне. Филипсон, кажется, не был пьян, как я ему толковал о суконных панталонах, и само по себе разумеется, что в ноябре месяце не слишком выгодно носить китайчатые. После его тайного ухода из Тиволи мальчишка его спохватился, он всем обещал за услуги коечто подарить при отъезде. Сапожник, отец мальчика, который носил его вещи и которому он обещал старый сюртук, хочет быть в Рим[е] и прибить Филипсона и дать ему (auto?) pugni in faccia [кулаком ударить в лицо].

Прощайте, кланяйтесь товарищам, а на будущей неделе разопьем фульету хорошего вина за здоровье Владимирского кавалера и молодых[2], которые, я думаю, уже обвенчаны и вкушают фамильные сладости да смеются над нами бобылями, лезущими за просвещением. Зато мы за их здоровье попьем винца за 4 байяка фульету, а они за бутылочку должны заплатить скуду, и как вино вылечит сердце человека, то наша взяла.

С сим остаюсь друг *С. Щедрин.*

1822

30

С. И. Гальбергу[1]

Субиако. Сентября 5-го 1822 года.

Любезный Самойла Иванович! Действительная правда, если свиньи разыграются, собаки разваляются, мозоли разболятся, точно толку не бывает. Басин увез с собой прекрасные дни, беспрестанные толстые облака заграждают солнце, между тем, как дожди и идут и нет. Капелька от капельки падает на худой конец на сажень, отчего мои картины не подвигаются ни на вершок, и я нахожусь в крайнем замешательстве, не зная, что скорей могу кончить: здешние ли етюды или виды Римские к приезду Государя. Одно только меня утешает, что Государь, верно, по приезде в Неаполь пожелает видеть наши работы, если только слова князя Гагарина справедливы.

Масло мною получено в целости, и я за оное ничего не заплатил. Здесь находятся два француза живописцы, но фамилии их еще не знаю. Хотя таковая жизнь не все одинакая, все же я терплю скуку, ибо уже пять дней без работы, и нет надежды на скорое поправление оной. Дальше писать Вам ничего не буду, ибо Басин Вам все пересказал и расписал. Кланяйтесь ему и благодарите за масло [...] я здесь себя не так чувствую здоровым как [в] Тиволи, почтенный кашель меня иногда крайне беспокоит, хотя Панглос и

говорит, что все к лучшему, я так нахожу, что было бы лучше, если бы я в Субиако не приезжал.

С сим остаюсь Ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

Я поручил Басину разделываться с Раном[2], а Вас прошу не оставить меня нужными известиями, ибо я строго рассчитываю время. Извините, здесь лучше этой бумаги нет, а с собой взять позабыл.

31

С. И. Гальбергу[1]

Субиако. Сентября 22-го 1822 года.

Любезный Самойла Иванович! Злосчастная судьба, ужасная нетерпеливость и устремленная внутрь всяк час дождливость, скука смертельная. Дожди беспрестанные меня приводят в отчаяние, и я не знаю, за что приняться, хожу по комнате до такой степени, что от усталости едва могу отдохнуть за столом, где чмокание французов, их учтивость на словах, грубость на деле едва, едва заменяют прескверную погоду.

Я тщетно дожидался от Вас какого-либо известия, впрочем, это я почитаю знаком, что ничего важного до Вашего слуха не дошло, но мне крайне нужно узнать, когда будет Государь, почему и прошу Вас усердно уведомить меня, когда он тронется с Конгресса[2] в дальнейший путь и какие слухи об оном слышатся, то есть были [ли] верны, ибо для окончания картин, начатых мною здесь, мне необходимо нужно более двух недель, да сверх того, хочется кончить и начатые в Риме, которые для меня больше необходимы. Субиакские же я могу оставить до предбудущих времен.

Также прошу спросить у Скуделярия, не получал ли Бартоломей каких писем от графа Бутурлина[3] и нет ли какого дела о моих картинах. Извините, что я Вас столько беспокою, меня доводит отчаяние до того, и, признаюсь Вам откровенно, мне Субиако вовсе не нравится, и как можно скорей хочется сесть в дилижанс. Если бы не приезд Государя, то бы я отправился в С-т Козимато. Прошу Вас поклониться всем и всем и быть здоровым. Что же касается до меня, то я не вовсе чувствую себя здоровым, дурные погоды расстраивают мою грудь, но зато шишка с губы сошла.

С сим остаюсь Ваш товарищ *Сильвестр Щедрин.*

32

С. И. Гальбергу[1]

[Субиако] Октября 3-го 1822-го года

Любезный Самойла Иванович! Надобно признаться, что я превеликая скотина. Взяв место в дилижансе, чтобы отправиться в Рим, вопреки представлениям хозяина, который меня уверял, что я всегда оное найду и чтобы не

торопился, говоря: „il tempo non pare écé“ [время кажется неподходящим], должно поправиться однако же. Сентябрь месяц мне настолько надоел, что я записался, но, получив Ваше письмо с разными выдумками, решился еще пробыть здесь дней с десять или 15-ть, но почта не возвращает деньги. По счастью я мог сдать мой билет одному французу за 12 павлов и был очень рад, что не вовсе потерял деньги. Сия ландшафтная персона представляет сие письмо Габерцеттелю[2], а Габерцеттель, конечно, доставит Вам.

Я верю словам Гана[3], почему и осмеливаюсь на оное рискнуть, ибо мне крайне жаль оставить Субиако, где поганый сентябрь мне много напакостил, впрочем, прошу Вас немедленно меня уведомить, как Государь отправится в дальнейший путь, и дать мне совет, что я должен предпринять, ибо картину, начатую мною в Риме, я намерен непременно кончить, почему я прошу Вас поторопить столяра, чтобы он оную приготовил как можно скорей, ибо у меня седина в голову, а черт в ребро [...] Я надеюсь скоро распить несколько фиясок с Басиным за здоровье двухгодичной прибавки. Прощайте, будьте здоровы, кланяйтесь всем и уведомьте о делах Конгресса и дайте совет, что я должен предпринять.

С сим остаюсь *С. Щедрин.*

Пишу после ужина, сыт и пьян, разбирайте как ни пишу.

33

С. И. Гальбергу[1]

[Субиако.] Октября 6-го 1822 года.

Любезный Самойла Иванович! Совесть меня мучает за посланное к Вам письмо, я не был пьян, да и не был тр[езв], ибо писал после ужина, где, кажется, я Вас уведомил, что намерен был отправиться в Рим, но раздумал и продал свой билет за 12 павлов. Однако же оной французу в прок не пошел, он опоздал в дилижанс и поутру меня разбудил своим бешенством, крича: „bourre Dio“ [безобразный бог] ругал вотюрина, лошадей, словом сказать, все принадлежащее к дилижансу и отправился пешком, взяв мое письмо к Вам, в коем ничего не сказано на вопросы, Вами сделанные, ибо я не догадался перевернуть оное и только на другой день приметил последнюю приписку.

Тивольский каскад остановлен на десять дней. Я получил об оном известие 3-го октября, почему Вы можете успеть посуху в сырость гулять, и если увидите архитектора Giacomo Mag Maggi[2], то свидетельствуйте ему нижайшее мое почтение и благодарность за уведомление. Что же касается до [?], я, может быть, туда не буду, ибо крайне занят и не хочется оторваться от оных, и без того дожди много заставляют гулять, а о возвращении моем ничего ска-

зать не могу. Не знаю, какие Вы мне новости доставите, если действительно Государь не будет, то мне не к чему торопиться, и уведомлю Вас одного почтою вперед.

Кланяйтесь всем, поторопите столяра скорей починить мою картину, да припоминаю о чулках, также не забудьте меня грешного уведомлением о новостях, какие услышите, за что я Вас буду благодарить низменным поклоном. Я же теперь здесь нахожусь вдвое[м] с одним французом мусье Бертелюм[3], с которым много говорю, но уверен, что он меня не понимает, да мне горя мало, была бы честь приложена.

С сим остаюсь Ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

34

С. И. Гальбергу[1]

[Субиако.] Октября 14, 1822 год.

Любезный Самойла Иванович! Благодарю Вас [за] исполнение моей просьбы, оная выполнена в точности. Итак, верных слухов добиться невозможно. Министр ездит на Конгресс, следовательно, это неправда, что мне рассказывали, что будто бы Государь возвратился в Россию и будто бы княгиня Волконская[2], поехавшая в Верону, с дороги воротилась, услышав, что Конгресс рушился, а мне, так сказать, брюхом хотелось побывать в С. Козимато.

Итак, я намерен возвратиться в Рим с первой почтой: то есть в пятницу, почему и прошу сеньору Терезу, чтобы поубрала мои комнаты. Субиако мне уже наскучил, денег только только что достанет приехать в Рим, а башмаков не знаю достанет ли, чтобы добраться до дилижанса. Больше всего проклятая неизвестность мучает, впрочем, все-таки прошу, если есть что-либо верное и основательное о приезде царя, уведомить меня с первой почтой, хоть двумя строками, может быть Государь будет поздно, или и вовсе не будет, тогда бы я мог принять некоторые меры, не теряя времени в пустых разъездах. Извините, я уже слишком Вас утруждаю, но мое положение очень глупое, много картин начатых и ни одной нет конченой, кажется, это не похвально.

Я теперь здесь присутст[в]ую един, французы разъехались, счастливой им дороги, лишь бы мне с ними не встречаться. Прощайте, будьте здоровы и не забутьте Вашего друга

С. Щедрина.

Кланяйтесь всем от меня, если можете по желанию Вашему приехать сюда в четверг, то я могу остаться с Вами до воскресенья. Амин.

35

С. И. Гальбергу[1]

[Тиволи.] Июля 13 го 1823[2].

Любезный Самойла Иванович! Извините, что я замешкался благодарить Вас за письмо с разными сиятельными известиями, присланными 3-го июля. Труды и потение меня вовсе сгубили. Приходя от Кастелей очень трудно приподнять руку, да и к тому же ничего нет важного в Тивольской области. Князь Долгорукий[3] влетел ко мне в комнату, как я еще был в постели, и между нами никакого разговора не было касательно возлюбленных. Он только жаловался, что крайне озяб (не столкнулись ли Вы вместе с Вашим ученичком, это бы была потеха). Об утонувшем англичанине говорить Вам не для чего, подобные вести нехотя, но сразу слышишь. Но Вы не знаете, почему во французской экспозиции были написаны потоп и царь, кинутый спартанцами в ров (позабыл, как его зовут), причиною тому, что последний из сих художников упал в то же место, куда и англичанин, а живописец, писавший потоп, его вытащил. Таким образом, они передали в потомство свое приключение. Прошу поклониться от меня Брюлло. Го. Роден[4] доставил мне деньги сполна с письмом и стихами без точек и запятых. Если Вам угодно будет быть сюда к праз[д]нику С. Симфурозы, который должен быть в 18 число нонешнего месяца, но как сие число пришлось в пятницу, а пятница есть день пос[т]ный, то вся кутюрьма отложена до понедельника, то есть до 21 числа. Если Вы вздумаете приехать, то прошу Вас, привезите мне мой фрак, который поновее, для всякого случая, если же нет, так и не нужно, разве с преверной и бережливой оказией.

Я получил письмо от Базилевского[5], а он получил [слово неразборчиво.—*Э. А.*] и пишет о... Но просите Сазонова, если он где-либо случайно увидится с Матвеевым, как со знающим сие дело, то бы попробовал их сдать Десантису, все личенцы [лицензии, разрешения] у меня находятся в спальне, в столике, а Вас прошу, если Вы где-либо встретитесь со старым че. Бартоломеем, то спросите—не получил ли он приказания от старого же Бутурлина о выдаче мне старых денег. Желаю всякого здоровья и благоденствия на многие лета, равно и всем товарищам С искренним чем угодно

Сильвестр Щедрин.

36

С. И. Гальбергу[1]

Альбано. 28 августа 1823-го года.

Любезный Самойла Иванович! Первое желал бы знать, как Вы в Вашем здоровье, и как незваная гостья лихорадка, и не отправилась ли к какому-нибудь французу болтуну на язык. До сей поры я нахожусь, слава богу,

здоров. В трахтир, где мы прежде останавливались, я не знаю почему-то не попал, отчего и письмо, данное мне хозяином, лежит в целости. Нелегкая дернула меня в первый трахтир, там меня хозяин угодил да умаслил и отвел мне покамест, то есть дней на десять, комнату, которую я впотьмах не мог рассмотреть. Наутро увидел, что в оную едва проходит свет божий, тоска меня сразила и, прожив там два дня, заплатил за два обеда да за три ужина, едва ли похожий на утренний завтрак, из коих один состоял из двух яиц, вина и фрухтов, 2-ску 64 байока.

Теперь я живу в партикулярном доме, у г-жи Камилле Велетрани Галиначии. У нее есть довольно постелей, кому угодно приезжать, милости просим, только очень дорого жить и очень жарко, да и очень лениво. Я едва ли успею сделать путного здесь, крайне жарко и сегодняшним дождем совсем не освежился воздух. Прошу покорно, любезный Самойла Иванович, как встретитесь с князем Долгоруковым, спросите об имени и отчестве Поккеполя[2] или предоставьте кому-либо другому, надеющемуся прежде Вас с ним увидеться. Здесь художников весьма мало, Катель и два брата Ендера[3] здесь присутствуют. Сказывают, что есть несколько немцев, а Ариччиа, Тиволи прелестно, но с Альбано ничто не может сравниться. Весело даже лениться, приезжайте, для Вас будет, может быть, полезен здешний воздух.

С сим желаю Вам добрейшего здоровья и долгоденствия,

остаюсь Ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

Кланяюсь всем благоприятелям, хозяйке, хозяину, которого спросите, что мне делать с письмом, если что в нем нужное есть, то вручу г-ну трахтирщику, если же ничего нет, то привезу обратно. Мне здесь служит пресмешной человек, которому я плачу 2 павла в день и почти сожалею, что не взял Николу из Тиволи. Адрес я Вам не могу дать, ибо на доме нет нумера, если будете писать, то просто на почте найду.

Если паче чаянья Вас спросит князь Гагарин о картине, то есть не писал я Вам чего, то оная, можно сказать, почти не начата, ибо небосклон был не слишком в хорошем положении, а вид этот требует неотменно партикулярного освещения. Поутру весь светлый, некрасивый, к полудню освещает одни маковки да крышки, ввечеру весь в тени, следовательно, нужны пары, которые бы прикрывали грехи. По письму Вы можете догадаться, как мое воображение пылко, если потрудитесь рассмотреть складки, сколько раз оно было свернуто и кончилось конвертом.

„Basta cosi“ [хватит об этом] „credo dey se.“

37

Ф. Ф. и М. П. Щедриным [1]

Рим. Апреля 13-го 1824 года.

Любезные батюшка и матушка! Пользуясь отъездом князя Никиты Григорьевича Волконского [2] в Петербург, я пишу вам несколько строк, хотя и не имею ничего сообщить интересного. Князь нас знает коротко, сверх того, будучи родственником Президента, в подробности может все о нас рассказать. Вас же я прошу, при получении сего письма немедленно сделайте визит князю, если же вам это беспокойно, то предоставьте брату Аполлону. Князь очень добрый человек, и, надеюсь, ему это будет приятно. Все русские господа начинают разъезжаться в разные стороны, заказав мне по нескольку картин. Если же придут мои работы в Петербург, то прошу вас уведомить, как оные будут приняты, и отписать мне все замечания и критику. Между тем надо замечать, что картины, писанные для великого князя, работаны четыре года назад.

Гальберг и все товарищи здоровы, а дурная погода все еще продолжается. Вы скоро увидите у себя ландшафтного живописца Филипсона, который на днях отправился в Россию с Марией Яковлевной Нарышкиной [3]. Бедный Филипсон показался здесь в дурном положении, что его принудило задолжать нам, в том числе он и от меня имеет 5 скуд, что составляет 27 с. р. 50 ко., и как, он никому не мог заплатить при отъезде, то я и предоставил отдать сии деньги брату для вручения оных моей мамке, только не делайте принуждения бедному Филипсону. Между тем другой должник—Крылов жалует всех подлецами, и что его морили с голоду, между тем честный человек и не думает уплачивать свои долги. Мы часто даем вопросы один другому, куда он девает деньги, на натурщиков не тратит, потому что ничего не делает, одет как свинья, никуда не ходит и ничего не видит, теперь же показывает свою статую, бог ей судья!

Здесь также находится граф Толстой [4], дядя Федора Петровича Толстого, который находится при Академии и также любитель художеств и заказал мне две картины, из коих одна есть повторение виду Колосея. Сию минуту мы возвратились от светлейшего князя Разумовского [5] и были приняты им ласково.

Теперь начинаю писать по диктовке Сазонова, который просит Аполлона узнать, какая участь воспоследствовала с Мышиным [6], и что он интересуется узнать о его здоровьи, и остались ли у него во рту зубы, и что деревянный Воинов и каменный Токарев, хлопчатый Антонелли [7] делают, имеет честь известить, что уж он не носит парика, а [слово неразборчиво.—*Э. А.*] что им теперь

все прельщаются, только одни итальянки говорят: „che brutta faccia“ [какое безобразное лицо], но говорят из зависти. Это он диктовал у меня, лежа на канапе.

Басин всем кланяется, он здоров и просит также уведомить, чем теперь занимае[тся] В. К. Шебуев. Здесь мы слышали о болезни А. Е. Егорова, и некоторые даже говорили, что он умер. Писать вам больше ничего не осталось, как только пожелать всякого здравья и поздравить с праздником Пасхи.

С сим остаюсь сын ваш *Сильвестр Щедрин.*

Так торопился, что позабыл свидетельствовать свои поклоны В. Ивано. Елиза. Фе., Лизаньке, Машеньке, Ваничке, Павлуше, Наташеньке, всем, всем, всем, вс., и брату Аполлону.

38

С. И. Гальбергу [1]

[Альбано.] Июля 23-го 1824-го года.

Любезный Самойла Иванович! Давно бы следовало Крылову поступить таким образом, теперь может быть, что долги его превышают оставляемый пенсион, все же лучше получить что-нибудь, нежели вовсе ничего. Но обо всем этом непременно должен быть извещен князь Гагарин или банкир, ибо честности Крылова верить нельзя, он может дать препоручения Басину, как, между тем, велит банкиру пересылать деньги к себе в те города, где будет находиться. Назначенный им вояж весьма подозрителен, ибо надо быть совершенной скотиной, чтобы не понять, что 200 скуд едва ли достаточны будут для одной езды. Почему и прошу Вас, любезный Самойла Иванович, попросить Басина, как опекуна последней капли ума крыловского, сделать это дело чисто, то есть чтобы его слова были выполнены и чтобы он также со своей стороны объявил бы это князю, хотя все бы это должен был сделать Крылов, если бы был честен. Я было принялся писать к князю, но одумался, мне показалось затруднением, что мы бы не сошлись мыслями и могла бы выйти бессмыслица, почему и прошу Вас походатайствовать. Я буду ожидать Ваших повелений, каким образом мне поступить, ибо теперь остается желать и просить бога, чтобы Крылов не переменил бы своих мыслей об отъезде, да чтобы выдача была бы без затруднения.

Всего больше меня беспокоит и некоторым образом заставляет опасаться потерять деньги, что Крылов заключает свой вояж Москвой. Конечно, ему в Петербурге показаться нельзя, в таком случае, может быть, придется писать к Президенту, чтобы его аттестат был задержан, но все это может кончиться хорошо и с меньшими хлопотами, если он действительно оставляет пенсион,

и если об этом будет извещен князь и банкир, тогда я от всего сердца пожелаю ему счастливого пути.

Попросите Сазонова, чтобы он подержал у себя ящик Базилев[2] до августа месяца, ибо я непременно должен возвратиться в Рим.

Дела куча, а картины идут весьма мешкотно. Вас прошу не присылать мне фрака, в рассуждении же присылки пенсиона предоставляю Вашему дружескому расположению, написать ли на особливой бумаге: „deposé au banc“ [перевести в банк] или взять из сундука старую, несколько раз уже депозитерованную „deposé“, что все равно, мне кажется, на особливой бумажке, менее хлопот. С нетерпением ожидаю конца и развязки дела нашего с Крыловым.

С сим остаюсь Ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

Кланяюсь всем.

[Альбано.] Июля 23-го 1824-го года.

1825

39

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Июня 16-го но ст. 1825 года.

Из письма к Басину Вы услышите о нашем вояже, который мы сделали благополучно. Я горел нетерпением увидеть Неаполь, припоминая дорогою себе все удовольствия и веселости, коими можно пользоваться в сей прекраснейшей земле. Не знаю отчего, Неаполь не сделал на меня такого впечатления. В первый раз я совсем не нашел этого шуму, этого хлопотливого движения в народе. Все что-то так, да не так. Я не мог скрыть своих замечаний от Винспиера[2], который все это приписал дурной погоде. Вот уже три дня как я здесь нахожусь и не видал еще ни одного почтенного Иосифа и ни одну Иосифину, хотя это мне не нужно, но все приятно иметь беседу с этими почтенными людьми.

Тону[3] я сыскал компанию, в числе коих находится молодой старик[4], и сегодня поехали в Пуццоло, и, что выгоднее всего, они там останутся дней пять и более. Идя в Сператанцелло, чтобы показать Тону трахтир, где живут немцы, мы увидели кучу народу в маленьком переулке перед образом. Спрашиваю, что такое? мне отвечают, что богородица сотворила чудо, может быть, мы четвертью часами опоздали оное увидеть.

Жительство наше Cocanda Lombardia, там, где жил Глинка и Тон. Франц Антонелли, Камергер здешний, услышавши фамилию Тона, вспомнил о них. Люди в Соббето и других трахтирах меня узнали и нашли, что я потолстел, между тем, как горло у меня продолжает болеть и боль не увеличивает [ся] и

не уменьшается [...]. Если есть какие-либо письма ко мне, то прошу переслать оные, спросив адрес у Карла Брюллова или в Министерстве, и как я здесь останусь еще дней восемь, то можно адресовать a Strada Quantia Nuovi Albergo Lombardia № 99. Прошу поклониться от меня всем благоприятелям, если увидите Массарония—кланяйтесь ему.

С сим остаюсь любящий и почитающий товарищ

Сильвестр Щедрин.

Неаполь. Июня 16-го но. ст. 1825 года.

40

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Июля 25-го но ст. 1825-го года.

Любезный Самойла Иванович! [...] в Римской полиции моих пачпортов до сей поры хранится два, и, может быть, мною еще прибавится. Медленно найти чем бы наполнить эту маленькую записочку, забавами никакими не пользуюсь, а новостей нет, сплю до десяти часов утра и не знаю, каким образом убить время. В начале будущей недели отправлюсь в Сорренто, по крайней мере так предполагаю. Непредвиденный случай меня здесь задержал, впрочем, очень немаловажен и меня напугал не на шутку.

[...] У вас погода поправилась? а здесь во все время моего пребывания широкаччио терзал меня и нередко шел дождь. На днях я обедал у Обрезкова [2], где виделся с Потоцким [3], который меня просил напомнить Карлу Брюллову о картине, впрочем, он не торопит, а только напоминает. От Обрезкова я слышал такие вещи о Голицыне, что уши вянут, при случае, вероятно, все узнаете. Прошу поклониться от меня всем молодцам-устрицам, а Мейеру [4] пожелать от меня счастливого пути, а что я с ним не простился, то это не моя вина.

С сим остаюсь любящий Вас товарищ

Сил. Щедрин.

Письма прошу адресовать на имя Брюллова или на имя полковника Винспиера.

Неаполь. Июля 25-го но. ст. 1825-го года.

41

С. И. Гальбергу [1]

Сорренто. Июля 5-го но ст. 1825 год.

Любезный Самойла Иванович! Пользуясь отъездом английского живописца Моргана [2], с которым я жил несколько дней в Сорренто, учтивый англичанин предложил мне свои услуги, ибо он в будущий понедельник отправляется

в Рим. Я с удовольствием принял его предложение, чтобы хоть письменно поболтать с Вами по-русски.

Уже неделя, как я живу в Сорренто, а Тон в Пуццоли. Нашедши все рекомендованные мне домы занятыми англичанами, я должен был остановиться в трахтире Dona Rusa magna, где нашел нескольких немецких художников, в том числе и Велкера, молодого старика, беседа довольно приятная, хозяева довольно услужливы, да все невпопад. По пятницам поневоле держим пост и остаемся без мяса, что для меня не очень выгодно, ибо я не могу в пище давать себе воли, лекарство мое мне в том препятствует, и горло все еще продолжает болеть, хотя не так сильно.

[...] Прошу Вас всепокорнейше, если есть какие-либо письма ко мне, препроводить к Брюллову[3] или какие-нибудь новости, то сообщите мне, что будет для меня приятно в моем одиночестве. Кланяйтесь от меня всем товарищам, будьте здоровы и не забывайте преданного вам телом и душою

Ваш *С. Щедрин.*

Поклонитесь также Масуччио и Массарони, спросите у него, получена ли моя картина в Милане, которую я писал для маркиза Буски.

42

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Августа 31-го 1825 года.

Любезный Самойла Иванович! Давно я приготовил письмо к Вам, полагая послать с А. Тоном, но признаюсь, меня задержал тот же самый недосуг, который часто препятствует Вам и заставляет валяться начатым письмам по целым месяцам, то есть лень. Вы напрасно не прочитали письма, присланного мне из Петербурга, Вы бы довольно нашли, над чем Вам посмеяться и посердиться.

Крылов вовсе отрекся платить свои долги, между тем имеет довольно значительную работу, что можно видеть из следующего поступка. Он купил девку из Рабочьего Дому, заплатил за оную 1.000, держит ее у себя и хочет на ней жениться. С трудом Глинка мог его уговорить, чтобы он заплатил небольшой долг Сазонову, который был крайне болен в горячке, но теперь он поправился с лишением остальных волос. Из сего вы можете видеть, что нет никаких средств к получению долгу, как просить князя Гагарина, чтобы он вошел в сие дело и отписал в Петербург, почему и прошу Вас, примите на себя этот труд. Что же нужно будет сделать с моей стороны, то мне отпишите, я все исполню в точности. На вопрос моей матушки, что писать ей ко мне

насчет Крылова долга, он отвечал, чтобы писала, что хочет. Вот Вам тот честный человек, который всех называл подлецами.

Мелкотравчатые новости соррентские писать ли Вам? Я думаю, Тон уже все рассказал. После его отъезда заколотили все спуски к морю, отчего Сорренто лишился много прелести. Я здесь приобрел некоторые иностранные знакомства, которые нередко заставляют меня откладывать палитру к стороне. Несносный Амперт погубил меня своим лечением и своим присутствием в Сорренто. Часто, чтобы избавиться сего несносного человека, я бежал работать ранее означенного мною времени, позабывая дома палитру или кисти. Под конец, потеряв терпение, я бежал в Неаполь и в лодке получил письмо от Брюллова, который меня приглашал приехать в Неаполь посоветоваться с докторами, ибо г-а русские слышали, что г. Амперт мне задает такие порции почтенного лекарства, что, кажется, из оных годились бы всякому христианину на целую неделю Сегодня я имел свидание с доктором неаполитанским у князя Щербатова[2], которого он пользует, и когда я ему показал рецепты, то на один из оных доктор вытаращил глаза, спросив, что я чувствовал, принимая это лекарство, и открыл, что эта болезнь не стоила того, чтобы так строго ее лечить.

Теперь дело идет с другою просьбою. Если письмо какое-либо будет прислано на мое имя из Петербурга, то прошу Вас переменить конверт или сделать на оный новый, ибо я здесь вторично заплатил точно то же, что заплачено было в Риме, то есть 57 гранов, между тем как, я думаю, Вы также заплатили 57 байков в Риме.

Третья просьба, мадам Емельян[3] просит меня спросить у Скуделярия, может ли она иметь естампы остальные г-а Росиния[4], на которые она подписалась.

Вот Вам все, что только мог найти интересного в рассуждении петербургских новостей. Лето там стоит не очень хорошее, сегодня я слышал, что там делаются бега английских лошадей с донскими, которые должны пробежать 80 верст, тиранство порядочное. Войска стоят в лагере в Красном селе. Теперь новости семейные. Государь пожаловал моей матушке половинный пенсион и 2000 для уплаты долгов. У Васи. Ивановича родился сын Мемнон[5], преглупое имя. Племянница Машенька отдана в Институт Женского Патриотического Общества на шесть лет. В Неаполе скучно, завтра я опять отправляюсь в Сорренто, оттуда думаю ехать в Амальфи или Вико. Прощайте, будьте здоровы и не оставьте известиями, какого бы рода они ни были, для меня все будет интересно. Письма же, полученные из Петербурга, можете читать и отправлять после ко мне.

С сим остаюсь ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

Кланяюсь всем, засвидетельствуйте мой поклон Мас. [лист порван.— *Э. А.*] Благодарю г-жу Терезию, что меня не забывает. Я видел в Сорренто [лист порван.— *Э. А.*], который и не живет.

43

А. Ф. Щедрину[1] Неаполь. Сентября 1-го 1825-го года.

Любезный брат! Пользуясь кратковременным моим приездом в Неаполь, я пишу тебе несколько строк. В бытность мою в Сорренто я получил твое письмо с портретом батюшки, чем доставил мне большое удовольствие. Для меня также приятно бы было иметь портрет матушки, попроси кого-нибудь нарисовать в меру письма и перешли ко мне. Общее желание ваше прислать картину для м-м Влодек[2] будет исполнено, я выберу из оконченных мною картин нонешнего года, между тем ты можешь попросить м-м Влодек, чтобы она написала к Дюку Сера-Каприоли—не может ли он взять на себя комиссию выпроводить оную из Неаполя, чем меня избавили бы [от] больших хлопот иметь дело с таможней неаполитанской, что для Дюка не будет стоить больших трудов, а из Рима уже не столь затруднительно, ибо там есть верный комиссионер.

Г-ну Сапожникову[3] скажи, что это от него зависит иметь картину в какую цену ему угодно, начиная от десяти червонцев. За картины, писанные для Василия Алексеевича Перовского[4], заплачено за каждую по 32 червонца, которые он может у него видеть. Мне крайне жаль, что ты мне поздно написал об бессовестном Крылове. В бытность мою в Риме я бы просил князя Гагарина войти в это дело, но теперь я должен беспокоить Гальберга. Помнится мне, что я тебе писал, что долг Крылова состоит в 625 с. р. и что у меня есть расписка, которая имеет всю свою силу, будучи засвидетельствована в Министерстве, почему Крылов этими деньгами не воспользуется. Мадам Емельян скажи, что я писал в Рим в рассуждении ее подписки на естампы Росини и полагаю, что оные пропасть не могут. При получении ответа тотчас отпишу к тебе, равно и желание ея п. Марии Яковлевны Нарышкиной будет исполнено.

Здесь также лето стоит не очень благоприятное. Проживши два месяца в Сорренто, я очень мало успел наработать, там много живут иностранцев, приглашают к обедам, к чаю, визиты или разговоры во время работы, все это очень часто заставляет откладывать палитру к стороне. Сорренто земля прелестнейшая, вообрази себе леса апельсинные, лимонные, под тенью коих прогуливаешься. Жить очень дешево, сегодня я опять туда отправляюсь, откуда надеюсь ехать в Амальфи. Жизнь ландшафтная ни с чем сравниться не может. В самой скучной деревне имеют свои занятия, зато дурные погоды отплачи-

вают за все прелести скукою такою человека, который будто бы с бурей выкинут на необитаемый остров [...]

Узнай наверное и напиши мне—картина моя „Вид Колисея“ точно ли поставлена в вновь выстроенной комнате для русских художников. Ты мне совсем непонятно писал, какую бумагу я должен подать в Академию. Я просил о двух вещах, то есть: могу ли я быть баллотирован в академики, приславши картину из чужих краев, также могу ли работать для премии, но теперь, думаю, время упущено, если это не на будущий год. Расспроси хорошенько у Андрея Алексеевича[5], чтобы мне не потерпеть отказа и не потерять бы картины, и куда писать: в Академию или к Президенту, ибо ни в каком случае я ответа получить не надеюсь, почему попроси от меня Андрея Алексеевича узнать наверное мнение Президента в рассуждении сего дела. Я бы сам писал к А. Алексеевичу, но опасаюсь его беспокоить, тебя же прошу ответить мне немедленно.

Поцелуй за меня матушку, сестрицу, Василия Ивановича и всех детей. Поздравляю вас всех с рождением Мемнона, признаюсь вам, откуда вы выкопали эдакое имя—гораздо хуже еще Сильвестра.

С сим остаюсь брат твой *С. Щедрин.*

44

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Ноября 28-го 1825 года.

Письмо это я не намерен был вам посылать, полагая, что слишком много вздору, но приехавши сегодняшний день в Неаполь и получив от Винспиера Ваше письмо, я почел долгом послать оное в точности, чтобы уверить Вас, что я всегда помню моих друзей, а жалоба моя на дурные погоды и скуку, которые претерпел в Амальфи, послужат Вам доказательством моей признательности в участии, которого Вы во мне принимаете. Вы бы меня крайне обидели, если бы в самом деле подумали, что я имею отговорку, будто бы мне нечего писать. Вы пошутили? и я мирюсь, с уговором, чтобы впредь упрекать чем Вам угодно, лишь оставить в покое тот неисчерпаемый источник, которым изобилует мое воображение, то есть вздором. Шутки в сторону! В течение целого почти месяца погоды были столь неблагоприятны, что ни одно судно не выходило из Амальфи, почему я и оставил письмо неоконченным, и только иногда, ходя по комнате, я прибавлял по строчке. К тому же все мысли мои были заняты моими неоконченными картинами, с которыми я сел, как рак на мели, или, лучше сказать, сделался совершенный банкрут. Наконец, я улучил один счастливый день, именно 15 ноября, и отправился в Сорренто,

совершив плавание благополучно, то есть, ехавши по морю, не закачался, а вышедши на сухой путь, промок до последней нитки.

[...] Терлинг Вам налгал, я совсем не был так болен, выключая того, о чем я уже писал. Здесь я услышал новость, будто бы в одном французском журнале стоит следующее: Корабль, шедший из Ливорно в Петербург, наполненный работами русских художников, потонул. Это, конечно, „Конастас" Львова[2]. Кстати о Львове, попросите назначенных в его письме наших художников, не угодно ли им будет сделать рисуночки в албаум, как то означено в его письме, оригинал которого хранится у Вас.

Поклонитесь Массарони и скажите, что для меня всего бы было лучше, если бы я мог картину маркиза Буски препоручить кому-либо в Неаполе — вид, взятый мною в Сорренто, где виден дом Тасса на ближайшей скале. Обстоятельства мои мне не позволяют так скоро возвратиться в Рим, как я Вам сказал уже выше о моем банкрутстве. Вдобавок к этой беде, в Неаполе весьма трудно найти квартеру для художника. По сей самой причине я до сегодняшнего дня жил в Сорренто, где весьма удобно работать, махни только рукой, и явятся пя[ть]десят натурщиков к услугам.

Мне кажется, ни к чему дожидаться письма от Глинки, в рассуждении почтенного Крылова. И это ясно, что он мошенничает и не думает платить, и мудрено, чтобы Глинка от него мог вытребовать, почему полагаюсь на Вас, подумайте, не приступить ли к делу. Если будете говорить с князем Гагариным, то прошу Вас заметить, не будет ли он что говорить в рассуждении заказных мне работ разными особами, которые комиссия возложила на него. Также я оставил в канцелярии мою расписку от банкира. Мне иногда приходит в голову какая-либо перемена, могущая случиться в Министерстве, боюсь, чтобы не затерялась. О подобных обстоятельствах я Вас прошу меня уведомлять, не услышите ли чего подобного?

Второе письмо Ваше я получил в Амальфи, которое так долго было писано, точно так же долго мне не попадалось в руки, на которое и принялся Вам писать с загадками, если не отгадаете, то в следующем письме я Вас разрешу от недоразумения. Брюллова я не застал в Неаполе, он поехал в Помпею, дней на восем[ь]. Я всегда Зассена[3] почитал великим человеком, достойным монумента если не на площади, то, по крайней мере, его изображение будет стоять на каменьях с надписью „Sasenes". Поклонитесь ему от меня, поблагодарите, что он помнит своего всепокорнейшего слугу, не худо бы ему было переменить фамилью, вместо Зассена — Синехдохас. Если будете писать Мейеру, поклонитесь ему от меня усердно, то есть прижмите перо что есть мочи. Перовский трижды просился в отставку, наконец получил удовлетворение, но не такое, как пишет Лангер[4]. Ему было сказано, чтобы он и не думал хло-

потать об отставке, что никак не будет выпущен, так мне сказал Винспиер, к которому писал Перовский, прибавив, между прочим, что картины мои вовсе испортились.

Что и говорить, любезнейший Самойла Иванович, против пословицы: не родись человек не хорош, не пригож, а родись счастлив, то есть faccia tosta [с дерзким лицом]. Скажите, как идут Ваши дела, выгодна ли выходит работа Гагарина? Мне бы приятно было это знать. Поклонитесь Бруни, что он делает?

С сим остаюсь Ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

Кланяюсь всем.

45

С. И. Гальбергу [1]

Амальфи. [Ноябрь. 1825 год.]

В последнем письме Вашем Вы мне дали право писать к Вам, когда только будет досучно. Можно ли сыскать лучшее время, как теперь? Сижу в комнате, уже 12-ый день никуда нельзя выйти, погода самая отвратительная, скука смертельная, до сей поры еще было сносно, ибо находились здесь некоторые из художников, следовательно, было с кем вымолвить слово. Но всякому ли нужно терпеть холод, сырость, почему они сложили свой скарб в чемоданы и мигом улетели. Занятия мои меня удерживают, и я должен непременно кончить здесь несколько картин. Между тем терпение приходит к концу, но я не совсем без пользы провел это время. Ходя по комнате и ломая руки, я вспоминал имена всех знакомых, за одной фамилией я очень долго бился и Вам задаю эту задачу. Вспомните поставщика академического, который снабжал нас всех по требованиям художественными припасами, и у доброго Золотарева [2] только и было речей... еще не прислал... я посылал несколько раз, что мне с ним делать. Вспомните! Другая задача имя и отчество Парамонова [3]? Третья задача—решить, отчего люди кастраты говорят дишкантом, а свиньи кладенные хрюкают басом? Не подумайте, что это мой каприз, это наблюдение сделал в Амальфи.

Покамест я писал это письмо, то есть по Вашему манеру отлагая день ото дня, а погода становится все хуже, и я теперь готов бы был кинуть все, так нельзя выехать, противный ветер и бури меня заставляют сидеть как ссыложного в преступном трахтире.

46

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Декабря 29-го 1825-го года.

Любезнейший Самойла Иванович! Пользуясь отъездом Брюллова, я препровождаю к Вам две картины. Находящаяся в ящике—есть картина, назначенная мною маркизу Буски, другая для графини Нессельроде [2], если оную желает

иметь, то есть если прислала деньги, в противном случае прошу оную удержать у себя, для другого назначения.

Вы знаете, любезнейший Самойла Иванович, что я самый нахальнейший человек и часто употребляю во зло расположение людей, а пуще всех Ваше, почему беспокою Вас не вторично, а тысячно. Поступить с сими картинами [надо] следующим образом—попросите кого-нибудь смыть с них пыль и покрыть лаком, хорошим, но не от Пелюкки, у него самый негодный и вовсе не сохнет, на что также употребить кисть мягкую, чтобы не сорвать что-нибудь на воздухе, потом уже показать маркизу обе картины. Может быть, ему другая лучше понравится, тогда поступить по его желанию. Картину же, укрепленную в ящике, не вынимать и вручить в том укрепленном положении, в котором оная находится. Цена же за картину была назначена самим маркизом—14 луидоров, если им угодно будет принять мои труды, то и прошу прислать деньги на имя банкира Löstsler et Klentz. Натурально, как все эти дела будут итти через Массарони, то и, прошу, не говорить ему ничего прежде, покамест не будут приведены в порядок картины, то есть как будут прикрыты лаком. Поклонитесь ему от меня и извинитесь, что я не пишу к маркизу, итальянская грамота для меня тяжела. Перемаравши несколько листов бумаги, мне совестно было послать письмо pieno di sproposìti [полное пустяков], а обещание же мое для Массарони я не забыл.

Вы себе не можете представить, как скучно в Неаполе, а пуще как уезжают отсюда Винспиер и Брюллов. Я подле их взял квартеру, вот Вам адрес: Riviera di Chiata Saluto del Nomero Vico Parete № 5. Живу совершенно один и завелся своей мебелью, то есть купил два кувшина, подсвечник [...] стулья и стол дал мне полковник, а постель нанял. Местоположение дому прекрасно, с которой стороны ветер дует, у меня всегда готовы окны принимать оной, и со звоном трясутся целые ночи, и часто заставляют колебаться мою храбрость.

Вам, я думаю, известна кончина нашего царя[3], мне что-то все не верится, хотя и говорят, что из Варшавы писал Австрийский консул, что город Вена очень опечалился сей печальной новостью и что император Франц[4] столько был тронут, что ему сделалось хуже, ибо он больной получил сие известие. Подождем верных известий, дай бог, чтобы это была неправда.

Неужели Вы никаких писем не имеете из Петербурга? На что такая жизнь походит? [...] совершенно оставляют без всяких известий. Сегодня я виделся с генералом Бенкендорфом, который получил письмо от вдовствующей Импера. Ее величество препоручает купить картинок 6 Италии, картинок называю потому, что полагает издержать на оное полторы тысячи рублей. Как вы не вспомните поставщика факторского, который назывался Яровицын, а про

свиней не знаю. Это принадлежит к премудрости божьей, которая непостижима нам.

Дальнейшие известия о Неаполе писать Вам не для чего. Все новости, какие только бы могли быть Вам [интересны], расскажет Брюллов, а я желаю Вам усердно всякого здравия.

Остаюсь весь Ваш *Сильвестр Щедрин.*

Если будут какие неловкости по моим делам, прошу не оставить уведомлением.

1826

47

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Генваря 26-го 1826-го года.

Вчерашнее письмо Ваше обратило труды мои в ничто. Я приготовил письмо к князю Г. И. Гагарину, в коем объяснил все дело мое с графинею Нессельроде. В бытность графини в Риме ей угодно было иметь от меня картину в 10 луидоров и два рисунка для ее албаума, каждый по два луидора, но из Флоренции она писала князю Долгорукову, что вместо двух рисунков для албаума она желает иметь картину в 14 луидоров. По сей причине послал сию картину. Таким образом, я объяснял князю в моем письме, которое раздумал послать, ибо последним письмом Вы уведомляете, что нашлась записка графини Нессельроде, что она назначает 12 луидоров. Я согласен и на это, предоставляя деньги в Ваше распоряжение, как Вы мне о том писали, прося Вас при том, чтобы эта цена не была разглашена и не дошла бы до маркиза Буски, что для меня бы было крайне неприятно.

Касательно картины для Ее Величества, то у меня находится несколько картин приготовленных, которые надеюсь нонешнего лета кончить и несколько еще написать вновь, тогда я представлю оные князю на выбор, которую он найдет достойной для поднесения Государыне. О цене во всем полагаюсь на прочих господ, как им будет угодно.

Картину для е. п. Самарина [2] я не мог кончить, ибо принужденным нашелся выехать за город по причине моей болезни, как то Вам известно, а он непременно хотел иметь какой-либо вид из Неаполя, почему я при наступлении первых хороших погод займусь его картиною.

Приношу мою благодарность Вам за все хлопоты принимаемые. Зная доброе Ваше расположение, мне иногда бывает совестно (только очень редко). Поблагодарите также Бруни и А. Брюллова за доставление картин в целости и за прикрытие оных лаком. Повторяю мою просьбу, чтобы не узнал маркиз о цене, это может быть для меня бесчестно.

Мерзкая штука с Вашим мрамором у меня не выходит из головы, каким образом это могло случиться? По крайней мере скажите, в каком положении была обработка и далеко ли было подвинуто? Как Вам показалась придирка г-на Президента, и как Вам показалось, что нашли ближе писать ко мне для решения их спору, нежели к Бахметьеву[3], который теперь находится в Москве, и они это знают. Я долго вертелся, не зная, как написать, хотел пошутить, но раздумал, опасаясь потерять картины, и написал просто, что картины принадлежат Бахметьеву.

Известны ли Вам некоторые подробности о России? В неаполитанской газете была публикована депеша Нессельроде о беспокойствии, происшедшем в Петербурге, и об убийстве Милорадовича[4]. Сказывают, что когда пришло известие о смерти Государя в Петербург, то в целом городе в кабаках не было выпито на рубль вина, не было никакого воровства и только видели общее уныние или оцепенение [...].

При получении сего письма я Вас прошу немедленно уведомить князя Гагарина о сем деле, и, получа деньги, Вы нимало не беспокойтесь обо мне, располагайте оными, ибо я не имею в оных нужду. Прошу только, немедленно меня уведомить, как было дело со всеми подробностями.

[...] Ей-богу, Вы правду говорите, жалуясь на холод, у меня хоть и есть камелек, да нельзя топить, дымится проклятый, отчего в комнате воняет колбасами. Будьте здоровы и счастливы,

остаюсь Ваш друг *С. Щедрин.*

Поклонитесь от меня полковнику Винспиеру и Массарони. Если критикуют мои картины, то напишите откровенно и проч.

48

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Февраля 18-го 1826 года.

Вы читали письмо и видели портрет? Смотря на оный, не знаешь, сердиться ли или хохотать. Я добивался до сходства всеми манерами, закрывал рот, закрывал глаза, и все-таки не похож, и восклицаю с Вами: „O, Dio buono!“ [О, боже добрый!] Скажите, пожалуйста, К. Тону, чтобы он сам писал к его отцу. Находясь отдаленным, я ничего не могу писать к моему брату, которого батюшка Тона с беспокойством спрашивает о его положении, и что он делает, впрочем, Вы сами знаете из письма, что надо делать и что кому сказать.

[...] За комиссию и за хлопоты—благодарю по обыкновению с возможным усердием, также по обыкновению прибегаю к новым просьбам. Скажите князю Долгорукову, что обещание мое исполнено и я перешлю рисунок с Турге-

невым[2] или князем Щербатовым. Касательно же моего дела с графинею Шуваловой, то сообщите ему следующее. Графине Шуваловой[3] угодно иметь от меня две картины, полагая за оные полторы тысячи рублей, и чтобы картины не были больше картин Матвеева, которые она купила. Сам же князь мне повторил, чтобы картины сии не превосходили упомянутой цены, предоставляя выбор на мой произвол. И я очень рад, что узнал подробно о сем деле, равно мне приятно, что комиссия сия возложена на князя, и при первых хороших погодах займусь сими картинами. Вот все, что на сей раз я могу сказать. Засвидетельствуйте е. с. князю Долгорукову мое почтение, и я надеюсь, что князь мне позволит относиться к нему письменно.

Итак, Ваша статуя стоит в мастерской Мартоса, интересно послушать, что скажет Григорович[4]. Мейер в Питере, я не думаю, чтобы он застал графиню Строганову[5], она, как сказывают, отправилась к императрице Елизавете Алексеевне. Вообразите себе теперь—из всей этой кучи товарищей нет ни одной души, помнящих об итальянских жителях. Вы сожалели о Крылове? Посмотрите, он до сей поры подличает. Я все позабывал Вас просить, возьмите, пожалуйста, к себе вещи, хранящиеся у Алек. Тона в мастерской, бывшей моей, под большим окном есть шкаф, в этом шкафу находятся мои письма в бумажнике и прочий бумажный хлам, в том числе и куча Ваших писем. Я надеюсь, что эта безделица у Вас места не займет, положите в какой-либо угол Вашей мастерской, в этом состоит вся моя библиотека.

С сим остаюсь *Сильвестр Щедрин.*

Хороши ли счеты?

Неаполь. Февраля 18-го 1826 года.

Пожалейте о бароне Еттере, его отправили в Ливорно на корабле, где он и удавился. Куда девался Мартынов[6]?

49

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Марта 7-го 1826 года.

Любезнейший Самойла Иванович! Я не приготовил Вам письма до сего часа, ибо как будто бы чувствовал, что должен получить от Вас какое-либо известие. Об отъезде князя уже был извещен Тургеневым, почему и приготовил к нему письмо, прося его вручить расписку г-ну полковнику Винспиеру для доставления мне оной в Неаполь. Но как полковника нет в Риме, и, может быть, он будет после отъезда князя Гагарина, то и прошу всепокорнейше принять оную и меня немедленно о том уведомить. Извините, любезнейший, что я так много делаю Вам хлопот.

Не успев уведомить князя и поблагодарить за раздел, ибо письмо было уже запечатано, но к тому же я оное не очень торопился писать, ибо мне сказали, что он еще пробудет около месяца в Риме, а теперь, по Вашему письму, я потерял голову и почерк.

Одно меня беспокоило, о чем, между прочим, я писал князю, чтобы мне не делал остановки Торлоний в получении денег во время моего отсутствия, ибо я намереваюсь от него потребовать переслать мне несколько денег в Неаполь на имя Lössler et Klentz, о чем я буду к нему писать, впрочем, во всем повинуюсь Вам, что бы заблагорассудили сделать. Сокрушает же меня одно, что вписаны ли эти деньги у него в книгу? В противном случае он по моим письмам мне оных переводить не будет, и я всегда буду в опасности, потерявши расписку, потерять и деньги.

Хотя и пишу Вам, и князю, и полковнику, и всем изъявляю мое желание, но все-таки соглашаюсь, что общим гласом придумают лучшее, потому и писал князю, если ему угодно будет мне что-нибудь приказать, то бы передал приказания Вам. Надеясь на Вашу дружбу, Вы не откажете уведомить, а пуще если дело хватает за живое. Амин! Самое главнейшее, чтобы не затерялась записка Торлония и чтобы я всегда был патрон требовать деньги, равно и получать, где бы я ни находился.

Свидетельствую мое нижайшее почтение князю Феодору Александровичу Щербатову[2]. Мы еще до сей поры не были в Пуццоли, теперь захворал Тургенев, а вперед что бог даст, кажется, мне нельзя будет.

Прощайте, тороплюсь обедать, да и на почту, хорошо, что я еще приготовил письмо князю вчера, а то бы нахлопотался, к тому же много благодарен за уведомление, может быть, я бы еще понеглижировал оное послать, ибо не полагал ответ уже так скорым.

Остаюсь Ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

Неаполь. Марта 7-го 1826 года.

Прошу отдать приложенную записку полковнику Винспиеру. Кланяюсь всем.

50

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Марта 18-го 1826 года.

Любезнейший Самойла Иванович! Вчера я получил от князя Гагарина письмо. Его сиятельство меня уведомляет, что пакет вручен Вам и что он дело сладил с Ксаверием, за что я не преминул бы благодарить князя письменно,

если бы полагал, что он еще находится в Риме. Если же еще не уехал, то, вероятно, Вы будете с ним прощаться, то поблагодарите усерднейше от меня.

Мне совестно, что я Вас так часто утруждаю, но что же делать, сами дали на то повод. Теперешняя моя просьба состоит в красках, к сему письму я прилагаю записку к Пелюкки краскотеру, что живет на Via della Vita, прошу Вас, любезнейший, дать ему сию записку и спросить, может ли он мне по оной отпустить желаемые мною краски, что деньги будут мною немедленно высланы на имя Ваше с каким-либо верным вояжером. Если Пелюкки на это согласится, тогда попросите от меня полковника, чтобы принял на себя труд оные мне доставить. Впрочем, о сем деле я сам к нему пишу, ибо бакан красный я прошу взять от краскотера, который живет на Via Babuino, и если не будет в труд полковнику за оный заплатить, цена коему, я полагаю, не простирается более 16 или 18 павлов. Но краскотер этот вовсе меня не знает, потому на кредит уже, наверное, не даст, нечего и спрашивать. Сюда иногда привозят римские краски, но продают довольно дорого, да к тому не всегда можно найти, а неаполитанский краскотер, это чтобы выиграть какой-нибудь лишний гран, трет оные на вареном масле [...].

Хотя совестно, что оставляю так много белой бумаги, но вовсе нечего писать, все идет своим чередом и самым нелюбопытным образом. Здесь также куча богомольцев, таскаются по церквам, и сам король сделал такое же путешествие, но захворал, почему вторичная церемония отложена до другого времени.

К сему письму прилагаю другие два письма, которые прошу Вас всепокорнейше вручить по назначению. Если полковнику нельзя будет оную комиссию на себя взять, то прошу подержать и не вверять какому-либо путешественнику, который этим понеглижирует, ибо дело идет об ультрамарине, так что не шутка.

С сим остаюсь Ваш всепокорный товарищ

Сильвестр Щедрин.

Неаполь. Марта 18 го 1826 года.

Извините лени, в особенности сегодня большая переписка. Прошу Вас, любезнейший Самойла Иванович, поставить это письмо на мой счет и не считайте его за письмо к Вам, мне стыдно и совестно, что я к Вам адресуюсь со всеми моими дрязгами, к тому же меня заставляет краснеть, что в первый раз Вам никакого вздору не пишу.

51
С. И. Гальбергу[1]

[Неаполь]. Марта 26-го 1826 года.

[На письме приписка.—*Э. А.*]: „Прежде всего читайте мое письмо“.

Любезнейший Самойла Иванович! Сегодня полковник мне отдал Ваше пречестное письмо в полтора листа, что подлинно честно, благодарю, и чем больше будете прибавлять бумаги, тем более заслужите мое благоволение. Только мне не понравилось, что бедный Константин[2] оставил здешний свет. Он был хотя болван, но все-таки добрый малый, также жаль Бруни, надобно же быть такому несчастью, что ни в чем нет удачи.

Итак, последнее мое письмо пришло очень некстати, почему и прошу Вас спросить у продавца баканного, что стоит мною означенный бакан, равно и у Пелюкки справиться о цене, тогда я перешлю деньги с Сергей Ивановичем Тургеневым. Винспиер же мне сказал, что у него есть в Риме с кем переправить, почему и прошу мне сделать одолжение, справиться о ценах и меня о том уведомить. Что же касается до банкирских переводов, то я буду писать, ибо не мог хорошенько поговорить с полковником, он остановился у своей матушки, которая хотя и поправляется здоровьем, но все он там продолжает жить, равно и к Долгорукову я пишу, препровождая рисунок, забытый здесь Щербатовым, с г-ном Толстым, которому равно и вручаю сие письмо для доставления Вашему простоблагородию. А два архитектурных братца[3] не помирятся и тогда, когда небо с треском развалится и время на косу падет.

Вы знаете, любезнейший Самойла Иванович, как Вы поразили мне сердце, напомнив о картине Львова, мне еще надо писать другую, не знаю как приняться. Смерть как мне не хочется писать в Неаполе, дайте мне совет, не лучше хоть одну отправить, не думаю, чтобы другая могла быть готова к известному времени. Что же касается до албаумных рисунков, то пусть сделают означенные им особы по рисунку. Я заплачу по два луидора за рисунок. Ох! как тошно, как вперед деньги возьмешь.

[...] Скажите мне, пожалуйста, я о всех Вами понемного уведомлен, но г. Габерцеттель, что сталось с ним, и с его ма [слово неразборчиво.—*Э. А.*] существует ли он? Все ли еще жалуется? Я думаю, его пенсион скоро кончится, вот тут пойдут хлопоты!

Уговорите Басина жениться, а то из нас никто не привезет итальянки, от чего наше общество итальянское нечем будет в Петербурге вспомнить. Кстати о Петербурге, там, сказывают, откуда-то такое ужасное число заговорщиков, что полагают за лучшее оставить без всякого наказания, ибо в противном случае опасаются какого-либо сильнейшего потрясения [...]

ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

[Неаполь]. Марта 26-го 1826 года.

52

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Апреля 1-го 1826.

Сегодня я получил Ваше письмо, на которое спешу отвечать. Хотя уже одно мое письмо вручено г-ну Толстому для доставления Вам, ибо он тому более 8 дней, как все завтра собирался выехать, почему Вы не осердитесь, если я того письма обратно не беру, а делаю только сию прибавку, тем более, что сегодня я в Вилле встретил Толстого, который должен был уехать сегодня поутру, вот почему прилагаю вторичную записку.

Все сделанные по милости Вашей комиссии весьма верны, хороши, прелестны. Что же касается до вотюрина, которому сделал это поручение Роберт Антонович, ибо я, увидевши его, натурально догадался, что письмо отправил по пустякам, следовательно, и объяснился с ним, в чем дело состояло, а он тотчас сделал поручение вотюрина, на верность коего полагается совершенно. Деньги же вышлю или с Тургеневым или с Волковым[2], которые вскорости, один после другого, отправляются, с которыми я намерен отправить расписку Крылова к брату, ибо там будет князь Гагарин, то, может быть, можно мои деньги вытребовать. Подумайте, может быть, хорошо будет, если и Вы то же сделаете, препоручив оную кому-либо [из] Ваших братцев. Письмо же можете для верности адресовать в Академию на имя моего брата.

Последнее письмо Ваше написано прелестно и может служить образцом всем письмам, доселе писанным в этом роде. Между прочим, чтобы эта записочка не была вовсе вздором, то я Вам расскажу нечто о покойном Государе, которое, может быть, Вы и не знаете, хотя бы и знали, то беда невелика прочитать еще раз. Генерал, не помню имени, находящийся при особе Императора, делал над ним наблюдения с самого отъезда из Питера. Государь отменно любил вид Дворцовой набережной и всегда при виде оной был в восхищении, прибавляя к оному какие-либо похвалы. Но в последний день его отъезда он смотрел на оную мрачно, не говоря ни слова, и вообще, сверх обыкновения, выехал из Питера весьма скучен. Дорогою же он однажды писал в своем кабинете, вдруг воздух покрылся ужасными тучами и сделалось так темно, что он приказал подать свечи. Лишь только оные были поставлены, ему показалось это противно, то и велел оные снять, сказав, что ему кажется, что оные поставлены перед мертвым. Этот случай он перед смертью напомнил своему камердинеру, сказавши: „помнишь ли ты свечи, поставленные предо мною". Вилье[3], видя Государя в дурном положении, сказал к. Волконскому[4], чтобы он приготовил попа, что[бы] причастить Государя, а сам пошел и объявил ему приближающуюся кончину. Тогда Государь спросил у него — неужели он в такой опасности? Когда услышал от доктора, что тот уже не

имеет надежды, то Государь, взявши его за обе руки, отдал себя в волю божью. Вилье слезно зарыдал, после сего Император начал принимать лекарства, но уже было поздно. Надобно знать, что дорогою от разных столов, которыми его потчевали, он расстроил свой желудок, но скрывал оное от доктора, опасаясь его лекарств и докучливости. Вот вам последние дни того, который опечалил всю Европу своей смертью.

Будьте здоровы, любезнейший Самойла Иванович. Роберт Антонович, с которым я сегодня обедал, спросивши, когда я буду к Вам писать, чтобы кланяться от него. Благодарю Вас вторично за труд, Вами принятый. Я же постараюсь Вас и впредь всегда, коль можно, больше беспокоить, в чем остаюсь

Сильвестр Щедрин.

Сазонов скотина! Если бы знал, что так расположусь, то я бы взял полный лист, да время нет.

53

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Апреля 6-го 1826.

Уже теперь, право, совестно, любезнейший Самойла Иванович, ей-богу, не буду! В последний раз! краснею от стыда, а все-таки должен приступить к делу, и с просьбою по моему банкирскому письму, быть так. Попросите Ксаверия, чтобы он написал к Фальконету о свободной выдаче мне денег, как он то обещал князю Гагарину и Вам, прося его при том, чтобы это хотя бы было без потери и без всякого замешательства, как то делалось до сей поры, чем меня крайне обяжете.

Роберт Антонович обещал поговорить с Lössler et Klentz, но, вероятно, тот не согласился, почему полковник мне больше о том не упоминает, а мне спрашивать совестно, к тому же я подумал, если мне не будет это выгодно, то я во всякое время могу деньги выбрать от Фальконета и перевести куда я хочу.

Прося Вас при том не замедлить в сем деле, ибо мне оное желательно учредить прежде моего отъезда за город, куда я намереваюсь отправиться вскорости, и квартиру только имею до мая месяца. Также не оставьте меня уведомить, коль скоро Ксаверий будет писать к Фальконету. Сие письмо Вам доставит Сергей Иванович Тургенев, с которым я также пишу и в Петербург к брату, приложив к оному и приписку Крылова, ибо если теперь они захотят получить деньги, то все тому благоприятствует, и, во всяком случае, лично могут адресоваться к князю Гагарину. Подумайте, может быть, хорошо будет, если и Вы то же сделаете. Сергей Иванович человек весьма аккурат-

ный и на него положиться можно, а Плуту Григорьевичу[2] мне бы приятно было насолить как можно больше.

Не оставьте моей просьбы, любезнейший Самойла Иванович, с чем остаюсь

Ваш друг *С. Щедрин.*
Неаполь. Апреля 6-го 1826.

Мне помнится, что я в одном письме назвал от негодования Сазонова скотом, меня крайне взбесила небрежность этого человека. Подумайте, если бы Глинка написал, то, наверное, он бы Вас и не уведомил. Настоящий малоросс!

[Приписка С. И. Тургенева.—*Э. А.*]: „Очень бы желал иметь удовольствие познакомиться с Вами. Я стою в Hotel Damon № 15. Тургенев".

54

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Апреля 10-го 1826-го года.

Любезнейший Самойла Иванович! Мне кажется, что писать письма мне обратилось в такую привычку, как формовщику Мельникову[2] ходить в кабак. Каждый день мне что-нибудь понадобится писать, и все кажется чрезвычайно нужным. Вы, я думаю, помните, что я в предпоследнем письме обещал Вас уже больше не мучить, но это невозможно, как Вы то ниже усмотрите.

Вы знаете из писем моего брата, что он спрашивает от меня картины для м. Влодек, что я и обещал, но по его неотступным просьбам я нашелся в необходимости выслать картину, какая только у меня нашлась поокончённее, к тому же представился удобный случай выпроводить оную из Неаполя без хлопот. Полковник Паскевич[3] оную берется доставить в Рим, что меня и побуждает усугублять мою письменную бессовестность противу Вас.

Прошу Вас, любезнейший Самойла Иванович, при получении оной немедленно отправить к Десантию для препровождения оной в Петербург морским путем, сделав адрес: A l'Academie Imperial de beaux arts St Petersbourg pour reméttre à Monsieur de Schedrin Architere de l'Academie Imperiale de beaux Arts et Chevalier a St Petersbourg.

Сделайте одолжение, любезнейший Самойла Иванович, прибавьте к моей бессовестности еще и эту, может быть, последнюю? прося Вас при том не оставить и прошедшие мои просьбы краскотерные и банкирские, ибо я намереваюсь съездить на несколько дней в Капри, а там отправлюсь и в другие окрестности, что для меня необходимо, ибо я в городе много теряю времени, почему и желаю, чтобы привести дела в порядок до моего отъезда.

Как Вам показалось Общество любителей в Петербурге, вить славную штуку выкинули, если только это правда. Дожидаю официального известия,

как мне то брат пишет, это штучка В. А. Перовского. Хорошо также и Брунию, которому об его деле можете сказать, да посоветуйте не говорить до тех пор, покамест само собой не узнается, а то легко может случиться то, что уже случилось, что некоторые становятся поперек, хотя от оного ничего не может произойти и ничего не происходило, но всегда дальше моря, меньше горя.

[...] При свидании с князем Долгоруковым попросите его, чтобы он меня не оставил в рассуждении работы для графини Шуваловой и чтобы оное дело было поручено кому он заблагорассудит со всей аккуратностью.

С сим остаюсь Ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

Неаполь. Апреля 10-го 1826-го года [...]

55

С И Гальбергу[1]

Неаполь. Апреля 19-го 1826-го года

Благодарю Вас, любезнейший Самойла Иванович, за присылку мне красок, равно и за банкирские хлопоты, все дело, кажется, в порядке. Вы напрасно полагаете, что наделали мне хлопот деньгами, которые заняли, это меня нимало не расстраивает. Не знаете ли Вы, кому поручено принять работы для Самарина? Может быть, я буду иметь случай препроводить картину, писанную для него в Риме, об этом, может быть, знает К. Брюллов. Да, также прошу уведомить, когда корабль отправится из Ливорно в Петербург и как самый последний срок для приема груза. Вместе с чем надеюсь получить известие о картине, посланной с г. Паскевичем.

Здесь такие произошли некоторые убивства и проказы довольно забавные. Некто, заправильщик картин в студии, в драке с одним неаполитанцем ткнул его в брюхо шпохтелем, в то время, как тот ему отпущал полновесные удары палкою по спине, и только дома приметил о своей ране, позвал лекаря, который объявил ему, что рана его смертельна, и он на другой день умер. Заправильщик же кинулся в Портичи, но, видя, что все тихо, возвратился в Неаполь. Ехавши в кабриолете, упал и сломал себе ногу, и на квартеру к нему явились жандармы и хирург, этот чтобы поправить ногу, а первые—стеречь как преступника, чтобы не убежал. Второе происшествие—здесь застрелился один молодой датчанин также странным образом, пуля увязла в его тул[о]вище, не повредив сердца, почему имеют надежду его вылечить. Сии убивства нимало ни до Вас, ни до меня не касаются, я Вам поместил так, сиречь, ни к селу, ни к городу, читайте далее.

Вам известно, что Святой год теперь в Неаполе, почему народ также посещает по четыре церкви, но Вам неизвестно, что здесь стоит линейный английский корабль, с коего матросов повсюду видишь пьяных, а более всего за

Порто Капуана. Вам случалось видеть прелестниц, живущих там в большом количестве? Один английский матрос развеселился там, и пришло ему в голову сделать процессию по городу. Мысль эта всеми была одобрена, нарядили матроса в женское платье и дали крест в руки, а сами шли порядком позади, числом около 30-ти. Вместо четырех церквей они посещали четыре остерии, читая беспрестанно молитвы, употребляя вместо святых те названия, которыми вы в Риме заключаете ваши обеды, повторяя при том гуртом: ора пронобие. Осушили в каждой остерии по несколько бутылок вина, но наши почтенные богомольщицы были схвачены, и теперь ожидает публика неаполитанская наказания за таковое богохульство. Желал бы я знать, что бы Вы за это сделали? [...] Здешнюю публику теперь занимает новая пьеса в Театре С. Карлино под названием „Apasionate pei la mediuma di Monsu le Roy" [?], очень забавная пьеса, и уже больше двух недель, как оную всякий день по два раза играют. Скажите, пожалуйста, у Вас также есть новость в Театре Капраники? Какие-то большие куклы? Уж только не шутят ли?

Из Москвы пишут, что тело покойного Государя стояло три дня в сей столице. Стечение народа было ужасно. Особа, уведомлявшая о сем, пишет так, что они поехали смотреть тело, выставленное в Соборной церкви, в двенадцать часов ночи. Несмотря на это, церковь так была наполнена людьми, что с великим трудом могли пробраться к катафалке. Можно сказать, от самого Таганрога и до Москвы гроб был везен людьми. Кучер государев никак не оставляет козел, не внимая ничьим представлениям, заливался горькими слезами так, что без сострадания нельзя на него смотреть. Вот Вам все, что я до сей поры знаю. Извините моей болтливости, я так привык писать, что, не писавши каких-нибудь три дня, мне стало скучно и я оставил работу масляную, принялся за чернильну[ю], чтобы себя потешить. Не знаю, когда придется отправить это письмо, препровождаю с оным рисунок князю Долгорукову, который прошу ему вручить, равно и приложенное письмецо, также и деньги за краски, восемь скуд и 4 байка, сиречь, 6 скуд и 92 байка отдайте Пелюкки с благодарностью, взявши от него мое письмо и 12 павлов Ваши за баканы. Прилагаю к тому мою искреннюю благодарность равно и [слово неразборчиво.—*Э. А.*] Бруни за выбор бакана, хотя я оный еще не отведовал.

[...] Кланяюсь Вам, кланяюсь всем.

Остаюсь Ваш друг *С. Щедрин.*

Неаполь. Апреля 19-го 1826-го года.

Апреля 23-го во вторник отправляется в Рим Орлов [2], с которым я и препровождаю это письмо, равно и деньги, восемь колонад, недостает четырех байков, которые не умел приложить, почему приложите оное к общему нашему

счету. Между тем, как это письмо было в деле, вышло наказание женщинам, делавшим процессию, о которой Вам рассказал выше. Им выбрили головы [...] отправили на 20 лет на Пепитенцию.

Как я должен буду переменить квартиру или выеду куда-либо за город, то прошу для верности адресовывать письма просто без всякого адреса, на имя полковника Винспиера, надписав только его титул, то есть „Gide de Camp San Als. Grand Duc Michel" сиречь, Вы это лучше меня умеете сделать, почему я о надписи и не хлопочу. Прощайте, будьте здоровы, надеюсь, что теперь довольно тепло и пальцы у Вас не корчатся.

56

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Мая 18-го 1826 года

Давно я к Вам не писал, любезнейший Самойла Иванович, хотя уже и было начато предлинное письмо, которым я занялся от безделья, сидя на новой квартере [...] Разлитие желчи, глаза, лицо, грудь и плечи сделались шафранного цвета, я потерял охоту к занятиям и более двух недель не брал кисть в руки [...] вдобавок лекарство не действует, и бы готов был пуститься на все, даже пошел бы исповедоваться, если бы знал, что с отпущением грехов попом отпустятся и болезни, проклятый Амперт меня не уморил, да не вылечил.

Вы видите мою причину, почему я так долго не писал. Теперь прошу Вас оправдаться, что Вы меня оставили без известия целые три недели, уж нет ли и у Вас чего? [...] Уведомьте меня, получили Вы деньги от Орлова, равно и письмо с албаумным рисунком для к. Долгорукова и нет ли чего новенького из Питера? Я думаю, этот шеститысячный пенсион кончился братниным письмом. Я был у м. Корсаковой раза два или три и не знаю, как мне с ней видеться. Мне по вечерам запрещено выходить, она хочет иметь от меня несколько картинок, но еще не решилась, какие виды, один только должен быть вид Сорренто с Тассовым домом.

Каковы же погоды? от одной музыкальной мысли К. Тона прелестнейший месяц май ни к черту не годится. Ради бога, уговорите Тона, чтобы он не начинал терзать людей далее новым и неслыханным тиранством. Никогда и никому не приходило в голову, что Тон вздумает орфействовать.

[...] Извините, любезнейший Самойла Иванович, что я так разболтался, у всякого свои слабости, напри. [мер], Тредьяковский все говорил в рифму, чего требовал и от своих домашних. Однажды послал сына своего к матери с сими словами: „поди спроси ее ты благостыню, что угодно ей—арбуза или дыню". Сын пришел с ответом: „Матушкина пуза желает арбуза". Так же

и я, докучаю своими предлинными письмами, здоровый или больной. Сегодня я взял перо, чтобы написать несколько строк, чтобы узнать причину, отчего так долго меня оставили без известия о Вас и о прочих безделицах, которые бы меня могли интересовать, а пуще в теперешнем моем положении. Я живу с Роберт Антоновичем в одном доме, в верхнем этаже со стариком дон Гайтаном, Брюллов его знает, с которым мне беседовать весьма тягостно, ибо добрый старик ужасно воняет, не знаю отчего: от набожности или от старости.

Пора кончать, иду гулять, мне велено делать много моциону, почему и заключаю это письмо сердечным желанием здоровия и проч.

Остаюсь Ваш *Сильвестр Щедрин.*

Неаполь. Мая 18-го 1826 года.

Письмо сие я препровождаю с Сумароковым[2] через Роберт Антоновича.

57

С И Гальбергу[1]

Сорренто. Июля 13. 1826.

Давно я к Вам не писал, любезнейший Самойла Иванович, и даже виноват молчанием на последнее письмо Ваше, но против такого преступления я имею утешение против моей совести, ибо в бытность мою в Неаполе, тому месяц назад, я начал письмо с длинным описанием моей желтушной болезни, но как теперь оная миновалась, то и почитаю излишним надоедать скучной материей о лекарствах, мушках, пиавицах. Теперь я каждый день купаюсь в море, и чтобы это не было по пустякам, то вместе с оным учусь плавать и уже оказал успехи, проглотив порядочный графин морской воды, действую руками превосходно, но лишь подыму ноги, то головою тотчас вниз

Я здесь живу с дон Жиганте[2], который мне страх надоел своими вопросами о живописи, по большей части отменно глупыми. Также здесь живет синьор Фиорини с двумя своими любезнейшими сестрицами. Старшая прекрасно миньятюрит и поет, младшая как прекрасна собой, столь же прекрасно играет на фортепиано. Я у них по вечерам часто бываю.

[...] вовсе нечего писать, до сей поры не было никаких приключений ни со мной, ни же в сем свете, который я обнимаю, сколько могу обнять моим взором, следовательно, писать нечего о море, ни о горах, окружающих Сорренто. А Вы, м. г., живете в большом свете, ближе меня к отечеству и так редко меня утешаете Вашими письмами. Брат мой имеет привычку заключать письма, что нечего больше писать, а Вы зимой жалуетесь на холод, а летом, верно, vita fastidio caldo terribile [опротивеет ужасная жара], но это будет

не у места, 15-го июня я зябнул как собака и крайне сожалел, что не взял зимнего платья.

Вы хотели знать, что Долгоруков мне заплатил за рисунки? Я оные и делал ему как подарок, следовательно, ничего не получил и ничего не ожидаю, но если Вам случится видеться с Деликатием, то спросите у него, какие сделал ему поручения Долгоруков в рассуждении работ, заказанных мне графиней Шуваловой, которые теперь мною производятся. Князь писал мне, что он это дело препоручил Деликатию. Вероятно, к Брюлловым кто-нибудь из Петербурга напишет критику или ругательство на картины, которые угодно было Обществу выставить в своем амбаре, не оставьте меня уведомить, что бы то ни было сказано, я все приму с удовольствием. От брата моего я никак только не могу добиться, сколько его ни просил, уведомить откровенно, да к тому же ему никто ничего и не скажет altramenti [иначе]. Надобно быть faccia tosta [дерзким], еще этим не кончилось.

Как можно мне написать какое-либо письмо, не навязавши на Вас какую-либо комиссию. Сделайте одолжение, любезнейший Самойла Иванович, с каким-нибудь вояжером вышлите мне из Риму хорошего лаку (сиречь, лак, которым прикрывают картины), взявши оного от Пермаролли, с четыре фунта или более, только не берите у краскотеров, у них вовсе не сохнет, у меня целая склянка негодного лаку лежит без всякого употребления, взятого от Пелюкки. В сем случае Вы можете по обыкновению адресоваться к Брунию, которому кланяйтесь с усердием от меня. Mille complimenti alla signiora Soltimana [тысячу любезностей синьоре Сольтимана], чтобы она не сумневалась в моем к ней почтении, ибо я всегда интересуюсь людьми столь почтенными для общества.

Будьте здоровы, любезнейший Самойла Иванович, да нашлет на Вас господь бог крайнюю охоту писать, да согреет Вас от зимних морозов и прохладит от летнего зною. Загадки иезуитской не знаю и не смыслю отгадать.

С сим остаюсь один из вернейших верноподданных

Сильвестр Щедрин.

Сорренто. Июля 13. 1826.

58

В. А. Перовскому[1]

[Выписка из письма С. Щедрина. Сделана рукой П. А. Кикина.]

Предложение, сделанное Вами, для меня столь приятно, сколь и выгодно, по многим причинам. Хотя я и имею работы, в том числе одну картину для Императрицы Марии Федоровны, и бываю иногда занят свыше сил моих, но

зато часто нахожусь в несносной неволе, как Вам известно, повторениями одного предмета и теперь живу в Сорренто по той же причине. Но это я почитаю одной из приятнейших скук. По крайней мере места были выбраны мною, но когда я должен писать виды по приказу, которые тысячами вижу в домах, в магазинах, на всех городских перекрестках, деланные и переделанные всякого роду художниками, то признаюсь, при всей моей деревянности, кисть не держится в руках. Сверх того, иные мне вовсе невыгодны, ибо вид против собственной охоты требует много времени от холодности, с каковою пишешь.

Вам угодно знать, м. г., условья с моей стороны. Я полагаю написать до двадцати четырех конченных картин, разной меры, принятой здешними художниками, т. е. величина оных будет разная, такая, как у Вас, больше и меньше, смотря по предмету, который изберу. Если Вам угодно будет иметь в том числе и римские виды, то более двадцати написать не могу, ибо оные занимают более времени противу неаполитанских. Если же число сих картин в течение года по каким-либо причинам: от болезни, дурного времени, равно и от неудач, выполнено быть не может, тогда я обязываюсь на следующее лето доставить оные сполна. Также желал бы, чтобы виды были предоставлены моему выбору; в окрестностях же Вы можете назначить по Вашему желанию, что угодно, только бы не были слишком отдаленны, а от мест, известных дурным воздухом,—вовсе отказываюсь. За 24 картины назначено 6 тысяч рублей.

Мне пришла в голову довольно дерзкая мысль в первый раз как существую на свете: представить государю мою работу. На сей конец прошу Вас дать мне наставление, как мне быть достойным желаемой чести. Картину же полагаю написать нынешнего лета и имею богатый вид Амальфи.

[Рукой Кикина.—*Э. А.*]: „Пишет от 16 июля нов. стил. 1826 года". [Сорренто.]

59

С. И. Гальбергу [1]

[Сорренто. Август. 1826 год].

Право, совестно и ни на что не похоже, что я Вас так часто мучу письмами самыми вздорными, разного рода комиссиями, а теперь вдобавок рекомендациею.

Податель сего письма есть художник ландшафтной живописи, по имени синьор Жиганте, очень добрый малый, просил меня, чтобы его кому-нибудь из товарищей моих рекомендовать, почему и представляю его Вам, прося при том не оставить его Вашими наставлениями. Если что-де он будет спрашивать и чем-де будет интересоваться, словом сказать, поступите, как обыкновенно поступают с особами, представляющими рекомендательные письма, не

надобно ли Вам наставления? Беда невелика, поступите так: с улыбочкой спросите о моем здоровье, чем я занимаюсь и проч., потом поговорите о предметах, которые у Вас будут перед глазами, также можете спросить, надолго ли он приехал? благополучно ли сделал свое путешествие? Если было какое несчастье, то можете ахнуть и почмокать по-итальянски. Если же Вам это наскучит, то частым молчанием давайте знать, что пора разойтись. Если это не поможет, то начните зевать, скрывая зевоту так, чтобы он примечал, потом при прощании наделайте кучу поклонов, прося, что если ему будет в чем нужда, то Вы к его услугам. Проводя до дверей, не худо, если Вы его приостановите и поговорите еще несколько незначущих слов, потом еще кланяйтесь, покамест найдете время разойтись, так что один другого не увидите.

В самом деле, познакомьте его с другими, он очень добрый и услужливый человек и во время приезда каждого из нас в Неаполь может быть полезен. А [далее лист порван.—*Э. А.*]

60

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Ноября 11-го 1826-го года.

Наконец я получил Ваши письма, любезный Самойло Иванович, оные ездили и отдыхали довольно долгое время. Посылаю Вам верующее письмо, прося Вас потрудиться сделать с оным точно то же, как Вы поступили с Вашим. Здесь мне, вероятно, наделали бы хлопот, ибо не знают ни дела, ни русской грамоты. Волков же теперь ни во что не мешается и скоро отсель уезжает, к сожалению. Он очень добрый человек, для этого я выставил на письме „Рим“, чтобы было во всем согласно с распиской и с утверждением Миссией.

Не имею на сей раз достаточно времени, чтобы расплодиться на целом листе, к тому же надо дать Вам роздых от письма, посланного с князем Гагариным.

Вечный покой усопшим Матвееву и Дубровину[2] и доброе здоровье живущим!

Вы, следовательно, ничего не знаете о Бруневом пенсионе? На свои деньги Общество не очень щедро, Брунию положен пенсион 100 червонных в год, даже не умели положить по десяти червонных на месяц, все бы было чест[н]ее. Мое же дело все было, не знаю чья выдумка, но наверное знаю, что об оном не было и речи. Турецкий казначей[3], кажется, затеял пустяки. Ну кто пошлет свою работу продавать, если вовсе нет покупщиков? Но просто нечего делать, говорят всякий мастер свою маслит.

Принесите мое чувствительное сожаление о болезни почтеннейшего Зассена и поздравления на его выздоровление, если он выздоровел. Я предвижу,

что Зассен перекрестится, выучившись по-латыни, и, чтобы иметь всегдашнюю практику, начнет по-латыни с богом беседовать. Но это еще не беда, остерегайте его от турецкого языка, ежели к этому он пристрастится и вздумает сделаться магометанином, тогда прощай вся русско-римская команда! А я уже не двинусь из Неаполя, чтобы не претерпеть на старости лет такого сраму. Расскажите мне, какой это Марков[4], толстый и[ли] тонкий, и какого он класса, отколь пенсион и чем занимается Сазонов? Экспозиция здесь кончилась и теперь дожидают раздачи медалей. К сожалению, я не могу часто видеться с художниками по причине моего лечения. Вообразите себе, курс оному назначен три месяца—тяжело будет карману.

[...] Я намерен влюбиться и ищу предмет, и также бывал в конверсациях, и также по пустякам. Видно, нам на роду не написана эта профессия. Не знаю как вы, я так страсть скучаю и часто жалуюсь на мой недоверчивый характер. Сей порок во мне с каждым днем больше и больше увеличивается. Завтра отправляются отсюда любезнейшие Фиорини, не знаю как в Риме, а здесь они были очень любезны. Итак, прошу мою доверенность препроводить в Петербург к моему брату для вручения оной Карлу Ивановичу. При сем прилагаю небольшую записку к Аполлону, которую прошу вложить в один конверт.

С сим остаюсь Ваш *С Щедрин.*

Неаполь. Ноября 11-го 1826-го года.

61

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Вторник. Ноября 13-го 1826 года.

Сегодня я получил Ваше письмо, любезнейший Самойла Иванович, и тороплюсь что есть мочи писать к Вам, хотя это вовсе не [к] спеху и Вы частью уже предуведомлены, но лишнее письмо не беда.

Роберт Антонович полагал отправить своего человека в субботу на этой неделе, а сам с курьером отправится, так что они оба должны быть в один день, но человек располагает, а бог управляет, почему я Филиппу дал адрес в Ваш дом, а Вы ни о чем и не беспокойтесь. После этого следует благодарность полковника и проч. Я же писал Вам, что письма нашлись, почему не беспокойтесь повторять старину, а пишите новенькое. Ради бога, не забудьте моей просьбы в рассуждении графини Шуваловой. Князь Гагарин мне наверное сказать не мог, но полагает, что она в Пизе, а все должен знать Деликатий.

Извините, что я против обыкновения ограничиваюсь этой записулечкой. Я сижу с насморком, с кашлем, со скукой, вдобавок в скверную погоду дол-

жен торопиться на почту. Здесь в С. Карло, в театре, восхищаются Пастой[2]. Меня затащили в ложу в пятый ярус, где я от скуки считал, сколько на сцене ламп да сколько музыкантов. Сколь Паста хороша, столь гадкие прочие актеры, поющие с ней.

Будьте здоровы. Весь Ваш *С. Щедрин.*

Неаполь. Вторник. Ноября 13-го 1826 года

62

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Четверг. Ноября 23-го но. ст. 1826-го года.

Говоря, что человек располагает, а бог управляет, вот почему я Вас поневоле обманул, вероятно, бог был занят другим делом и не подумал о Филипповом отъезде. Он завтра поутру рано отправляется, почему в понедельник будет в Риме, но к этой прошедшей просьбе прибавляет Роберт Антонович и другую, касающуюся собственно до него.

Полковник отправляется из Неаполя в субботу ночью и прибудет в Рим в воскресение около полуночи, ибо отправляется с курьером, почему и просит Вас, чтобы Вы позволили ему придти в Ваш дом провести несколько часов до утра, в таком только случае, если он не найдет какого пристанища на почте, уведомляя при том, чтобы Вы не удивились ночного его приходу, надеясь на Вашу дружбу и проч.

Теперь следуют мои замечания. Вы писали, что Филиппу приготовите уголок для приюту, а теперь по расчету выходит, что этот уголок будет пригоден на несколько часов для Роберт Антоновича, ибо он приедет раньше Филиппа. N. B. Как Вам кажется futuro stadione [будущий сезон], терпите ли Вы в Риме эту несносную сырость? Скука смертельная, а пуще для меня, бедного больного человека, такая напасть, что даже не придумаю никакого вздора, чтобы измарать эту записулечку.

Не позабудьте, любезнейший Самойла Иванович, о моей нижайшей просьбе в рассуждении графини Шуваловой, и прошу меня немедленно о том уведомить, ибо по сему я располагаю мой приезд в Рим, да напишите, получили ли Вы верующее письмо и что с ним сталось. Кстати, не знаете ли Вы имени и отчества г-жи Корсаковой, я к ней писал и очень боюсь, что мое письмо пропадет. Как мне помнится, Корсаковых в Петербурге бездна, и легко мое письмо может попасть к тем Корсаковым, о которых и не думаю.

Будьте здоровы и счастливы.

Остаюсь *С. Щедрин.*

Неаполь, Четверг. Ноября 23-го но. ст. 1826-го года.

63

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Декабря 8-го 1826 года.

С каким нетерпением ожидал я письма от Вас, любезнейший Самойла Иванович, и едва не утерпел, чтобы не отправить к Вам четвертой записки, и все по делу графини Шуваловой, и всему виноват князь Долгоруков. Он впутался в это дело, чтобы выманить у меня рисунки для его албаума. Графиня сама со мной говорила и оставила виды на мой выбор, полагая за оные цену 1500 руб., и чтобы картины не были мерою больше картин Матвеева. Теперь я за лучшее почитаю адресовать к Деликатию, который с ней в переписке и, вероятно, не откажет мне оказать эту милость. Вас же прошу быть моим адвокатом, чтобы дело не пошло в долгий ящик, что меня крайне расстраивает, а пуще в теперешнем моем положении.

Касательно 14 луидоров, то прошу вас держать при себе до моего приезда, который бог знает когда будет. К тому же в Риме, как видно, начался падеж на ландшафтных живописцев. Касательно же ультрамарина, то нарочно для меня не берегите, разве как он очень дешев, и притом первого разбора, а инако мне непригож. Скоро же наши старички убрались, верно, Матвеев из зависти просил бога прибрать и Мартынова, вечная им ландшафтная память!

Свидетельствуйте мое глубочайшее почтение Ее пре.[восходительству] Марии Яковлевне. Крайне сожалею, что не нахожусь в Риме, но если что-либо угодно приказать, то я всегда к услугам Ее превосходительства. Если будет речь обо мне с князем Гагариным, то картина, выбранная им—„Вид Амальфи“, конечно, ему и принадлежит, я слова моего не манкирую, но до сей поры мои работы медленно подвигаются. Проклятые пасмурные и дождливые, к тому же, холодные погоды вовсе меня лишают сил работать. Также поклонитесь от меня Волкову, сожалею крайне, что не мог с ним проститься. Граф Стакельберг мне сказал за обедом, что Волков отправляется на другой день. Я пришел поутру, и только осталось эхо, что он отправился только лишь передо мной. Госпожа Корсакова сама мне оставила адрес писать ей в Петербург, адресую на имя Штиглица[2]. Сим, кажется, все путное кончил, остается загадка о плошках графа Шереметева, я полагаю, по меньшей мере, каждую плошку в 1000 руб. Угадал ли? Кстати о Тиволи, здесь говорят, что река пропала от обрушившейся стены, а Вы пишете, что оная продолжает куролесить, следовательно, есть вздорные прибавления.

Между прочим, я выдумал писать к Деликатию по-русски, а la Сазонов, опасаясь на иностранном языке наделать кучу ошибок, не рассказав дела, почему прилагаю при сем записку, прося притом, если моя рука ему будет непонятна (хотя я очень старался писать потщательнее), то прочтите ему и

растолкуйте, а если Вам покажется подло дать письмо, писанное по-русски, то ради господа бога, помогите. Во всяком случае, ожидаю от Вас скорого ответа. Между тем, чтобы бумага даром не пропала, то читайте мои мысли и замечания.

Кому покажется, что выпил лишнее, то не ходи с К. Тоном под руку, от его толчков вовсе опьянеешь. Никакой бонмон не узнает цены своим шуткам в присутствии Габерцетелля, он всему смеется и приговаривает: „это с чувством!" Если кому очень весело и он полагает, что это не к добру, то пройдись с Орловским[3] по Тринита де Монти, вся веселость к черту! Не верь Басину, когда он клянется честью, как с фияскою Орвьета, вынь пенку, слей масло и потом пей. А с письмами оторви начало, пропусти середину и читай конец. Приме[р]: А. Брюллов начинает все письма длинными комплиментами, потом длинным вступлением, а [в] конце уже дело.

Когда ты расположен к задумчивости, ищи Бруни как он весел, когда же расположен к болтанию, ищи его скучным, в первом случае он не дожидает вопроса, а в последнем не обеспокоит ответом, как только „да, конечно". Хотите видеть улыбку Зассена, спросите его, какая монета шкуди. Беда Карлу Брюлло, если Зассен сошьет новый фрак, он лишится лучшей своей карикатуры.

Ну скажите, пожалуйста, к чему годятся все правила для писем? Кто бы мог догадаться, что, сходивши пообедать, узнаю всю подноготную о тивольских проказах. А о ультрамарине я выдумал, спросите цену оному у Сильвестра Пелюкки и мне отпишите. Здесь тот же самый художник, которому я выписывал прошедшего году, мне навязывает ту же комиссию. Но если ультрамарин хорош и можно иметь за дешевую цену, тогда я возьму для себя, только надо узнать, нет ли в нем фальши, как обыкновенно делают господа продавцы ультрамарина и проч.

Я также выдумал писать и к Роберт Антоновичу, и влагаю все записульки в Ваше письмо, не прогневайтесь и потрудитесь раздать оные. Желаю Вам от всего сердца, чтобы обещания других и виды Ваши явились Вам на самом деле. Что же касается до меня, я совершенно стал Фома неверный и, покамест дела не вижу, как мои пять пальцев, ничему не верю, выключая Вашей дружбы, в которой остаюсь признателен.

Весь Ваш *С. Щедрин.*

Неаполь. Декабря 8 го 1826 года

Адрес мой тот же самый, как и к А. Брюллову. Я живу в доме Роберт Антоновича: Riviera di Chiaia Saluta del Numero № 21.

64

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Февраля 6-го 1827-го года.

Вы не можете себе представить, любезнейший Самойла Иванович, с каким удовольствием я получил Ваше письмо. Я весь вечер просидел, рассматривая карикатуру, и, конечно, меня бы приняли за сумасшедшего, если бы видели, как я хохотал. По счастью, мой старый сосед ложится спать с курами. Благодарю тысячекратно Брюллова за сей неожиданный мне подарок. Бедный Зассен, он и в новом сюртуке не избегнул карикатуры, а Вас я еще не видывал, ничего, похоже (разумеется, в карикатуре), да и барабанщика воображаю себе похожим на Маркова.

Полно, не прихвастнулись Вы, будто бы письмо начато 2-го, а кончено 3-го числа? Если это правда, то для меня тут нет выгоды, ибо это, как я вижу, на Вас редко находит, лучше пишите по-старому, тогда я чаще буду писать письма. Но я сам, принявшись за письмо, не знаю, что бы Вам писать что-нибудь такое, которое могло бы Вас заинтересовать. Вам вовсе нет дела до Киля[2], который сюда приехал в вожделенном здравии, с которым я ожидал от Вас письма и ничего не получил. Вы и не поморщитесь на мою прогулку в Вилле Реале? Но тут я встретился с Килем и дожидали начала музыки, как вдруг позади меня довольно пригоженькая дама заговорила по-русски. Натурально я оглянулся, как кавалер, который держал ее руку, сказал ей: „Mesier est russe" [господин этот русский]. Ах, боже мой! как Вам, я думаю, странно показалось слышать русский язык? Я пробормотал несколько слов, турецкий барабан застучал, и я узнал от князя, что это Мария Докторова[3], с тем мы и разошлись. Вы, пожалуй, захотите узнать, кто кавалер, провожавший эту даму? Кавалер этот называется Зерво[4], родом грек и причислен к здешнему Министерству. Знаю же его только потому, что имел честь вместе обедать у Стакельберга и оба занимали за столом отличное место, то есть к дверям, к камельку и к ширмам, откуда кушанье выносят.

Вообще я здесь веду жизнь самую скучную, самую монотонную, на что я Вам уже неоднократно жаловался, ни с кем не знаком и не могу заводить никаких знакомств [...] Ожидаю хороших погод, тогда, может быть, могу дать себе побольше свободы. Я слышал, что М. Я. Нарышкина будет в Неаполе. Новость о графине Шуваловой мне вовсе не понравилась, не потому, чтобы я хотел на ней жениться, но потому, что и сам не знаю, что делать и как к этому делу приступить, ибо я с моей стороны вовсе неисправен. Об этом надо подумать, и когда придумаю вещь хорошенькую, то немедленно Вас уведомлю. Между тем, если что-либо услышите полезное для меня, то прошу меня уведомить.

Я при старости лет совсем сошел с ума и много испортил свои дела, сиречь, не знаю как выпутаться из картин, мне заплаченных и мною не оконченных, именно Бахметьеву и Львову, а то бы для меня все было бы т[р]ын трава.

Между прочим, этого большого пакета, о котором Вы говорите, я вовсе не получил и полагаю, что г-н Декан или Дьякан ошибся. Разносчик писем, мне кажется, все письма аккуратно доставляет, и даже оставляет письма в долг. Между прочим, он приносил мне одно письмо, которое меня немало удивило, адресованное Кириллу Оленину. Но теперь, кажется, это удивление миновалось и г-на Оленина[5] Вы имеете в Риме. Здесь некто г. Чаппа[6], неаполитанский живописец, выдумал показывать свое искусство скорого живописания. Он публично пишет картины мерою более двух аршин в два часа, подражая манеру Клод Лорена, Рафаеля, Кореджия и Сальватор Роза, то есть в разные дни. В афише своей он со всей скромностью признается, что эти картины не будут кончены, а только покажут верный колер и манер вышеупомянутых художников. То-то бы кнутом по роже!

Дочитавши до середины письма, я вижу, как Вы от удивления выпучили глаза, что я Вам еще не упомянул ни о какой просьбе, а может быть, и положили крест на себя, сказав—слава богу, нет никакой комиссии. Ошиблись, милостивый государь! Здесь Вам прилагаю письмо к госпоже Корсаковой, прося Вас притом утрудить господина русского с перерубленным носом подписать или дать адрес к упомянутой г-е Корсаковой и, в заключение, отдать на почту. Я уже давно к ней писал, но до сей поры не получаю никакого ответа. Вероятно, письмо мое в Петербурге попало к какой-нибудь не той Корсаковой. Очень Вы мне сделаете большое одолжение, в письме я прошу ее пре. [восходительство], если ей угодно будет писать, то чтобы письма адресовывали в Рим на имя Ваше. Извините беспокойству, но я это нахожу гораздо важнее. Письма, адресованные в Министерство, здесь не принимают в дому Министра, почему легко могут затеряться, а пуще, если мне случится быть за городом. Но этого беспокойства, я полагаю, Вы будете избавлены, ибо знаю наверное, что она писать никак не будет.

Кланяйтесь всем усердно, наверное могу сказать, что не буду нонешний год в Рим, если только найду удобный случай препроводить картины в Рим, мне бы желательно было знать, когда наверное Тон думает ехать в Петербург, я бы, может быть, кое о чем попросил.

С сим остаюсь, как и прежде, У. О. Р.[?]

С. Щедрин.

Неаполь. Февраля 6-го 1827-го года.

Кланяюсь Роберт Антоновичу и буду писать.

65

С. И. Гальбергу [1]

[Неаполь? Февраль. 1827 год.]

Сегодняшним Вашим письмом, любезный Самой[ла] Иванович, я очень недоволен, оно очень коротко, хотя Вы сделали прекрасно, отправив письмо в Вену. На днях я виделся с Килем и спрашивал, есть ли кто из русских в Неаполе, но получил в ответ, что он никого не знает, но Вы присудили так хорошо отыскать г. Корсакову, что мне почти не нужно видеть офицера Миклашевского [2]. Надо бы было иметь перо Стерна, чтобы уметь описать, как я получил письмо Ваше, но я только постараюсь Вас вразумить, чтобы Вы поняли неудачу, с каковою я опустил сегодня письмо г. Оленина. У меня был натурщик в то время, как пришел курьер, и не было мелких денег, чтобы заплатить за письма. Между тем как мне меняли, курьер в куче писем рылся показать мне письмо, а я между тем читал поскорее Вашу ассигнацию или записулечку, в это время он сыскал письмо и я увидел надпись не Кириллу, а Григорью Оленину. Разносчик мне, показав оное, сказал: „Questo signiore a Napoli“[это господину в Неаполь], а я сказал: „mersi“[спасибо]. Теперь следует развязка. В это время мне принесли деньги, письмо Ваше осталось недочитанным, я заплатил курьеру и как большую часть Вашего письма прочитал, то и сел поскорей за работу, чтобы отпустить вонючего нищего. Но, Вы знаете, письма перед глазами есть тот же камень преткновения и не дает возможность работать. Итак, я отпустил тотчас натурщика и прочитал нижеписанное, но уже было поздно. Между прочим, я имел в голове удержать это письмо, да и сам не знаю, отчего сбился, как говорит Сазонов; вся беда в малости. Сойди Христос с креста, и все бы жиды были христиане. Написали бы Вы о письме в начале письма, и письмо Оленина завтра бы было у Вас, но при всяком случае я постараюсь оное отыскать и к Вам препроводить.

В самом ли деле Тон отправляется в Россию, ему так же можно верить, как акафисту. Я бы хотел ему дать крохотушные две картинки, но опасаюсь, что ему это будет в тягость, да сверх того, если поедет в Венецию, то чего доброго и отнимут. Во всяком случае, прошу меня заранее уведомить, с чем и остаюсь по-вчерашнему как безграмотный поп служа обедню

Ваш покорный *С. Щедрин.*

66

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Марта 2-го 1827 года.

Некто флорентинский живописец Signor Berti [2], отправляясь из Неаполя, взял на себя комиссию доставить на Ваше имя это письмо, равно при оном две небольшие посылки, которые и прошу отдать Роберт Антоновичу.

Каково Вы провели карнавал, любезный Самойла Иванович, были ли какие приятные приключения в Вашу пользу? сиречь, того, вон-то, сего, ну знаем, голубчик! Мне здесь во весь карнавал остались две приятности [...] Первая приятность: какой-то скотине удалось конфетиной попасть мне прямо в ухо, что мне причинило крайнюю боль, а в последний день так попали прямо в глаз. Стоящий благовоспитанный народ мне присоветовал идти в кафе или к акваролу (бассейну) промывать оный холодной водой. Я сгоряча хотел было бы играть роль храбреца, однако же должен был послушаться, и в кафе мне отмочили несколько несносную боль, которую оттерпел, облегчая оную разными скоромными словами на русском и итальянском языке. Вот Вам весь мой карнавал и все мои забавы [...]

Сказать Вам истину, право, писать нечего, это Вы можете видеть из начала письма, с какой натяжкой я оное пишу. Но также имею важную просьбу к Вам, именно, просить Пелюкки, краскотера, отпустить мне краски по списку, здесь приложенному, а деньги я напишу в Рим, где и буду просить заплатить из той суммы, которая хранится не знаю у кого—у князя Гагарина или Бартоломея за картину г. Самарина. Но об этом речь впереди, и я уверен, что Пелюкки, по милости своей ко мне, не откажет. Я также спрашиваю у него ультрамарину самого лучшего, сиречь, первого разбору, две унции в разных пакетах, ибо одна для меня, другая для другого, из коих одна унция чтобы не превышала 8-ми пиастров, во всяком случае, прошу оные разделить, хотя бы у него и не было вышеозначенной цены. Прочие же краски прошу, чтобы были растерты отменно хорошо и чтобы были свежие пузыри. У меня пропасть красок пропадает от мерзких пузырей, которые лопаются. Итак, уложив оные со всем порядком и тщанием, я прошу Вас оные мне переслать с каким-либо верным попутчиком, хотя бы того и надо было подождать. Вы, благодетель мой, человек аккуратный и basta cosi [хватит этого]. Если же Ваше скульптурное знание в красках покажется сумнительным, то прошу прибегнуть к молодцу и голубчику Бруни и поступить по-прежнему, не брать бакану у Пелюкки, а взять в Via Babuino или у какого-либо другого баканиста три пузыря, один Lacca di Garenza, один Lacca Garminato и один Lacca Gialla.

С сим остаюсь Ваш друг и товарищ *Сильвестр Щедрин.*

Неаполь. Марта 2-го 1827 года.

Кланяюсь всем. Если есть какие-либо питерские новости, уведомьте, и когда будет князь Гагарин в Риме. Сделайте одолжение, уведомьте меня, живы ли мои большие пяльцы, или большая рама, на которой был натянут холст, которым я прикрывал камелек. Мне в оном будет крайняя нужда, ибо картина для князя Гагарина той меры.

67

С. И. Гальбергу[1]

[Неаполь]. Марта 12. 1827.

Я уже много раз замечал, любезнейший Самойла Иванович, что Пенглос скотина, но теперь его жалую не в протопопы, а в протоскотины. Все к лучшему было устроено до сегодняшнего дня. М-дам Зерво должна была отправиться в Рим, дней через 15-цать, почему я так и приготовлял мои картины, полагая наверное небольшую часть препроводить к Вам, как вдруг черт дернул вместо мадам мусье Зерво ехать. Сегодня мне объявил оное г. Киль, приговаривая, чтобы я торопился все уложить, ибо г-н Зерво завтра едет и, может быть, возьмет Ваши картины [...]. Между прочим, у меня все готово, но не могу сказать, чтобы это было к лучшему.

На всякий случай, может быть, мои картины поедут и приедут в Рим, которые я адресовываю на имя полковника Винспиера, прося его оные препроводить к Вам, а Вас прошу раскрыть оные и ожидать моего высочайшего повеления, которое тотчас воспоследует письменно, как с оными поступить и каковое их назначение. До сей поры сказать, Вы уже видели выше, ничего не могу, ибо не знаю, будут ли оные отправлены, и легко может случиться, что письма приедут без картин, тогда оставляю Вашему воображению, какая злость меня должна обуять.

Слухи до меня дошли, что сюда приезжали какие-то русские, но я ни с кем не знаком. На днях показывали мои картины графу и графине Стакельберг[2], которому угодно иметь от меня две небольшие картинки и именно ту, которую я должен заколотить в ящик. „Хлопоты",—говорил Кирилл Иванович[3]. Завтра должен еще раз нести к Министру, ибо он посмотрит, нельзя ли иметь реплику, хлопоты, право, будут хлопоты! Как день ни велик, а весь проходит в хлопотах, да и вся наша жизнь все хлопоты да хлопоты, только без хлопот желаю Вам здоровья и ожидаю писем, обещанных Вами, с чем и остаюсь тот же, как и всег[да],

С. Щедрин.

[Неаполь.] Марта 12. 1827.

Я Вам правду сказал, что Тон врет, как Акафист Богородицы. Волков, я слышал, уехал, а Киль меня спрашивал, уехал ли Тон? Я ему прямо сказал, что нет, зная наверное, что он врет. Кланяюсь всем.

Когда вынете картины, прошу Вас попросить Бруни вымыть оные легко. Я воображаю, оные должны запылиться, я не успел обклеить ящики.

68

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Марта 23-го 1827-го г.

Уж как Вы меня испугали Вашим письмом, любезнейший Самойла Иванович, самое первое мне кинулось в глаза 12 марта, это число едва не причинило мне опять нервическую болезнь, ибо я никак не полагал, что Вы мне пишете о картинах, посланных мною с г. Зерво, которые я полагал испорченными, затерянными, проткнутыми, тем более имел причину так думать, что г-н Зерво писал г. Килю, что мой ящик ему cosi reva designamento [обозначает также таможенную пошлину], сверх того, я получил письмо от полковника от 15-го марта, который мне ничего об оных не упомянул. Итак, Вы видите, что Вы и этим письмом мне в такту не попали, даже по многим следующим причинам. Первое, я думал, придумывал и буду вперед еще раздумывать, что значит фальшивый Петр и Христос Андрюшка. Второе, Вы упомянули о Маркове и ничего о нем не написали, между тем как я слышал, что он порядочный чудак. Третье, худая отговорка на холод, в марте месяце пальцы перестают зябнуть. Последний пункт, письмо Ваше мне показалось отчего-то так коротко, как гимн, сочиненный Скоковым [2] для арфы. Лишь только успеешь высморкать нос, понюхать табаку, положив нога на ногу и руки накрест, уже и конец. Но, слава богу, картины прибыли, а ошибки и Ваше поведение Вы передо мной поправите. Вы человек чувствительный, и я вижу, что у Вас слезы на глазах.

Между тем, как я Вам творю выговоры, не знаю, достанет ли у меня мозгу исписать этот лист. Итак, по обыкновению, начну просьбою. Сделайте одолжение, поступите с картинами следующим образом. Картину Вид Сорренто с Тассовым домом, тот самый, который прошедшего году Вы отправили к графине Нессельроде, удержите при себе, оная принадлежит Корсаковой. Другие же две: Вид Амальфи, вечернее освещение, и Вид Вико, с большими фигурами, сдайте с ящиком Десантию, адресуя: A la lègation Imperiale Russe à fiorense, надобно, чтобы эти картины прибыли к 8 апреля, спросив у него, может ли он за ящик заплатить Вам 10 карлинов. Черт побери эти ящики, мне уже они стоят 3 пиастра, ибо я отсюда еще послал одну картину Смирнову [3], да Самарина дожидается в ящике же[...] Я знаю, что эта уплата водится, а если он закочевряжится, то махните рукой, но лучше, если придется протянуть руку для приема 10 карлинов. Вот Вам мое высочайшее повеление, а замечаниями не оставьте, оные мне будут приятны. Я не ожидал, что оные так скоро должны быть отправлены, а то хотел просить наших господ историков [4], которым, вероятно, глаза колят на больших фигурах кисточки и следочки, да и головушки, поправить двумя или тремя штрихами, чтобы оные на что-либо походили. Мочи нет, с октября месяца все пишу фигуры, так на-

доело, как горькая редька! Эти картины поедут в Москву, а москвичи, может быть, будут великодушными, а вот как в Рим князю Гагарину, так тут немножко спина почесывается. Утешаюсь хоть тем, что картина не была заказана, а просто была избрана князем, следовательно, не моя вина.

Миклашевский наврал, он у меня не был, даже и министерские его увидели только, как он пришел за пачпортом для выезда из Неаполя, а Охотникова [5] я знаю, но нигде с ним не сталкивался. Эта фамилия также стоит в черной книге, или животной, как говорил почтенный Головачевский, сиречь, в числе бунтовщиков, но не первого разбору, и не знаю, этот ли, или какой его однофамилец или роденка. Здесь также находится графиня Шувалова с мужем, славный молодец и рисует прекрасно. Я у них обедал, но про картины ни гу-гу. Тут же я познакомился с графом Меестр [6], с графиней Воронцовой [7] и княжной Голицыной [8], обе Христовы невесты, и я приговариваю: вот тебе, боже, что мне не гоже.

[...] Скажите от меня Сильвестру Пелюкки, что он мне должен сделать барыш, а именно: когда прибудет моя большая картина, то должен оную натянуть со всем тшанием без платы, даже, чтобы мастеровые и водку не требовали, я столько к нему милостив, что полагаю прислать с оной картиной еще и другие, то поступить равномерно, заплатя за пяльцы, а натяжка даром, и скажите ему, если бы я сам у него покупал, он бы от меня без подарка не уве[р]нулся бы, как то всегда случалось, и хоть он тресни, а что-нибудь да должен сделать!

Представьте себе, я никак не воображал обидеть ни одного человека на свете, между тем один неаполитанец, мой приятель, которых у меня слишком мало или даже и вовсе нет, огорчился мною. Неаполитанец был в большом расположении духа и вздумал мне читать стихи, между тем, как я был в рассеянности и опомнился, как он замолчал, надобно было что-нибудь сказать, итак, я открыл ему мое невежество в литературе, прибавив, что я стихов не понимаю и терпеть не могу, вот сим я его обидел. Он меня упрекал, зачем я ему прежде этого не сказал и заставил его целые полчаса твердить стихи по пустякам, но этот вздор можно оставить для чего-нибудь попутнее.

Я писал Роберт Антоновичу, что г. Смирнов желает иметь рисунки акварелью для своего албаума и проч. Если согласятся сделать, то можно будет адресоваться на этот раз [к] Басину, так как они оба находятся во Флоренции, почему наш молодец может привезти и деньги. Если же угодно, я отпишу об этом Смирнову, которого рекомендую как человека богатого и честного... Амин.

С чем и остаюсь Ваш всегдашний *С. Щедрин.*

Неаполь. Марта 23-го 1827-го г.

Кланяюсь, кому следует. Как будете писать в Питер, кланяйтесь от меня всем ленивцам, ненаписавшим. Если бы Государь знал, что они так редко пишут, то никому бы не дал ни перстней, ни табакерок, а я бы в наказание запретил бы во всей России, чтобы им никто табаку не продавал. Скажите, нет ли слуху, когда будет князь Гагарин? Не знаю, почему я Ваши письма так поздно получаю, писано 13, а получил 22-го, равно и письмо полковника получено поздно. Что касается до Вас, то я наверное знаю, что Вы иногда оным даете проветриваться.

Позабыл было поблагодарить Бруни за принятый труд, а Вас, отца родного, уже и не знаю как спасибничать [...] Смотрите, не забудьте мне растолковать Ваши письменные недоумки. Прощайте, еще раз будьте здоровы.

69

С. И. Гальбергу [1]

[Неаполь.] 30 марта. [1827 год*]

Препровождаю к Вам, любезный Самойла Иванович, две картины, прося принять оные на Ваше покровительство. Картина побольше, Вид Неаполитанский с Везувией, принадлежит г-у полковнику Ивану Васильевичу Шатилову [2], спросить о нем в Петербурге в Главном Штабе Его императорского величества у директора канцелярии Дежурного генерала.

Так он мне оставил записку, ибо-де его часто не бывает в Петербурге, то в Главном Штабе тотчас скажут его местопребывание и его о том уведомят. Другая картина назначена мною г-же Корсаковой, в пандан той, которая у Вас уже находится, представляет же она пристань Соррентскую. Тут есть маленькая запятая, она желала иметь вид Амальфи, но этот вид Амальфи, хотя мною написан и мне мало остается что-либо кончить, но крайне не нравится картина, почему руки не подымаются, чтобы оную дописать. О таком деле я уведомил ее прево. [сходительство] и написал, что вместо вида Амальфи пришлю вид Сорренто, но до сей поры не получил никакого ответа, почему и принимаю смелость, не дожидаясь ответа, оную препроводить к Вам, а Вас прошу препроводить обе картины в Петербург.

При получении сих картин прошу натянуть на пяльцы и никому не показывать, ибо-де пришлю реплики оных, некоторые гораздо получше, а эти прошу держать, как будто бы оных вовсе нет на свете. В сем заключаю мою усерднейшую просьбу. Еще прибавка, к одной картине, кажется, бумага очень пристала, то прошу не отдирать, а легко отмочить.

Как меня удивил Брюллов, Вы себе не можете представить, также идея видеть извержение в то время, как оное уже сделалось, довольно забавно. Лишь только они явились в Неаполь, как и гора перестала куриться, но все это он сам Вам перескажет.

Сегодня я также увиделся с Габерцеттелем, который равную участь имеет с Брюлловым, то есть не видал извержения. Теперь опять начинают поговаривать, что извержение будет четвертого апреля.

Марта 30. 1823 г.[3]

Остаюсь Ваш С. *Щедрин.*

70

С. И. Гальбергу[1]

[Неаполь]. Апреля 1-го 1827-го года.

Что хотите, то и делайте с этим предлинным письмом и как хотите разбирайте мой скверный почерк. Мне самому трудно читать, что же сделать, на весь свет не угодишь. Дьякон Алексей Макарьевич и Евангелие с трудом разбирал, а мне писать евангельскими буквами, так назовут человеком без воспитания. Я помню, как однажды из Петербурга я послал письмо к моей мамке в Стрельню, вся деревня пересмотрела это письмо, никто словечка не мог разобрать, под конец очередь дошла до попа, поп смотрел, пересматривал, вертел и решил тем, что это письмо писано знатной особой, и он никак разобрать не может, а как для моей мамки я казался довольно знатным, то она тотчас и догадалась, что письмо от меня, и без всяких хлопот пришла в Петербург.

Сколько Вас удивил отъезд Роберт Антоновича, так точно меня удивил его приезд в Неаполь. Письмо, присланное Вами, я ему вручил, равно и приписку Вашу прочитал. Он мне рассказывал нечто о Маркове, должен быть чудак превеликий, и значит, что он всех удалился? Письмо же Оленина полковник приказал немедленно отыскать и тотчас отправил. Помните Вы рассказ о пьяном архиерее? Как в светлый праздник ударил колокол к заутрене, пьяный архиерей спросил служку, чему благовестят? „Христос Воскресе, ваше преосвященство!“ — „Перекрести меня, — сказал архиерей, — Христос Воскресе! Слава богу, опять пить“. На это похоже сделал, я думаю, и К. Тон при получении двухгодичной отсрочки. „Слава богу, слава богу! еще два года врать в Риме“. Что сделалось с его гитарой, удалось ли ему выучить в два часа и „re, mi, fa“ или уже так же подвинулся, как Басин. Кстати, о Басине, начал ли он второе колено мазурки? вы смотрите, берегите меня, чтобы Тон не сердился. Я не виноват, мне страшная охота его критиковать, если он мне тою же монетою хочет платить, то я приму с удовольствием, а в продолжение письма (ибо этот лист намерен исписать) моя муза меня еще наставит критиковать К. Тона, то опять примусь за то же.

Полагая, что Вы получили мое последнее письмо, почему только прибавляю просьбу не замедлить отправлением картин для Смирнова. О ценах для его

албаума я ему писал, и писал также, если он хочет и согласен на эту цену, то может выслать деньги с Басиным. Вы, конечно, не оставите меня уведомить, что скажет Министр про мои картины, равно как и другие. У кого в мастерской Вы оные держите? Спасибо Бруни за хлопоты, спасибо Брюллову за приписку и доброе желание, но карман мой [...] становится по расчетам, кажется, и порядочно, да все речь впереди, а на деле знаю только то, что болезнь моя кучу мне стоила, да еще и продолжает стоить и то, что меня с таким усердием втирали, с тем же усердием и вон прогоняют. И вот уже более двух лет, как каждый день принимаю какое-либо лекарство [...] Мне также приходит крайняя охота Зассена задеть, но не знаю, с которой стороны придраться. Авось — либо блеснет какая-либо идея, а не то лягу спать, так может что-либо приснится.

Касательно наставлений для Зассена у меня есть куча, но оные не годятся для письма, а хороши после лепрского обеда на закуску.

Перо гораздо лучше, как видите, следовательно, и догадываетесь, что это я пишу на другой день, но Морфей нимало не освежил моего воображения, почему я пишу Вам быль, а пустяки помаленьку сами собой явятся. На днях я познакомился с одним венгерцем, хорошим гитарным музыкантом, а более того выдумщиком на новые инструменты. На днях он меня затащил к себе и показал две новые гитары его выдумки и поиграл на оных, форма же гитары следующая [на листе сделаны два рисунка грифа гитары. — *Э. А.*]. Крестом означенные штрихи есть не что иное, как смычок, которым он взад и вперед водит, пальцами перебирает, как обыкновенно на гитаре, тон довольно приятный, похожий на виолончель, даже кажется немножко погромче, ибо боковые рога пустые и открыты вверху. Другая имеет подобие арфы, и, как мне показалось, вещь самая пустяшная и форма оной ни к селу, ни к городу. Крестом я означил басовые струны, он играет на оных, как на простой гитаре, и даже тон никакой не имеет перемены, до басовых же струн никогда не дотрагивается и оные, как кажется, вовсе по пустякам, да и как возможно расширить пальцы на таком расстоянии. На днях он будет давать концерт. Сказывают, театр С. Карла будет заперт до октября месяца.

Видите ли, какой я добрый человек, все, что знаю и вижу, Вам, как отцу духовному, сообщаю, а Вы мне пишете о секретах и секретных делах и ничего поведать не хотите; до сей поры я никак себе представить не мог, чтобы кто-либо знал из посторонних о моем деле с Перовским, как вдруг мне один француз всю подноготную рассказал, хотя и приписал оное Правительству. Я в удивлении, спрашиваю, от кого он это слышал? ему рассказали немцы, а тут же случившийся неаполитанец сказал, что он уже год тому назад слышал, между тем как я таился и слова никому не произносил.

Сегодня у меня была графиня Шувалова, хотя дело и не так вышло, как было говорено, и не те картины попали ей, каковые я полагал сделать, все же, кстати, одна картина взята, которая не имела никакого назначения, а другую надо сделать реплику с картины, которую я написал для Самарина. Это письмо Вам доставит граф Меестр, человек очень почтенный и страстный любитель живописи. На днях я также получил ультрамарин и прочие краски в целости и сполна, а с 9 скудовым ультрамарином у меня едва не вышли неприятности. Человек, которому я выписал, отказался принять целую унцию, но, по счастью, нашел товарища, с кем разделился. В другой раз разве только для отца родного обяжусь подобной услугой. Ни дай, ни вынеси, теряй 9 скуд, но деньги получены, следовательно, отдало от сердца.

Я слышал от Роберт Антоновича, что Зассен собирается вояжировать. Одна мысль расстаться с Зассеном меня расстраивает, уговорите его, чтобы он остался и вспомнил бы басенку двух голубей. К чему же ему послужит его наука о развалившихся домах, в которой он оказал такие успехи, утешаюсь, по крайней мере, мысленно, что прежде отъезда буду иметь удовольствие его обнять в Неаполе [...] Вы помните, как мы пировали свадьбу сего последнего от Саксонии до Триеста? Неужели не удастся попировать у Зассена? Скажите, что сталось со свадьбой Тона? Какие у него новые любовные интриги, и завелось ли что у Вас? Охотник ли Марков до живописной части? А Брюллов часто ли ест по три бифштекса сразу? А Бруни восхищается ли великанами на руках, как у Венеры? Вы, может быть, этого не поймете, то спросите его о руках младшей сестры Коломенто, Вы, может быть, плюнете на все эти вопросы, но тут есть моя выгода и Вы, как человек учтивый, должны на оные отвечать. Кажется, довольно написал. Итак, заключаю тем же, как и всегда,

остаюсь Ваш друг *С. Щедрин.*

[Неаполь.] Апреля 1-го 1827-го года.

[...] Прочитавши сегодня письмо, мне крайне было бы жаль послать оное по почте и заставить Вас платить за таковые пустяки.

[...] Кланяйтесь всем поименно, даже Габерцеттель или Рошкюр [?], что намеревается делать Габерцеттель, его уже пенсион скоро кончится, как кажется, в Питер или в Париж, или в Риме остается? Живы ли Марианка и Сеттимака и по-прежнему ли услуживают? Нельзя ли как добиться до отменно хорошего лаку? Прошедшего году Вы мне прислали с Егинком [2], также нехорош, вечно липнет, не может ли Пелюкки состряпать одну унцию на славу? Или нет ли какого славного лаковщика в Риме, который был бы отменно в оном искусен. Амин!

71

С И Гальбергу[1]

Неаполь. [23 апреля] 1827-го года.

Ну, хорошее ли это дело?—говаривал покойный наш инспектор, что Вы, любезнейший Самойла Иванович, не хотели меня даже и с праздником поздравить, а еще наша Пасха пришлась в третий раз в течение нашего пребывания в Италии с Пасхою римской, и оба Христа в один день воскресли. Если об этом Вам охота рассуждать, отчего так приходится, подумайте, и если что-либо Вы думаете порядочное, то и мне сообщите, а Вашему покорному слуге все равно, что пятница, середа или воскресенье. Но не все равно то, что Вы на меня делаете письменный начет, и откуда Вы взяли, что я у Вас в долгу? Ась? Не Вы ли мне по последнему счету должны два листа, кругом исписанные разными пустяками, и что преславное письмо Вам должен был доставить граф Меестр.

Это письмо я Вам пишу вперед, не зная, будет ли оно кстати. Здесь есть некто князь Голицын[2], который отправляется послезавтра в Рим, почему я и просил через г-на Киля, не может ли он перевезти несколько моих картин. Сегодня получил в ответ от Киля, что князь Голицын с охотою возьмет ящик, если у него найдется место, почему мне для укладки картин остается завтрашний день, но писать едва ли удастся за хлопотами. Благодарю 22-го апреля за дурную погоду, которая меня заставила возвратиться пораньше домой, которое время и употребляю на сии видимые занятья.

Картины мои прибудут к Вам свернутые, почему прошу чрез Вас г-на Бруни принять оные в свое покровительство и заставить Пелюкки натянуть оные на пяльцы со всей аккуратностью, чтобы не измять и не оборвать края, это первое. (2) Бумагу, в которой оные завернуты, полагаю лучше не снимать по тех пор, покамест оные не будут натянуты. (3) Если в котором месте бумага пристала, то не отдирать оной что есть силы, но легко, легко отмочить, впрочем, оная, как я полагаю, сама собой отпадет. (4) Натянувши, велеть обколотить планками. (5) Если оные запылившись, то легко, легко смыть с оных грязь и большую картину прикрыть бесподобным лаком, что рекомендую в особенности, и пуще всего, чтобы лак не липнул. Вот несчастье, до сей поры не могу добиться до хорошего лаку, таким же образом поступить и с другими картинами, если Бруни найдет это нужным. (6) И последний пункт, большие пяльцы, хранящиеся у Вас, употребить для натяжки большой картины. Если же подойдут впору, на которых натянуты „Вид Албанский" и „Вид Римский с Орто Фарнезиано", то снять оные и натянуть присланные мною картины, и чтобы соблюсти в полной мере экономию. Если упомянутые мною пяльцы найдутся мерою больше видов неаполитанских, в таком

случае прошу оные поисправить и сделать удобными к употреблению, ибо те картины, сиречь римские, уже никуда не годятся. Во всяком случае, предаю себя Вашему рассуждению. Картину же для Самарина рекомендую в особенности поступить со всей деликатностью и немного оную шаркать ни лаком, ни водою. Оная заказана придворным человеком, следовательно, написалась очень сентиментально.

Приведши все в порядок, я прошу осветить оные и показать князю Гагарину, большую картину в особенности, и как лак высохнет и вонь оного исчезнет, то и вручить ему оную, или, если покажется нужным, то без церемонии отдать. Но всего лучше его спросить, как ему будет угодно, а для меня лучше прежде показать в хорошем свету, то есть лицом товар продавать, но чтобы не сбиться, кому какую картину, то на краях каждой Вы найдете имена, кому оная принадлежит. Графине Шуваловой я посылаю только одну картину, другая еще пишется, не знаю, кому графиня приказала оные вручить, вероятно, Деликатию.

По дороге, если Вам будет досуг и если Вы где встретитесь с аббатом Брути, не имеет ли он какого-либо известия от Корсаковой? Я не могу добиться толку, на два моих письма нет никакого ответа.

23-го апреля. Сегодня я был сам у Голицына, он с охотой берется отвезти. Между прочим, столь деликатен, что мне кажется, от деликатности он их и оставит, почему легко может случиться, что это письмо придет без картин, ибо оное ему же предоставляю. Вдобавок к картинам, оные, может быть, несколько пожелтеют, то прошу подержать немножко на воздухе. Все все, что могу Вам писать в теперешних обстоятельствах. Если же придут благополучно, то прошу не оставить критикой, которую Вы, впрочем, умеете делать со всей деликатностью, как будто бы матушка своему избалованному сынку. Адресовываю же ящик на имя полковника

И с сим остаюсь Ваш *С. Щедрин.*

Неаполь. [23 апреля] 1827-го года.

Кланяюсь всем. Вам, сказывают, наклеивается дело от Государя[3], душевно того желаю. А мои отчасти смешные обстоятельства опишу при досуге. Смирнов мне немножко досаден, прежде надоедал своими письмами, а теперь вовсе ничего не пишет, и это мне есть лучшее доказательство в верном получении картин, но не слишком хорошее доказательство в присылке денег. Здесь также слышно, будто бы у вас в Риме отравили всех докторов, правда ли? Поправился ли Басин после причащения Святых Тайн?

72

С. И. Гальбергу[1]

Неа. [поль] Мая 3-го 1827 года.

Последнее письмо Ваше, любезнейший Самойла Иванович, очень похоже на наше донесение, которое мы писали в Академию, стараясь чем-нибудь распространить, чтобы исписать кругом лист. Ваше „Христос Воскресе" заняло три строчки, но это еще не беда, но лгать-то к чему? будто бы Вы писали каждую почту к Роберт Антоновичу, и мне помнится, что во все время его пребывания в Неаполе он только получил три письма. Что сделано, то свято, но с праздником Вас поздравлять не стану, ибо тому уже прошло пятнадцать дней.

С нетерпением ожидал известия о картинах, посланных мною, оные, действительно, свернуты были худо, чему есть много причин. Столяр мне принес ящик такой меры, что я ужаснулся и не смог таковую громаду навязывать Голицыну.

Вчера, 1-го мая, я начал это письмо, и, как вы видите, в дурном расположении духа, тому причиною наш общий знакомый Бергольц[2]. Вчерашний день ему пришло в голову таскать меня от 12 часов до 10-ти, за одним столом он продержал меня от 5 часов до 8 с половиною, не мог никак от него отвязаться, и он мне надоел, как Солнце Перилья. Всякий день я его принимаю или где-либо встречаю. Впрочем, он человек добрый, любит бутылочки, но для этого нужно бы было еще третью персону, чтобы по дежурству вести разговоры, небольшой приятельский спор, колбасики [далее слово неразборчиво.—*Э. А.*], сыру пикан—тогда бы Бахус был в полном торжестве. А вдвое[м] вино делает совсем другой Wirkung [действие], и хорошо, что пришел поздно домой, а то бы раскритиковал Ваше письмо, которое я прочитал, я думаю, в седьмой раз, и, скажу Вам, на это я сердился. Об отравлениии лекарей я прочитал в подробности в газетах, следовательно, мне было досадно, что вместо этой статьи не поместили чего-либо новенького. В этом отчасти я виноват, меня, нелегкая, сунуло об этом спросить.

Я очень похоже сделал на тех глупцов, которые, нашедши бронзовую надпись, прислали литеры в мешке, что[бы] прочитать оную. Мне показалось неловко написать имена на краях, и я выдумал написать на бумаге, натурально, бумага слетела вместе с именами. Итак, теперь Вам пишу, кому что следует. Большую картину, как Вам известно, князю Гагарину, а меньшую из всех, „Вид Неаполя", г. Самарину, а „Вид Кокумелей", без Везувия, графине Шуваловой. К этой картине должен быть пандан, который теперь пишу, следовательно, надо дожидаться, покамест оная картина прибудет в Рим. Другой „Вид Кокумелей", с Везувием вдали и с баркою на первом плане, держать до моего высочайшего повеления. Вы, господин скульптор, пыхните в за-

тылок Пелюкки, чтобы сварил тотчас лак на славу, ибо он испортиться не может, напротив того, он гораздо лучше, если немножко устоится, и тогда почему бы не прикрыть большой картины лаком. Если Бруни найдет оный действительно хорошим, попробовав оный на каком-нибудь из моих етюдов, хранящихся у Вас. Мне кажется, товар лицом надо продавать и картина от этого может много выиграть. Впрочем, все это предаю на Вашу благоусмотрительность. Пожалуйста, напишите мне в подробности, что будут говорить, даже какую мину будут делать, смотря на оные, натурально, за глазами скорее правду узнаешь. Здесь у меня есть один художник, который мне шпионит (до чего неаполитанцы великие охотники), и он мне сказал, что здесь некоторые художники недовольны водой на моих картинах и что оная не соответствует в силе с другими частями.

Писем к Оленину нет никаких, а к г. Фаберу[3] Вы сами кланяйтесь, сколько Вам угодно, как он прибудет в Рим. Я его вовсе не знаю, но полагаю увидеть на балу у Стакельберга, но, кажется, его там не было, а за столом однажды в трахтире я многих видел колбасников, с которыми должен быть и Фабер, ибо мимо моих ушей мелькнуло несколько русских слов. По счастью, немцы с этой особой такие имели мерзкие рожи, что надобно бы было со стыда сгореть. Если это курляндцы, для меня нет ничего гаже белобрысых курносых харь. Вообразите себе Жоакина[?] белотелым, каков будет молодец? Жаль, что Вы не видались с Меестром, он добрый человек и все хвалит, как Трубецкой[4]. Я с ним отдирал все по-французски, а по-русски он так говорит: „Я в Сардиньи очень маленкой у меня фортун был, а я всегда поздно обедать любил“. Равно жаль, что не видались с графиней Воронцовой, у нее есть русский табак, может быть, она оным Вас попотчевала, это для нас порядочная редкость, я в девять лет только один раз кашу ел да одну призу табаку понюхал. Вот все, что я Вам теперь только писать могу, с чем остаюсь

Ваш друг *С. Щедрин.*

Неа. [поль] Мая 3-го 1827 года.

Кланяюсь всем, поздравьте от меня Масуни с молодой женой, будет ли она так же ласково отпирать двери нашим красавицам, как то делала покойница. Вам, как кажется, со всех сторон валит работа, да все что-то посулили, как говорил некто ландшафтный Егор Тимофеев[5], и скоро ли Вы все это сгребете. Мне тоже нечто рассказал Засс[ен], но я не люблю журавлей в небе, дай лучше синицу в руки. Еще прошу не оставить письмами, как что найдется интересным. Не сердится ли Тон на меня, Вы, вероятно, ему читаете некоторые строки. Есть ли какой запах об Алекса. [ндре] Тоне?

73

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Мая 16-го 1827.

Я не спешил писать Вам, любезнейший Самойла Иванович, ибо ничего не имею Вам сказать, и не об чем просить таком, которой был[о] так к спеху[...] Но также и не без просьбы. Мне кажется, Бартоломей никакого сумнения иметь не может. Если Вы ему отдадите картину от моего имени, следовательно, можете принять и приходящиеся мне 15 луидоров, давши в оных расписку. Если Вы говорите, что я смешу, то кажется, я хохотать должен на незнание Ваше, куда девать деньги. Это мне, кажется, один Николай Румянцев[2] жаловался, что не знает, что делать с деньгами, а нашему брату, кажется, чаще приходится неоткудова брать.

Итак, получивши деньги от Бартоломея, заплатите краскотеру, взявши от него расписку, а остальные пришлите мне с Брюлловым или Брунием, вот и вся история.

Ожидаю с нетерпением наших путешественников[3], после двухлетнего сроку мне будет очень приятно взглянуть на приятельские рожицы, и для того я отлагаю мою поездку за город, чтобы с ними увидеться. Благодарю Вас за присылку вопросов, отчего Ваше письмо похоже на поминание, а другая страница, о, боже мой! Я вертел, перевертывал и едва добрался до начала. Вы, верно, это писали после Лепрского обеда, сказав в истории об обиде попа, „как говорит швейцарец—умер хорошо“. Что это значит, я никак не могу толку добиться. Хотя эта история и очень хороша и Гангелин мне про оную ничего не говорил, при всем том не мешает, если Вы оную сами расскажете, может быть, мне будет недосуг от лености, да и позабуду, и [у] меня память очень стала коротка. О песне же немцев я читал в газетах неаполитанских. Понял ли я? и о выставленной там картине одного славянина, уже![...] не [...] без рамки, не прикрытая лаком, я так и вижу оную, стоящую как тряпку обве[т]шалую, и чья это идея? дожидаю с нетерпением решения этой задачи.

И здесь также не было приключений. Мне рассказывали вещь довольно странную, за верность, впрочем, не ручаюсь. Здесь в тюрьме находится некто Лопец, один из карбонаров, приговоренный к смерти. Приходят в тюрьму два жандарма и требуют от тюремного смотрителя упомянутого арестанта, показывая при том и письменное повеление. Тюремщик, ничего не подозревая, отдал им арестанта. Жандармы связали ему руки, вывели, и след простыл арестанта. Полагают, что он принят на английский линейный корабль, находящийся теперь в здешней гавани. Штука довольно смелая и замысловатая!

Хотя я Вам и писал в начале письма, чтобы передать деньги за Самаринову картину Бруни, но после подумал, что, может быть, Вы не успеете оное сделать, ибо это письмо получите в воскресенье, к тому же я не хочу, чтобы Вы бегали и хлопотали. Итак, я рассудил, если Вам этого не удастся, то отдайте деньги Роберт Антоновичу, который по приезде мне оные отдаст. Желаю душевно, чтобы поскорее наши приехали. Здесь же сговорились несколько художников, в том числе и я, ехать в Капри, дней на десять. Работы же мои на будущей неделе будут закончены, и то я форсирую продлить для свидания с нашими, которым, между тем, прошу кланяться и с сим остаюсь Ваш всепреданнейший и препокорнейший

С. Щедрин.

Неаполь. Мая 16-го 1827.

С графиней Шуваловой я дела никакого более не имею. Между нами все кончено и заплачено мне. Мне только нужен будет адрес для отправления картины в Петербург. А Корсакова, как Вы думаете, не продать ли картины, если сыщутся охотники?

74

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Мая 23-го дня. [1827 год.]

Препровождаю к Вам, милостивый государь, Самойла Иванович, остальные картины с высочайшим моим повелением оных картин лаком не прикрывать, а как можно скорей отправить в Ливорно, если время еще не ушло. Две картины, едущие к Вам с полковником Шатиловым, принадлежат: большая—графине Шуваловой, а меньшая—А. Львову, отправление коих должно быть попарно и, чтобы Вас вразумить без всякого недоразумения, почему и пишу Вам крупнее и именую каждую картину поодиночке.

1) „Вид Кокумелли", без Везувии, и „Вид Неаполя", теперь привезенного, также без Везувии, но с крестом на первом плане, отправить графине Шуваловой-Полье в С.-т Петербург. 2) „Вид Кастель Сент-Анжело", хранящийся у Вас, и „Вид Неаполя с Везувией", приехавший также теперь, отправить Александру Николаевичу Львову в С. Петербург, адресовав по-прежнему в Академию. 3) „Вид Неаполя", также с крестом, отдать куда следует. Эта картина принадлежит г-у Самарину, как то Вам уже известно, а „Ермитаж Альбанский" долго, долго Вам искать придется.

Вы, я думаю, помните, как я эту картину писал, Вы были в это время в Альбано после лихорадки, и картина эта была куплена вместе с маленькою картиною, представляющая самого Ермита[жа] с двумя нищими. Все эти картины Самарин взял с собой, а заплатил мне только за албаумный рисунок и за

вышеупомянутую картину Ермита[жа] с нищими. Ермитаж же не был заплачен, вдобавок к этому, я об этой картине вовсе позабыл бы, если об оной не напомнили, мне бы никогда и в голову оная бы не пришлась. Об этом я также напишу Роберт Антоновичу, если же нужно будет присягнуть в истине, то смело подымите за меня пальца три, грех на Вашей душе не останется. А новость, что я имею еще восемь луидоров, меня очень обрадовала, ибо об оных вовсе не помнил, а вообразил себе, будто оные нашел на дороге.

Кажется, я написал все, и, как мне по крайней мере кажется, довольно понятно. Но если же никоим образом нельзя будет отправить картин морем, то прошу всепокорнейше меня о том немедленно уведомить, тогда я приму меры, причем прошу спросить у Десантиса, на всякий случай, разницу в плате морским или сухим путем, ибо картины непременно должны быть отправлены.

С сим остаюсь Ваш навсегда *С. Щедрин.*

Неаполь. Мая 23-го дня. [1827 год.]

Господин скульптор, когда будут натягивать картины, чтобы берегли края и не оборвались оные. Сделайте милость, не замедлите уведомить [лист оборван.—*Э. А.*] я Вас надолго оставлю в покое.

Кланяюсь всем. Все, что я Вам писал о картине Ермитаж, взятый Самариным, все пустяки, ничему не верьте. В письме Роберт Антоновича вся правда подноготная. Зато уже истинная правда, что вышеупомянутые картины постарайтесь отправить, а мне такая скука писать, три письма перед глазами, Роберт Антоновичу, Вам и брату, и я от скуки пишу по переменкам, то одно, то другое, и все скучней да скучней. Amin!

75

А. Ф. Щедрину [1]

[Неаполь. 23 мая 1827 год.]

Любезный брат! Пользуюсь отъездом полковника Ивана Васильевича Шатилова, я пишу тебе несколько строк, довольно ласковых, хотя имею полное право браниться за твое молчание. Милость же моя происходит от комиссии, которую я намерен на тебя навязать. Полковник Шатилов заказал мне картину, которую по окончании должен препроводить в Петербург, где он по своей должности находится, но также равно по должности же может найтиться в отлучке, почему и прошу уведомить меня, где он будет находиться в конце будущей осени, о чем, натурально, вы с ним условитесь, как то он сам предполагает, равно как и то, каким путем отправить картину и как оную адресовать.

Другая просьба, я отправляю картины графини Шуваловой, с которой ты, кажется, знаком, следовательно, возьми под свое покровительство две картины,

чтобы привести в порядок, сиречь, дать выстояться и прикрыть лаком, как я тебя учил поступить с картиною м. Влодек. Графиня, вероятно, этого не знает, и картины могут много потерять от тусклости. Это не есть вещь для тебя непременная, я прошу в таком только случае, если ты знаком с графиней.

С каждым днем я ожидаю сюда русские фамильи: Мария Яковлевна Нарышкина, графа Разумовского и Оленины, к оным примкнули Брюллов младший и Бруни. С сими последними я уже два года как не виделся и ожидаю с нетерпением услышать какие-либо новости римские, и это задерживает отъезд мой за город. Прошедшего году мне удалось написать много картин, а нонешнего году должен наработать еще больше, но в Петербург мало оных прибудет, и то реплики, с некоторыми переменами. Картина для Львова „Вид Неаполитанский", который также посылаю, мне крайне надоела, в маленькой картине хотят, чтобы весь город был помещен.

Ты не можешь себе представить, какая мне лень писать, а, между тем, несколько писем еще надо отправить в Рим, по разным делам. Не знаю, находит ли на тебя подобная лень? Так что перо в руках не держится, к тому же это письмо к тебе прибудет очень поздно. Полковник не ранее обещал быть в Петербурге, как в конце сентября месяца, почему я вовсе не имею нужду распространяться. Скажи, который почерк лучше для тебя, в начале письма я писал вчера, а теперь царапаю сегодня, мая 23-го, все еще в Неаполе, и все еще в 1827-м и так же, как и всегда,

твой брат *Сильвестр Щедрин.*

Поцалуй за меня матушку, сестрицу, Василия Ивановича и всех племянников и племянниц, я думаю, Лизинька и Машенька уже очень велики? Будут ли с меня ростом? Лень, лень, лень, лень, а ты все-таки ленивее меня, ленивее меня.

Совестно оставить эту страницу неисписанную, почему и пишу Вам, любезная матушка, о здешних конверсациях, или вечеринках, к которым я по многим причинам совсем не имею охоты ходить и при удобном случае оное расскажу. Однажды меня завели в гости к одному препорядочному человеку. Особа, приведшая меня, был римлянин с двумя сестрами, музыкантшами, много пели, играли на фортепианах, на скрипке, между тем хозяйка суетится, выходит в переднюю, слуга беспрестанно шепчется то с хозяином, то с хозяйкой, словом, смотря на их хлопоты, я ожидал банкета, что для меня казалось довольно странно, ибо неаполитанцы хотя посщедрее других итальянцев, однако же, выключая зажженных свеч, на их балах ничего другого не бывает. Эти хлопоты продолжались часа два, наконец на большом подносе выносят пребольшущие три стакана воды, но не просто, как Вы думаете? — с снегом, — и все кинулись пить, и меня, как иностранца, старались как можно больше

подпаивать, и им очень было странно, что я не имею охоты глотать снег, и так отпотчевавши, пошли все по домам, благодаря хозяина и хозяйку за угощения, а хозяин и хозяйка благодарили за посещение и просили и впредь делать им честь, то есть пить воду со снегом.

76

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Мая 31-го [1827 года]

Насилу и Вы мне дали комиссию, любезный Самойла Иванович, которую я стараюсь исполнить с возможным тшанием, и чтобы Вы не думали, что я лгу. то и опишу Вам всю подноготную, как я ее отыскивал, что мне не стоило никакого труда (не подумайте, что я уж и отыскал оную)[2]. Лишь получил Ваше письмо, или, лучше сказать, реляцию, с латинскими строками, которых, как Вы знаете, ни слова не понимаю, я пустился в Strada Madalone, в самую большую книжную лавку [...] Должен был идти за Порто Капуане, зная наверное, где и чего много. В этой большой лавке под именем Борелли понюхали мою записку латинскую, и тотчас был короткий ответ, что у них оной нет, а чтобы я пошел подальше по той же улице. Не помню ни имя палаццо, ни книгопродавца, но показав ему записку, он мне назначил притти на другой [день], ибо qe ce vuol [он желает иметь] время отыскать оную. Я пришел на другой день, и он мне в каталоге показал Настасью Симоновну, но не ту, которую Вы желаете иметь, и опять меня отпустил с тем, чтобы я пришел через четыре дня за Вашей Настасьей Семеновной, прибавив к тому, что если у него нет этой Настасьи Семеновны, то чтобы и не искал, ибо всякий труд будет бесполезен, но что он напишет в Рим, на что я ему сказал, что и в Риме искали по пустякам, оной и там нет. Итак, имейте терпение на четыре дня.

Но как я полагаю в конце этой недели, сиречь, может быть в субботу, отправиться за город дней на десять или 12, то и препоручу для взятья этой книги одному неаполитанцу, очень доброму человеку и дураку. Если эту книгу, Настасью Симоновну, отыщут, то перешлю оную с Подчатским[3], а если у книгопродавца оной нет, то велеть ли ему писать в Рим?

Я здесь с нашими земляками часто вижусь, Оленины[4] в восхищении от Неаполя, много, много мне рассказывают о Маркове, который мне как-то жалок. Страх и трепет найдя на мя, как я взглянул на ужасной меры албаумы, но до сей поры мне еще ничего не говорят, может быть, дожидают, что я сам предложу. Брюллову то кажется достаточно одной недели, чтобы все видеть в Неаполе, то опять находит, что мало целого месяца. Вчера я также виделся [с] Мартосом. Едва не забыл, благодарю за деньги, врученные мне Олениным.

Прибегаю к последней моей просьбе. Отправьте мои картины каким бы то манером ни было, чем меня крайне обяжете, и я по тех пор не буду спокоен, покамест не узнаю, что они вне города Рима. Извините, если к концу каждого письма я примыкаю мою просьбу скверным почерком. Я теперь всякий день занимаюсь сильной корреспонденцией. Моя кар[тина], посланная прямо из Неаполя во Флоренцию к Смирнову, пропадает, книги и картины задержаны в Риме. Каково Вам кажется отправлять отсюда, а, между тем, Смирнов не ленится прислать денег. Графиня Разумовская[5] меня совсем обескуражила Корсаковой, называя ее сумасшедшей, и что она, выехав из Парижа, растеряла все свои вещи и пачпорт и едва не потеряла и дочерей.

Будьте здоровы *С. Щедрин.*

Неаполь. Мая 31-го 1823 г.[6]

Кланяюсь Роберт Антон. и всем и проч. лен[ивцам], лен[ивцам], лен[ивцам]. Если какие-либо будут письма из Рима, то попросите Роберт Антоновича от меня, что я позволил адресовать в дом к его братцу, под сохранение во время моей отлучки.

77

С. И. Гальбергу[1]

[Неаполь.] Августа 27-го 1827 года.

Уж, как же я думаю, Вы меня браните, любезнейший Самойла Иванович, и клыков бы не пожалели, если бы я жил поближе. Из последнего письма Вы усмотрите, что я отправился в Капри, где намерен был пробыть дней 15-ть, но вместо того прожил там около двух месяцев. Совесть меня крайне мучила во время моего пребывания на сем острову, ибо комиссия, возложенная на меня в рассуждении книжки Настасьи Кирилловны, оставалась неисполненной. Но, возвратившись в Неаполь, я тотчас побежал к книгопродавцу, который некоторым образом меня успокоил, что он оную книгу все еще ищет и уже находится в seconda Linea [во втором ряду], что это значит, не понимаю, но я дал ему полную волю отыскивать, а сам поехал в Сорренто, откуда после двухнедельного пребывания отправился в Вико и теперь приехал в Неаполь проститься с графинею Разумовской, с Подчатским и Охотниковым, и опять зашел к книгопродавцу, и еще получил в ответ—через месяц. Я спросил у него, есть ли speranza [надежда] оную отыскать? В ответ получил, что он для того и отлагает, что имеет speranz'у, и я так надеюсь в отыскании оной, впрочем, потерпим еще немного.

По приезде в Неаполь я получил Ваш ярлык от Роберт Антоновича. Благодарю Вас за комиссию. К Корсаковой еще не писал по лености и по не-

досугу, равно как и к Львову, да и домой ничего не пишу, да и от них ничего не получаю, бог знает, живы ли? На короткое время, как мне случается приезжать в Неаполь, я всегда вижусь с Олениными, они очень часто про Вас говорят, хвалят, и вспоминать вас—есть любимый их разговор. А от Подчатского я вовсе вон не выхожу, а всегда прихожу на минуту. Его желудок так же, как желудок Перовского, не может сварить овсяной записки[2]. Сделайте одолжение, не ходите оную смотреть все в складчину. А бедный Марков цел ли... и есть ли надежда его вылечить?

Наши господа не хвалят картину Маркова. Софья Волконская[3] будущей зимой, может быть, будет в Риме. Я никогда не берусь ни за какую комиссию, а когда возьмусь, то всегда выйдет вздор. В Сорренто я жил с колбасником Ketzloff[4]. Графиня Разумовская захотела иметь от него албаумный рисунок, я его представил, привез в Неаполь его скверный рисунок, и дорогой графине, натурально, не понравился. Она отдала оный своей племяннице, заплатила, а мне крайне совестно, что я привел этого колбасника и придакнул, что он хорошо работает. Теперь Мария Яковлевна той же участи дожидается, ибо также ему заказала рисунок. Надобно же быть такому несчастью, куда бы за город я бы ни приехал, везде нахожу мерзкую фигуру Матцена.

Если Вам представится случай, пришлите мне из Рима пузырей шесть шифервейзу. Князь Гагарин писал к Винспиеру, что желает иметь от меня картин без счету, между тем как я, полагаясь на работу Перовского, не слишком тороплюсь отвечать на другие заказы, и тут, как на смех, те, которые хотели иметь одну картину, спрашивают две, три, те, которые хотели две, назначают пять, и так у меня накопилось более сорока заказных картин, в том числе четыре большие. Вот так-то бывает, иногда густо, а иногда пусто, и, как на смех, нонешнего году идет работа весьма медленно.

Вчера я слышал, что воспитанница Перовского осталась в Риме [...] Кланяюсь Вам и всем желаю быть здоровыми.

Остаюсь *С. Щедрин.*

[Неаполь.] Августа 27-го 1827 года.

Не можете ли узнать, не говорил чего-нибудь Катель князю в рассуждении моей картины, он порядочный критик.

78

С. И. Гальбергу[1]

Амальфи. [Сентябрь. 1827 год *]

Девятое лето нашего пребывания в Италии, любезнейший Самойла Иванович, время скоро проходит, но последний год показался мне целым веком, от болезни и скуки, которую терплю в Неаполе, и самая прелестнейшая природа меня

вовсе не утешает. Находясь теперь в Амальфи около двух недель, я уже два раза был болен, и болезни такие, о коих вовсе никакого понятия не имел до сей поры, лихорадки, головная и желудочная боль меня мучат беспрестанно. Сверх того, жара становится нестерпима, и я не могу дождаться дня, когда бы отправиться в Рим. В таком положении вспомните о пенсионе, не нужно было жертвовать своим здоровьем, Пенглос скотина.

Много я виноват перед Вами моим молчанием, между прочим, если бы Вы были здесь, я бы мог легко оправдаться, ибо длинное мое письмо было приготовлено еще в Вико, но, увы! Приехавши в Неаполь на короткое время, я в хлопотах, в недосуге оставил оное в комоде и теперь в замену оному приготовлю другое, гораздо обширнее, как Вы то видите, на самом деле все к лучшему, Пенглос правду говорит.

По долгом искании повсюду я наконец нашел Егинга в Сорренто, с которым мы и отправились в Амальфи. В сие короткое время я успел у него выведать все римские новости по вопросам, данным Вами. Бедный Миклашевский, надобно же быть несчастью, чтоб склизскому умереть подскользнувшись. Между прочим и я подвергался таким же участям. Сорренто для меня было нонешнего году не ко двору, только не знаю, кто из нас кому? Я Вам уже писал, что я познакомился в Сорренто с любезнейшими девицами Фиорини, которые там живут с братом своим. Я часто проводил у них вечера, и нередко по праздникам делали cavalcature [поездки верхом] по окрестностям соррентским. В одной из сих прогулок на Сент Агата мне попался мул невзнузданный, а эта порода не слишком хорошего воспитания, почему, спускаясь с горы уже в сумерках и по узенькой тропинке, он начал попрыгивать. Я предчувствовал беду и хотел сойти, но увы! некуда было соскочить, с одной стороны горы на отвес, с другой овраги, наполненные камениями. Вскоре мы выехали в чащу, но тропинка все еще была чрезвычайно узка, но наконец мой мул дорвался небольшой площадки, его скотская кровь разыгралась, дал волю своим ногам, запрыгал, залягал, подпруга лопнула, и я с седла через голову упал в кустарник, сквозь кустарник в яму. По счастью, земля была мягкая, и я не причинил себе вреда, но второе мое падение меня так испугало, что я с трудом мог перевести дух и остался некоторое время без движения, ибо овраги, которые мы проезжали, еще продолжались. Бедные мои римлянки так испугались, что вся наша прогулка обратилась в ту бочку меда, в которую опустили ложку дегтя, и я их с трудом мог уверить, что я жив.

Но судьба, оставившая меня невредимым, хотела пошутить, попотчевав меня другого рода падением. Я вам писал, что в Сорренто все Калаты заперты? Теперь, чтобы работать виды морские, надобно ездить в лодке. Однажды море немножко волновалось, мой маринаро, превеликая скотина, не

лучше того проказника мула, подавая мне лодку, отодвинулся в то время, когда я уже ступил одной ногой на борт, чтобы избавиться от сего фиглярного положения и верного падения всею особою в море, я снял ногу с борту, но уже потерял баланс, и потихоньку, полегоньку спустился по грудь в море, державшись одной рукой за лодку, а другою за пристань. От сего падения, хотя и бывшего вскоре после обеда, других следствий не было, как только небольшой испуг, и поболели руки от висячего положения.

Были также и другие приключения, не менее важные, но не желая более наскучить подобными штуками, и оные оставлю до нашего свидания, чтобы за столом было что порассказать, если не для смеху, то по крайней мере для приправления невкусного лепрского стола.

Из Сорренто я отправился в Вико, от роду я такой пакостной жизни не проводил. 23-х дневное мое там пребывание показалось мне целым годом. Я не мог дождаться дня, в котором должен оставить несчастную и притом прекраснейшую землю. Мерзкий трахтир, скаредная постель, никуда годная пища, неопрятность хозяйки превосходит всякое чаяние. К тому же я там пил минеральную воду, которая меня чистила, как только можно, но все это ни к чему не послужило, и я остался по-старому. Из Вико я отправился в Сорренто, из Сорренто в Неаполь, откуда опять обратно и теперь нахожусь в Амальфи, где почти так же скучаю, как и в Вико. Вспомните эту басенку: „Мне скажут ручейки? а темная дуброва?—прекрасно, что и говорить! но все прискучится, как не с кем вымолвить и слова“. Итак, А. Тон поехал мигать в Париж? Слава богу, хотя это отрада для всех. Не знаю, как с ним будут возиться. А. Брюлло? Что же касается до меня, я бы больше не решился с ним и двух миль проехать, вообразите себе чурбан, которому бы бог дал способность мигать и больше ничего, вот Вам истинное и неложное уподобление с Тоном.

Прошу Вас всепокорнейше приберечь мои оставшиеся пожитки, равно и большие пяльцы, поставьте хоть на чердак, ибо они мне будут нужны. Нонешней зимой я надеюсь быть в Риме, чего мне крайне желательно. Неаполь мне тошен da vero [действительно], чтобы одним словом решить мое положение, то представлю судить о сем Вашему воображению. Бывают дни, в которые я не мог и двух небольших стаканов выпить. На что такая жизнь походит... Я не могу взяться за перо, тотчас весь лист исписан, и Вам, как крестному отцу, читать оное. Каков же Вам покажется Крылов? Вы, верно, этой шутки не ожидали, равно как и я. Это мошенник из мошенников, брат мой хорошо с ним переписывался, да хорошо бы сделал, если бы показал эту переписку князю Гагарину.

79

С. И. Гальбергу [1]

[Амальфи]. Октября 16-го. [1827 год*]

Никак мне нонешнего году ту же печаль оттерпевать, как и прошедшего году. Уже третий день ничего не делаю. Между прочим, для Корсаковой картину написать должен здесь, и я от скуки читаю историю S-a Alfonso Zignori, да в сутки в три этажа сплю, то есть: ночь, перед обедом да после обеда. Хороша ли эта жизнь?

Октября 16-го. Опять принимаюсь за перо. В течение сих 16 дней только и было отрады три дня, да и те поданы были Христа ради.

[...] Не погневитесь, любезнейший Самойла Иванович, что я представляю роль морского капитана и делаю замечания на погоду, ибо время уходит по пустякам, а с ним и плацити, плацити [желания, желания]. Теперь експозиция в Неаполе, а мне вряд ли удастся оную видеть. Князь Гагарин в Петербурге ни до чего толку добиться не может. Отгадайте, между прочим, что он Вам и мне привезет? Это уже очень легко догадаться—выговор от Президента. Продолжение будет из Неаполя.

80

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Октября 6-го. 1827 год.

Наскучив скверною погодой в Вико, я приехал в Неаполь дожидаться ясных дней, но увы! любезнейший Самойла Иванович, ясные дни, кажется, у бога все истратились, по крайней мере, ненастная погода пейзажиста приковала к письменному столу, и Вас, господина скульптора, надо, чтобы заставить что-либо написать. Ась? Не берете ли Вы пример с питерцев, которые меня, кажется, исключили из списка живых. Вчера мне Винспиер дал читать Ваше пресентиментальное письмо, „Viva!“—воскликнул я, Вам летят со всех сторон обещания, монументы так и сыплются на Вашу голову, чего доброго Демидов [2], может быть, перед смертью расшевелился, но смотрите же, берите все деньги вперед, а то корченый как раз может скорчиться в могилу, и Вы останетесь посредине работы, как рак на мели.

Теперь у вас в Риме, должно быть, много новостей. Новый министр нам знаком [3], а новые секретари каковы-то будут? Князь Гагарин, я думаю, доволен, что избавился поляка [4], равно как и многие русские, в том числе и Вы, милост. государь мой, он про Вас говорил и открыл всем за новость, что Вы работаете с поправкою Дорвальцена [5]. Это мне было рассказано по секрету Олениным. Однажды, разговаривая с Вар. Алек., она жаловалась на Коссаковского, что весьма дурен с ее мужем и что поляк, не смея напасть прямо на Оле-

нина, нападал на людей тех, которые ему были отменно приятны. Мне показалось неприлично взойти в подобный разговор, к тому же полагал, что эта особа мне незнакома, итак, я это оставил, но, благо[да]ря женскому языку, это долго продолжаться не могло, а при другом свидании она мне рассказала следующее. Однажды у покойного Министра был стол, перед столом зашел разговор о художниках, и Оленин выставил Вас как отличного скульптора. Поляк также похвалил со своей стороны, но прибавил, что Вы работаете с помощью Дорвальцена. Оленин опроверг такую ложь, а между другими доказательствами прибавил, что он сам ежедневно видел Вас, работающим последнюю статую. Тогда Коссаковский сказал, что он сам именно видел, как Дорвальцен поправлял Вам эту последнюю статую, и с сими словами отошел прочь. Оленин ему вслед кричал, что ложь и проч. Но это мне рассказано по секрету, а я по секрету рассказал Брюллову, также, я думаю, он Вам по секрету рассказал, следовательно, этот секрет держите по секрету, и если этот секрет Ваш желудок не сварит, то выпущайте оный по секрету... Уж если пошло по секрету, то должно вывести наружу все. Я узнал, что Брюллов по секрету заходил к магазинщице a Strada di Chiaia, а по другому секрету сказывают, что Брюллов вывез какую-то прелестницу из Неаполя и что один вояжер, садясь в карету, хотел занять первое место в карете, но сидевшая там дама ему объявила, что это место занято ее мужем, а на вопрос, кто ее муж, отвечала: „Pittore russo" [русский художник], из чего и выводят секретное заключение, правда или нет, Брюллов не такой человек, чтобы притаиться, впрочем, если Вы увидите, что эти шутки ему будут неприятны, то не говорите ничего.

Вчера я обедал у Марии Яковлевны, и за столом доктор Abbe[6] рассказал, что Олениной гораздо лучше и что пять дней тому назад она была того—вон-то-того. Ничто в свете меня так не утешает, как мое холостое положение, при всей скуке, которую иногда терплю, одна мысль, что не женат, меня заставляет улыбаться.

Мария Яковлевна оставляет Неаполь во вторник. Она мне, можно сказать, сделала сюрприз—исхода[тайство]вала через графа Стакельберга от здешнего Правительст [лист порван.—*Э. А.*] бумагу с повелением пропускать меня на всех дорогах без осмотру и без задержек, даже чтобы была оказываема помощь, если что-либо потребуется с моей стороны, за подписью самого Министра Медичи. Итак, я нонешней зимой опять останусь один, все уезжают отсюда, даже и Оленины сбираются в конце октября отправиться в Рим.

Вы не подумайте, что дурная погода выбила у меня из памяти книжку Настасью. Я опять был у книгопродавца и опять возвратился со словами: „pazientativo altro poco [потерпите немного], а просто, мне кажется, у него оной

нет, как то отчасти он мне дал знать, ибо-де дожидает известия от партикулярных людей, так он поступает в тех случаях, когда у него не находится требуемой книги.

Остаюсь Ваш *С. Щедрин.*

Итак, я у Вас вопрошаю: продолжать ли мне поиски книжки Настасьи? Я дней через десяток опять зайду, и, пожалуй, целый год буду ходить, но если же он мне все одно и то же будет твердить, тогда что? Какова у Вас погода и позволяет ли Вам веселиться в Арриччо? Откуда взялась у Вас такая дружба с французами? Я давно хотел об этом спросить. Я встретился с Корто[7] в Вилле Реаля, он тотчас стал со мной лобзаться, как будто с самым закадычным приятелем. Театр Сан Карла опять отперт, но я еще не был, ибо билеты весьма дороги. Кланяйтесь всем. Что Марков? Что Габерцетелль и Басин? Вышел ли им пенсион?

Подчатский уверял, что Басин имел намерение с ним ехать в Россию.

Чтобы не заставлять Вас платить по пустякам за пустяшное письмо, я отдумал оное отдать на почту, а посылаю с отъезжающими нашими господами. Скажите, пожалуйста, не пишет ли чего Вам Подчатский в рассуждении меня. Я имею с ним дело, и он обещал меня уведомить чрез Вас.

Прощайте, будьте здоровы снова. Амин!

81

С. И. Гальбергу[1]

Сорренто. Октября 21-го 1827-го года.

Хотя Вы пишете, любезнейший Самойла Иванович, что я догадаюсь, что Ваше письмо было писано поутру, в чем крайне ошиблись, я совершенно почел оное за послеобеднейшее, но это не Ваша беда. От дурных погод и сырости я получил нос, прибавив к сему реку По.

Почему Ваше письмо показалось мне точным „Сионским Вестником“ и именно статья о цифрах, Вы помните, которую ни Вы, ни я, ни сам Мышин понять никак не могли, равно как и вся пенсионерская братья читала, нюхала, архитекторы рассчитывали математически, живописцы прибегали к перспективе, но все тщетно. Точно то же действие имели и Ваши 3 наставления, выставленные римскими цифрами, а пузыри, ящичек—арабскими, почему я прочел первое первым, 2-е одиннадцатым, а третье сто одиннадцатым, так: 1, 11, 46, 36, 10, 111. Теперь сами вообразите, какой тарабарщиной мне все это показалось, и только читая в третий раз, я выучил оное в порядке. Вот, милостивый государь, следствие Вашей лености, оставив на этом долгое время без всяких писем, Вы отучили меня читать порядочно.

В течение сего времени я никому не писал и дожидаю окончания виледжатуры [пребывание на даче], тогда я займусь сей тягостной для меня работою, к чему прибавляю благодарность за Ваше письмо к Корсаковой.

А воспитанница Перовской [2] здесь состряпала порядочную штуку. Она, перед отъездом в Рим, изволила в мужском платье убежать к швейцарским офицерам и провела там ночь и на другой день отказала Перовской ехать в Рим, приняв точное намерение остаться в Неаполе (без шуток). Едва ее могли упросить, чтобы она осталась в таком только случае, если найдет место гувернантки, на что она согласилась, но, не получив желаемого ею места, она должна была ехать в Рим. Один неаполитанец меня уверял, что ее, насильно связанную, посадили в карету. Г. Киль, впрочем, говорит, что это неправда. Я писал Вам о ней, ибо здесь пронеслись слухи, будто бы она осталась в Риме, натурально, тем же, чем она хотела быть в Неаполе. Славное воспитание!

Вы не обвиняйте меня в нескладности моего письма, дурные погоды меня совсем с ума свели. В Неаполе я пытал[ся] и греческую обедню слушать, но точно то же вышло, как Сенатор пытался читать бумаги, да еще хуже. Я теперь сижу в Сорренто, уже пятый день, сюда приехал из Амальфи живописец Кецлов, который мне рассказал следующую штуку. В сих местах весь октябрь месяц едят буйволов, и перед смертью сих несчастных животных бесконечно мучают на площадях, травят собаками, бьют и почитают великой радостью, если удастся буйволу кому-либо дать тычка. Таковая травля была в Амальфи, на сие зрелище обыкновенно сбирается множество народу, и тут же явился один благородный человек, которого искали арестовать за сделанное им убийство. В толпе народной он был узнан одним жандармом, который и хотел его арестовать, но был поражен тремя кинжальными ударами. Другой жандарм имел ту же участь, а третьего сразил пистолетным ударом, потом кинулся в дом, выбежал на террасу, пробрался по стене и скрылся в горах. Он объявил своему приятелю, если он услышит, что его арестовали, то бы не верил этим слухам, но верил бы тогда, как услышит, что его убили. Кстати, уж как заговорили о буйволах, надо нечто сказать и о Велкере. Сей муж никак не может переносить морского путешествия

[...] Не надобно ли Вам чулок купить? Здесь, то есть в Сорренто, продают сходно и довольно порядочные бумажные на мою ногу длинные чулки, я плачу 5 карлинов, а полчулка стоит 20 гранов, то напишите мне немедленно, я Вам перешлю с Роберт Антоновичем.

Приберегите картину Корсаковой, у меня и другая готова, избранный ею вид Амальфи, но крайне неудачен, почему я в нерешимости и об этом пункте ей отпишу. Ах! Как я нонешний год обанкрутился картинами. К дурным погодам присоединились и другие обстоятельства, я как будто знал и начал пи-

сать перголату [навес, обвитый виноградом.—*Э. А.*], которую желает иметь графиня Разумовская, и уже подвинул к концу картину, как вдруг поднялся жестокий ветер и моя „перголата“ обрушилась, оную подняли и поставили совсем иначе.

[...] Никогда не смейте хвастать Вашим письмом, что оно длинное, правда, у Вас на странице строчек больше, зато ни одна строчка до конца не дописана, да и письмо Ваше похоже на ту проповедь, в которой куча текс[т]ов и ссылок, так что, отнявши оные, видите конфетный билет [...]

Вот Вам, вперед не хвастайте выписка[ми] Вашего письма к Корсаковой, равно как и письмо от Подчатского я в счет не ставлю, и письмо Ваше коротко, но всегда и во всякое время, и на всяк час, хотя бы оное было и в одну строчку, мне несказанно приятно. А что я вздор горожу: da nehmen Sie nicht das Übel [не обижайтесь]. Прощайте, будьте здоровы и веселы, этого Вам желает от всего сердца

Ваш благосклонный *С. Щедрин.*

Сорренто. Октября 21-го 1827-го года.

Кланяйтесь всем. Варва.[ра] Алексеевна со всеми своими страданиями советует жениться. Мое единственное утешение холостая жизнь, а Вас уж так в число будущих женатых ставят. Ради бога, не навязывайте на себя эту обузу. Что сталось с нашими питерцами, нет ли какого известия? Они слишком немилосердны, по целому году оставляют без строчки, это ужасно! Кланяйтесь Льву Кирилловичу[3]. Каков Марков? [...]

82

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Октября 30-го. [1827 год*]

Наконец я добрался до Неаполя и первое свободное время употребляю на письменную работу, чтобы оправдаться перед Вами и загладить мою вину двухлистовым письмом. Здесь есть новости, главнейшая и самая для меня печальная есть та, что Ваши два письма потеряны на пути из Неаполя в Амальфи, но я еще не теряю надежды оные получить, ибо Роберт Антонович оные застраховал. Но если же оные не найдутся, то я буду просить Вас сделать мне хоть екстракт из оных.

Я приехал в субботу, около полудня, вечером меня затащил один неаполитанский художник в театр С. Карлино. Смотря в ложи, я изумился, увидевши князя Гагарина со своей фамилией. Сегодня я только мог застать его дома, и сего же дня он пожелал быть у меня, видеть картины, хотя вовсе неоконченные и даже в расстроенном положении. Он говорил о многом, но для нас ничего, кажется, нет полезного, да кажется, как будто мало и думают.

Я ожидал, как Вы видели выше из моего письма, выговора от Президента, но и того нет. Беда не велика! Дурные погоды, выгнавши меня из Амальфи, загладили свою вину хотя тем, что доставили мне удовольствие видеть неаполитанскую експозицию. Я нашел художников неаполитанских не столь дурными, как про них говорят, хотя лучшие работы принадлежат иностранцам, и я долгом почитаю пробежать для Вас ету експозицию, как можно сокращеннее, касаясь больше предметов по моей части.

Первая зала наполнена работами учеников, как-то копии и рисунки с натуры, которые я бегом пробежал, ибо скучно было припомнить прошедшие времена, когда и сам был обязан поневоле или по воле делать то же. В другой зале продолжаются копии и рисунки весьма дурные и заключаются портретом в рост г. Антона, который представлен на лошади верхом. Ужасный ветер заворотил плащ его меховым воротником на грудь, концы плаща поднялись вверх, на коих и написана голова дурно и непохоже. Спущаясь с головы ниже и ниже, глаз останавливается на сапогах, прекрасно написанных, околичности нехороши, и лошадь неудачна. Это труды Ганслира [2]. За сим портретом стоят анатомические части, сделанные из воску, и над оными висят картины маленькие и большие, равно худые и прескверные, но сквернее и гаже ничего нет, как пейзажи Максимиллиана Франка [3], который завалил все стены и углы впотьмах и в свету своей отвратительной работой, которую он ценит весьма высоко, и сказывают, что требует за одну из оных картин 150 луидоров, а некоторые говорят, будто бы 400. Но это, я полагаю, насмешка. Дальше опять картины Корто, которые Вы, может быть, видели в Риме. Лучшие по сей части пейзажной, и можно сказать из всей експозиции, есть картина г. Питлоо — один представляет вид Еболи, другая Пестумские храмы. Легкая кисть, приятный колер, хорошая пропорция в храмах делают честь художнику. Около сих картин мелькают цветы, довольно хорошо написанные, тут же висит небольшая картинка Кателя, на которую взглянешь — покажется хорошей, потом взглянешь во второй раз — кажется хуже, в третий — еще хуже и так далее, все хуже и хуже, с тем и прочь отойдешь. Небольшая картина спящей [...] г. Ганслира очень мне понравилась.

Неаполь. Ноября 5-го.

Уже неделя, как я приехал в Неаполь, и тотчас начал было к Вам писать, но должен был оставить от досады, Ваши два письма потеряны. Роберт Антонович, пославши мне оные в Амальфи, хотя и застраховал, но до сей поры нет никакого известия, почему и прошу Вас [...] сделать мне из оных [экстракт.— *Э. А.*] о делах более нужных, а если есть пустяки, которые Вам также покажутся важными, то к чему же оные пропускать.

Крайне меня удивил приезд князя Гагарина, я никак этого не ожидал. Он был у меня и изъявил иметь большую картину „Вид Амальфи“, но эта речь впереди, а настоящая, ах! увы! Меня начнут на днях фриксировать или, по-русски сказать, лудить и попросту, без затей втирать меркурии в ноги. Лечение сие должно продолжаться около трех месяцев, после чего я должен буду приехать в Рим для моих дел. Тяжело, любезнейший Самойла Иванович, выслушивать приговор докторов [...] Роберт Антонович, дней через 15, полагает отпра[виться] в Рим с курьером, почему человека с собой взять не может, а полагает отправить его прежде, почему и просит Вас, буде возможно, дать ему пристанище с вещьми, если это Вас не беспокоит, у Вас ли в дому или где в другом месте, тем более, что он рассчитывает приехать с ним в один день. Итак, постараюсь нанять для него вотюрина, то и прошу Вас немедленно о том уведомить, чтобы он мог по приезде его пойти с вещами, а также просить, если случится ходить около тех мест, где живет Министр, не найдется какая-либо маленькая художническая квартирка на солнце для него, то держать оную на примете, не нанимая и не говоря ни слова, ибо он сам увидит, что для него пригодно.

Также прошу всепокорнейше осведомиться о деле моем с графиней Шуваловой у Деликатия, и если он не имеет никакого поручения от князя Долгорукова, то возьмите от него адрес, как к ней писать. Князь Гагарин, со своей стороны, также у него хотел спросить и полагает, что он с ней в переписке. Хотел было Вам писать нечто об експозиции неаполитанской, но история слишком длинна, если не уморят, то перескажу лучше на словах.

Будьте здоровы. Остаюсь Ваш *Сильвестр Щедрин.*

Посылаю Вам и тот поллиста, который отодрал, чтобы кинуть, читайте и перечитывайте!

83

С. И. Гальбергу[1]

[Неаполь.] Декабря 25. [1827 год *]

День рождения Вседержителя нашего Иисуса Христа, которому теперь пошел 1827 годок.

Сию минуту получил Ваше письмо, на которое спешу ответить или, лучше сказать, писать, ибо ничего путного сказать не имею. Благодарю Вас за известие о работе графини Шуваловой. Между нами будь сказано, мне бы не очень хотелось, чтобы она сама приняла бы картины, в таком случае я должен написать что-нибудь дамское, то есть городской видик, где много человечков. По-моему бы лучше я бы ей отпустил море, скалы, утесы и проч. —

но быть по сему! Вместе с Вашим письмом я получил не тот большой конверт, о котором Вам Десан[ти] говорил: „Попросите письмецо от В. А. Перовского“, который меня уведомляет о известном деле с Обществом, но это, как мне кажется, вовсе не от Общества, а просто от В. А. Перовского, которому в компанию пошел Кикин[2]. Они согласны на все условия, мною предложенные, даже сбавляют число картин с тем, чтобы тут были две картины отличительные своей мерой и отделкой, картины, как они называют, капитальные. Но как нет радости без горести, то и меня оная настигла в получении кучи писем. Я получил также от Бахметьева настоящего, не того, которым я пугал Бруни, который мне напоминает на тоненькой бумажке, тоненько, тщательно написано, о картине, которую ему должен, где он, между прочим, уведомляет, что сам будет в чужие краи. Увы! деньги заплачены и уже мною истрачены. Как тяжело моему сердцу писать картину, чтобы поддержать имя честного человека.

Радуюсь Вашему делу с Аракчеевым[3], желаю, чтобы оное сбылось на самом деле. Кажется, этакой дубина обманывать и шарлатанить не будет. А мой совет — покамест имеете дело в чужих краях, пользуйтесь! Конец все-таки заключится, что будете в России, это должность честного человека. Адъюнкт-профессорство от Вас не уйдет, это на роду написано, а женитьбу пошлите к [...] Одно только требуйте, чтобы во всяком случае Вам говорили при заказах: „да или нет!“

А я, милостивый государь Ваш, не знаю, когда буду в Риме, крайне хочется. Мне кажется, что г. Маркев, или Марков, должен быть прекрасен для обеда, я себе живо представляю, как он вышел от Леприя прежде всех! Ах! какая потеха, лишние фульеты явились бы тотчас на столе. Мне кажется, я его живо себе представляю, он должен в себя вмещать в разговоре Мартынова и Матвеева, в жестах Сазонова, в експрессии А. Тона, в неповоротливости Орловского, прибавляя нечто Анкудиновского. Мне кажется, он произносит смешно все собственные имена иностранные. О римляне! цыганьте питерца! Я вижу, как Зассен уткнулся носом в тарелку, смеется, как К. Тон вытянул руку [далее неразборчиво. — *Э. А.*] говорит: „Эк он смешит“. Басин правой рукой, средним пальцем, трет по ладони левой руки и не знает, чью сторону принять, сурьезничать или смеяться, Карл жует последний кусок бифштекса и спрашивает другой, от удовольствия и подбородок весь в жиру. Вы чмокнули, опустя голову, дожидаетесь, чтобы утихли и чтобы сказать Ваше мнение, но тшетно, Вы чешете спину о стул, наконец утихают, и все оканчивается хохотом. А я, может быть, и не буду иметь этого удовольствия или, по крайней мере, не скоро. Я Вам писал, что начал курс лечения, доктор, как я вижу, мне солгал, сказав мне, что придется продлить три

месяца. Но теперь по расчету выходит, что оная [болезнь] продлится до марта месяца, и если это захватит у меня март, то я уже не буду. Тогда мне выгодно пробыть лето здесь и потом, что бог даст.

Вы мне обещали писать об ультрамарине, но ничего не упоминаете, ась! Бедный Сазонов, он даже никого и обвинить не может, он себя готовил не для Петербурга, где надо делать больше вздору и кидать пыль в глаза, отчего он вовсе отказался. К тому же, его мнения и вспыльчивый характер, во всякое время бывал без рассуждения, и всегда не к месту, и мудрено, чтобы его дела могли бы принять вид когда-либо с выгодной стороны.

Кстати, едва не позабыл, расскажите нашим г. живописцам о водяном лаке для прикрытия свежих картин, для освежения оных от тусклости, которая делает не совсем приятный вид. Может быть, они знают этот состав, но я до сей поры не видал никого, чтобы оный был употребляем. Я испытал оный и нашел очень хорошим. Взять гуммирабико одну унцию, одну унцию сахару и облить оный кипятком воды в две унции, потом взять чесноку головку, истолочь оный и облить также кипятком, процедя состав, хотя это неучтиво припахивает, но служит предохранением от мухоедения. С картиною же поступить следующим образом: взять луковицу, разрезав оную, тереть картину, чтобы снять с оной жир, или уксусу с водой, вымыть оную. В первом и во втором случае дать оной высохнуть, потом и прикрыть вышереченным составом. Свойство сего лака есть то же, как обыкновенного лака, употребляемого живописцами, с тою разницею, что оный так долго не может держаться, но за [то] не портит свежей картины, сверх того, имеет ту удобность, если кто-либо захочет писать, то стоит только ту часть смыть водой.

Вы меня смешите препорядочно Вашими письмами, жаль, что моя благодарность не есть благодарность царя и ни к чему не служит, даже в послужной список Вам этой благодарности не включат, за что я признаюсь в моем желании написать Вам письмо, какое-нибудь такое, как Сазонов говорит, „со скусцом“, что хоть в журнал какой-либо питерский! Но как к делу, не тут-то было, все пошло к черту, и таковая дрянь в голову лезет, что и самому Митрофанушке таковая не грезилась.

Сегодня я только вспомнил, что В. А. Перовский всем кланяется, в особенности Вам, Кар.[лу] Брюлло и Бруни. Я не могу понять, отчего на конверте письма, полученного от Перовского, явилась Ваша рука??? Еще раз прочитав Ваше письмо, и именно попалась подлейшая Питерская таможня, возможно ли так бессовестно грабить? Мне пришло на мысль, что нельзя ли нам сообща просить в Петербург хотя Президента, чтобы для нас делали некоторую льготу в Таможне, точно так, как в чужих краях дают lascia passare [пропуск], в противном случае нет возможности, всякий пошлет к черту

картины и статуи. Что до меня касается, буду писать по пословице: попытка не шутка, а спрос не беда.

Остаюсь тот, как и в прежних письмах *С. Щедрин.*

С Новым годом поздравляю всех и каждого порознь и вкупе. Роберт Антоновичу пишу, Волкову, Фанелли[4] или Фланелли и многим другим [...] Масуччио кланяюсь и поздравляю с Новым годом. Погода прегадкая.

1828

84

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Февраля 8-го 1828 г.

Не Вам, не Вам, а мне, любезнейший Самойла Иванович, должно просить прощения за мою неслыханную неисправность. Приготовив несколько писем, одно за другим, я позабыл или за недосугом не отдавал на почту. Письма старелись и уже не годны становились для Вашего благородия[...]

Хотя вовсе не о чем писать путного, но все-таки найдется поболтать о чем-либо. Итак, начну с письма моего брата. В коротких словах: Глинка женится на купчихе и берет приданого чистыми деньгами 150 000 т., Сазонов здоров, дела Мейера весьма поправились, а Крылов таскается по улицам, не платит. На експозиции отличались работы: Портрет Екатерины Второй, выгравированный Уткиным, портреты Кипренского и картина Воробьева[2] „Вид Мертвого моря" и куча портретов живописца Дау[3]. Ученические работы вообще были слабы. В другом письме, что было Вам известно, только Вы мне пишете о медали, но ничего не пишете о кресте, который мне послала матушка, уже не потерял ли его препочтенный податель посылки? Удивляюсь, как пришло в голову брату послать, и ужель я оную буду носить.

Здесь находится теперь французский Геркулес и показывает свою силу на Королевском театре. Сначала распустили о нем слухи неимоверные, но теперь очень охладели, вы, вероятно, его видели в Риме? Следовательно, об оном замолчу.

Етюд, который я Вам послал в виде обертки, тот самый, который так нравится князю Гагарину и на котором фиолетовое небо, розовый город и голубая вода, сей етюд, прошу Вас, буде возможно, переслать ко мне с каким-либо путешественником, свернув оный или сложив как угодно, ибо оный окончен быть не может по причине дурного холста, а мне только нужно с оного сделать подмалевок. Сию просьбу прошу исполнить в таком только случае, если пересылка будет удобна и необременительна для везущей особы, в противном

случае нет никакой беды, если я оный и не получу. Вторая просьба состоит в следующем, чтобы не затерялся мой етюд „Каскады Субиакские“, находящийся у Гофмана[4]. Если ему оный не нужен, то приложите его к моим оставшимся вещам, только бы оный чтобы не потерялся.

По нашедшей на меня крайней лености Вы получаете это письмо, ибо-де кисть в руках не держится, так пробую держать перо, и то чрез силу. Чур, только не брать примера с меня, и эта лень всегда некстати находит. Теперь навязался на меня один неаполитанец, живописец, попросив сначала, чтобы я ему дал скопировать какой-либо етюд. Я согласился, потом навязался и у меня работать, ибо-де на его квартире темно, и теперь безвыходно у меня и без умолку уверяет, что великая честь иметь ученика. Я же с моей стороны „non mi incanio niente“ [меня ничуть это не сердит], уверяя, что совсем этой чести мне не нужно, а чтобы продолжал таким образом, то и он, со своей стороны, должен чем-либо отслуживать [...] Сей знаменитый живописец прибавляет к вышеупомянутой лености досаду. Представьте себе, когда лень, то значит во всем и ко всему лень, а он мне лезет со своей картиной, чтобы оную поправлять, и я все это терплю [...] Письмо это Вам доставит г. Карелли[5], неаполитанский живописец, который уже два месяца собирается ехать в Рим. Сказывают, у вас в Риме скука смертельная, холодно и сыро. Кланяйтесь всем нашим разнородным художникам, не оставьте продолжением питерских новостей, хотя оные уже очень состарились. При всем том приятно что-либо услышать. Прощайте, будьте здоровы.

С сим остаюсь *Сильвестр Щедрин.*

Неаполь. Февраля 8-го 1828 г.

Поклонитесь от меня Льву Кирилловичу, письмо его мною получено. Если я не пишу, то это по крайной лености. Адрес мой: S^t Lucia № 31 al primo piano [на первом этаже].

85

С. И. Гальбергу[1]

[Неаполь.] Февраля 26-го [1828 г.]

Скажите, пожалуйста, любезнейший Самойла Иванович, что стало с моим письмом из Петербурга, о котором Вы мне писали? Вчера я получил посылки с Катаказием[2], но тщетно избегал всех служащих при Министерстве, полагая найти мое письмо, уже не потерялось ли? Если же оное у Вас, то перешлите, вот мой адрес: S^t Lucia № 31. Я Вам не писал, потому что полагал, что Вы получили мое письмо, посланное с живописцем Кареллием, равно и к Его прево.[сходительству], где и был оставлен мой адрес.

Что же касается до Ваших писем, то я получал оные исправно, ибо почтальоны меня знают, почему меня отыскивают. Более Вам ничего писать не стану, ни о нашем бриге „Ахиллесе“, ни же о наших офицерах, находящихся на оном. У меня в голове только и бродит про одно письмо, и по тех пор ничего путного вздору писать не стану, покамест оное не прочту.

Мой поклон Его Превосход. Роберт Антоновичу.

С сим остаюсь *С. Щедрин.*

[Неаполь.] Февраля 26-го, 1823[3].

86

А. Ф. Щедрину[1]

Неаполь. Марта 13-го 1828 года.

Письмо твое истинное и похвальное, любезный брат, я получил довольно поздно, оное мне навело порядочный страх, ибо я был уведомлен Гальбергом, что-де есть письмо ко мне из Питера, и ниоткуда оного не мог получить. Наконец, доставил мне оное один римлянин. Но прежде, нежели приступлю отвечать на оное, уведомляю, что посылка, крест и медаль мною получены со всею исправностью, за что приношу мою тысячекратную благодарность. Жаль, что ты на это много издержал, а пуще футляр, который теперь служит украшением моего стола.

Не знаю, каким образом писать на твое требование картинок, ты засмеешься, как я скажу просто только: сделаю? Посему к этому „сделаю“ прибавляю, непременно „и ей, ей!“ и уже начал рисунок для девицы Олениной[2] и на днях надеюсь отправить к Олениным в Рим, ибо оные, как сказывают, скоро намереваются отправиться в Россию, жаль, что албаум слишком мал, ничего путного сделать нельзя. Также и Василию Ивановичу[3] сделаю и ей, ей! сделаю, если только ему угодно будет переменить сюжет, ибо виду церкви С. Петра у меня нет ни рисунка, ни етюда. Что же касает [ся] до какого-либо виду неаполитанского, то все к его услугам и заключаю еще повторением: сделаю! и если на этот счет что-либо он захочет сказать, то уверен, уже во всяком случае, могу избрать для него картину из числа мною уже оконченных.

Ты сам ясно можешь видеть, что насколько меня не окружил В. А. Перовский, впрочем, я ему писал таким образом, что представляю совершенно на его волю, и для меня все равно, у него ли деньги будут храниться или в другом месте, тем более, что до сей поры еще на оные не имел никакого права, ибо мои картины все только в начале, следовательно, в честности сего человека я никак сумневаться не могу. Что же дальше будет, меня уведоми. Касательно же других особ, в том числе и П. А. Оленина[4], то обещать ничего не могу, прежде как удовлетворю особ, мне заказавших, и в течение будуще-

го лета надеюсь облегчить себя от картины. Тогда уже отдамся на твой произвол, кому ты будешь назначать прежде по какому-либо случаю, для тебя выгодному, но не так же и прытко, ибо все еще много останется дела. Тем более что на закрепу оставляю четыре большие картины, чтобы кончить тем одним разом все болтанье, то мне все советуют послать какую-либо картинку нонешней Императрице[5], и я никак собраться не могу.

Март месяц здесь немножко по своему обыкновению припаливает, но до сей поры погода стояла божественная, можно сказать, совершенная весна, а русских никого нет, ожидают многих из Флоренции. Карнавал здесь провел бриг русский „Ахиллес", пришедший из Мальты для принятия курьера. Я познакомился со всеми офицерами, предобрые люди, только денежки швыряют по-русски и совершенно по пустякам. Из всего экипажу никто ни слова не знает ни на каком иностранном языке. Между прочим, я видел наших матросов, разговаривающих с неаполитанцами, про что и как они говорят, я понять не могу! На вопрос мой, понимает ли он неаполитанцев? Матрос мне ответил: „Как же, сударь, ведь я живой человек!" и точно безошибочно все перескажет. Всякого во фраке они называют немцем и обо мне докладывали: „приехал немец, что по-русски говорит". В Мальте они, сказывают, в великой дружбе с англичанами, и в театре в самой глубокой тишине слышны бывают голоса пьяных английских матросов: „добра русска!". Написал бы и больше о всех рассказах, но того и гляди, что за другой лист придется приниматься. В заключение скажу, что мне был подарен офицерами турецкий пистолет, взятый с турецкого судна, и кучу мальтийских цигар, что здесь есть вещь весьма лакомая, хотя я и не курильщик, однако же иногда находит охота выпускать дым изо рта от скуки, а пуще как нахожусь за городом. Обедая часто на бриге, я имел удовольствие после 10 лет пробовать квас, щи и черный хлеб. Первое мне очень кажется невкусно.

Цалую матушку, сестрицу, Василия Ивановича и всех племянников, желаю быть здоровыми и веселья. И с сим остаюсь

брат твой *Сильв. Щедрин.*

Неаполь. 13-го марта но. ст. 1828-го года.

На днях я получил письмо от Львова, который мне пишет о картинах, что он оных не получал. Вероятно, письмо его было послано прежде получения картин. Что же касается до Брюллова, то Гальберг мне пишет, что его картина не готова, и я предоставляю самому Брюллову писать к Львову, ибо нахожусь в Неаполе, а от Брюллова никогда письма не дождешься. Я остаюсь должен Львову по последней комиссии, им возложенной на меня, 32 червонца, которые он приказал употребить на заказы албаумных рисунков для

его жены, но как некоторым художникам. Если цены довольно высоки, то я не смею оные заказывать, к тому же опасаюсь сим навлечь его неудовольствие. О сем я ему писал (хорошенько не помню), только дело состоит в следующем: я ему пишу и прошу, чтобы он решил, угодно ли ему будет, чтобы эти деньги ему были возвращены в Петербурге, то я буду писать В. А. Перовскому о выдаче оных. Если деньги от В. А. Перовского ты получишь и если Львов оные захочет иметь, так ты выдай. Странное дело, где находится полковник Шатилов? Я ему дал письмо к тебе, и картина для него совершенно готова. На днях я надеюсь оную выслать в Рим для дальнейшего отправления.

Сюда набралась теперь куча силачей, которые на всех театрах показывают свою силу один перед другим. Из Рима я имею известия, что многие наши господа художники получили царские милости. Больше всего меня радует, что Бруни сделан пенсионером на пять лет. Одному только Гальбергу куча обещаний, куча монументов и ниоткуда нет толку, один Габерцеттель только жалуется, что его обижают, между тем как продолжили его пенсион еще на один год. Странный человек, никем не любим, никого из наших не пущает в свое ателье, выключая французов.

87

С. И. Гальбергу [1]

Неаполь. Марта 13-го 1828 г.

Не знаю, с чего начать письмо, любезнейший Самойла Иванович, выпискою ли из письма брата или браниться за последнее от Вас письмо, которое пришло совершенно по пустякам, и я должен был читать прескучную приказную бумагу. Но в этом Вы не виноваты, и я смягчаюсь, ибо брат ко мне давно писал, что картины Львова уже получены.

Вот Вам нечто из письма моего брата: „Штат наш окончен, но еще не утвержден, в нем есть прекрасное положение для художников, находящихся в чужих краях и заслуживших там хорошую репютацию [2]. Я тебе пишу,— пишет брат,— не могу тебе написать все в подробностях до утверждения, молись только богу, как и все мы молимся, чтобы штат наш устоялся. В Петербурге заводится новое Общество в пользу русских художников—несколько особ кладут часть капитала, чтобы заказывать разные произведения по всем частям, и по собрании оных будут разыгрывать между собой в лотерею, капитал сей будет простираться ежегодно до 20 000 т. У нас также бывают беспрестанные споры, хорошо ли делают русские художники, что остаются жить в чужих краях? Одни и те же люди, спрашивая, говорят и за и против“. Далее—„Глинка было вздумал жениться и обручиться, да и разобручился, Вои-

нов женился, Токарев идет в честь, Свинцов[3] перестает писать доносы, а Крылов, избави бог, какое премерзкое животное, у всех занимает деньги, кого только может обмануть, твоим деньгам на Крылове ты можешь поклониться", следовательно, и Вы также поклон должны сделать? Еще с братом был странный случай. Государь однажды посетил перестраивающийся Дом Трудолюбия на Васильевском Острову, брат там архитектором, следовательно, он Государю все показывал и получил от него некоторые повеления и замечания. Дня через три он опять приехал, но брата моего там не было, и Государь нашел, что все его замечания выполнены, был доволен и при свидании с Лонгиновым[4] пожелал знать имя того, с кем он говорил. Лонгинов, ничего не зная о свидании моего брата с Государем, ибо тут никого не было из посторонних, полагал, что это был его секретарь Шверин[5]. Государь выхвалял исправность и расторопность, расспрашивал о родстве, где учился, и Лонгинов все описывал родство своего секретаря Шверина и проч. Наконец, Лонгинов дня через два открыл свою ошибку и должен был делать особливую докладную записку с описанием всего родства.

Здесь был русский бриг „Ахиллес". Я познакомился со всеми офицерами, на оном находящимися, предобрые люди, только все кадеты, ни об чем понятия не имеют, никакого языка не знают, мытарют деньги без всякого пути, между тем как ведут жизнь самую монотонную, целое время проводят в спанье, вечер в питье [...] сам капитан всех глупее, всех толще.

Наконец, Вы видите, что я получил письмо чрез г. Меркурия, который мне показался совершенным Синехдохом, он мне сказывал[...] оказывает отличные успехи и чисто выговаривает: Кири и Лейзон, а на латинском языке читает, как Отче наш, Ave Maria. Поздравляю всех с награждениями, в особенности радуюсь сердечно, что бог взмилостивился на сердечного Бруни. Жаль, что не в Риме, он бы не отделался от меня так просто, утешаюсь по крайней мере тем, что теперь он, вероятно, вскорости посетит Неаполь.

Касательно странного обра[щения] с Вами генерала, то я ясно вижу из письма, что это происходит от каких-либо посторонних его мыслей в рассуждении собственных его дел. К тому же он жалуется на скуку и нездоровье, и я никак не полагаю, чтобы он имел что-либо против Вас. Поклонитесь от меня Брюллову и скажите, чтобы он сам писал к Львову в рассуждении картин.

Прошу Вас переслать мне 10 пузырей шифервейзу, заметив Пелюккию, что шифервейз, который он мне пересылает, не так хорош, как то был прежде, и десять (10) пузырей желчи, да пять (5-ть) пузырей gialloscuro d'i Inglittero, да бакану два (2) пузыря, один кармилато, а другой гаранцо, заметив также краскотеру в Via Babuino, что он мне прислал последний бакан такой

жидкий, что на палитре не держался,—все это не к спеху. Если Вам нужны деньги, что моих денег у Вас уже не находится, то прошу уведомить, и я буду просить Роберт Антоновича оставить Вам некоторую сумму.

Поклонитесь генералу, Олениным, я бы желал знать, долго ли пробудут сии последние в Риме. Я бы хотел переслать небольшой рисунок, я так занят, что с утра до вечера с места не встаю. На днях я, можно сказать, вырвался и пошел посетить Винспиеровых, но никого дома не застал, на дороге только встретился с полковником, который мне сказал, что к генералу пришли два пакета, вероятно, от великого князя и уже отправлены в Рим.

С сим остаюсь по-прежнему Ваш *С. Щедрин.*

Неаполь. Марта 13-го 1828 г.

Еще один пузырь желтого светлого бакану да пузырь гомегуту небольшой. Я писал Львову о Брюллове следующее: что как Брюллов нашел нужным сделать в своей картине значительную перемену, почему и не успел окончить к сему времени, впрочем, пусть он теперь сам пишет Львову.

88

С. И. Гальбергу[1]

Неаполь. Марта 25-го 1828 г.

В тот бурный день, который так славно описал Тредьяковский в стихах своих: „четырех сторон гром, а в середине дом"— в тот незабвенный день проходил селением проповедник со служкою. Промокшие до костей, они искали пристанище, чтобы осушить свою тяжелую капуцинскую одежду. Между тем проповедник в предосторожности дал наставление Лаику [прислужнику.— *Э. А.*], чтобы говорить по-латыни, в случае, если им придется ночевать в трахтире, и чтобы простые уши служителей трахтира их не понимали. Но, увы! он не знал, что Лайк был человек темный и ни слова не знал по-латыни. Между тем, слушая обедни, он знал, что почти все оканчивается на „ус", „тус", почему скрыл свое незнание, полагая отделаться от проповедника, вместе с сим показать и трахтирщику свою рысь. Вот представилась им остерия, они просят per lamor del Dio [из любви к богу] пристанище. Трахтирщик не токмо их впустил, но даже провел в свою комнату, где была его жена и дочь, тотчас все семейство снимает с обмокших монахов одежду, сажает их вокруг огня [...] Виноват, Самойла Иванович, начал письмо пустяками, если Вам это уж очень будет противно, то оправдайте Вашего друга, что он помешался от извержения Везувии, которая меня свела с ума своей красотой. Гераков[2] начал свою Российскую историю от своего дому на Литейной и описанием набережной и проч., чему следуя, и я начну извержение Везувии из

моей спальни. 22 числа поутру рано мои двери ходуном ходили, я, лежа в постели, ругал скотину, которая не стучит, а трясет дверьми. Наконец, вышел из терпения, встаю и приготовляюсь сделать выговор невеже, отворяю и никого не нахожу, отворяю окно—нет ветру, смотрю на Везувию, которая уже несколько тому дней начала делать небольшое извержение. Гора курится совсем незначительно. В продолжение дня начало трястись и окошко и ширмы, и около двух часов пополудни вбежал ко мне человек: „che bella cosa! che bella cosa!" [как это красиво! как это красиво!]. Я взглянул в окно и увидел зрелище ни с чем не сравненное, скорей палитру, холст и сделал оному етюд. Более часу стоял ужасный столб дыму, потом помаленьку начал садиться и совсем стих. Все Римские фейерверки, иллюминации, мизереры не стоют в сравнении сего зрелища никакого внимания, словом, бесподобно: non plu altro [и ничего более]. „Non plu altro" стоит также и на афишах Геркулесов, которых здесь теперь трое. Римский Геркулес в присутствии короля вместо силы показал свое бессилие и теперь от такого срама, сказывают, сделался болен, черт с ним!

Меня просил один неаполитанский живописец нарисовать ему польский костюм, мне показалось, что я помню, но как лишь возьмусь за карандаш, то все казак выходит, почему и прошу Вас всепокорнейше попросить кого-нибудь из наших нарисовать, в меру письма, и мне переслать, чем меня крайне обяжете. Рисунок же не нужен чистый, какие-нибудь кроки, достаточно будет дать об оном идею, на тоненькой бумаге, приложив к Вашему письму, ведь Вы будете писать? В субботу ожидают большого извержения, по словам неаполитанцев, почему многие иностранцы, полагавшие ехать в Рим, остались, чтобы видеть оное, а мне кажется это трахтирной выдумкой.

Здесь находится русский фрегат, но я на оном еще не был за недосугом, но любуюсь его красотой из окошка. Жаль, что на закрепу не имею ничего сказать, чего-нибудь хорошенького, Лепрского. Кланяюсь всем. К генералу я буду писать, между тем старик дон Гайтан ему делает mille complimenti [тысячу любезностей], а жена дона Луиджи родила двойню мальчиков, из коих один жив, а другой на восьмой день умер. А Вам желаю жить сто лет, да двадцать, несчетные годы.

С сим остаюсь всегдашний *Сильвестр Щедрин.*

Неаполь. Марта 25-го 1828 года.

В то время как я прибавлял по строчке, полагая сегодня за столом у Министра познакомиться с нашими офицерами, как наш фрегат поднял паруса и поплыл.

89

С. И. Гальбергу [1]

[Неаполь. Конец марта. 1828 год *]

Кому же другому [рассказать], как не Вам, любезнейший Самойла Иванович, [что] гнуснейший день [был] для меня 27 марта? Приготовьтесь, я намерен в письме разболтаться не на шутку, лишь бы достало терпения Вам оное читать и не жаловаться, что у Вас глаза и язык корчатся от холоду. Итак, 27-ое число все мне было по пустякам и без толку, но надо знать, как оное началось. Итак, читайте всю подноготную.

Граф Стакельберг меня несколько раз приглашал к себе на вечер, но я никогда не мог иметь этой чести по причине болезни и дурных погод. Наконец в субботу встречаю его в Вилле Реала, где и был им самим приглашен на вечер в понедельник 26-го марта. Сверх того, в тот же день был прислан и человек с вторичным приглашением. Тут уж всякий без меня рассудит, что нельзя было манкировать и нельзя было сослаться ни на здоровье, а того более на погоду, ибо как первое, так и последнее было в порядке. Но теперь Вашему воображению предоставляю рассудить о нашей общей дикости, и что при подобном случае думали бы Вы, прибавив к этой думе одинокую жизнь, от которой я разучился вовсе порядочно изъясняться. „Ах,—говорил Петр Мартос,—зачем меня отец не бил поленом по голове, когда я просился у него в военную службу!“ А я думал, зачем со мной так же не делали, чтобы приучить врать всякий вздор, не краснея. Но, что ни думай, в 9-ть часов надо быть там. Итак, я вынул из комоду все черное и белое, что имел, и начал на себя напяливать. Между тем мне пришла на мысль басенка очень кстати о зайце и лягушках. Заяц крайне жаловался на судьбу, что природа его создала трусом, что всего он боится, что все его пугает, и с сею мыслью он забежал в болото, как вдруг все лягушки переполошились... „ба! ба!—он думает,—такая же беда и от меня другим. Я не один робею!“.

С сею мыслью я выступил из своей берлоги, прифрунтившись, как только мог, с помощью маленького кусочка от разбитого зеркала, и прибыл благополучно в дом Министра. Швейцар, вероятно, меня не узнал и позвонил в колокольчик. Я, испугавшись, как можно шибче пролетел лестницу, опасаясь, чтобы бедного швейцара не побранили за неосторожность. В передней лакеи вскочили и передали один другому мою фамилию, так исковерканную, что если бы я не был один, то никак бы не догадался, что они произносят мое прозвище. За лакеем тотчас и я вступил в комнату. Министр сидел подле карточного столика и, кажется, сделал жест неудовольствия, как будто говоря: „что ты мне об этой сволочи говоришь!“ Между прочим, принял довольно ласково. В другой комнате сидела графиня Стакел., графи. Воронцова и

княжна Голицына и больше не было никого. Я, как быть водится, поклонился, графиня мне два слова сказала, потом обратилась к дамам с вопросом: видели ли они мои картины, „charmante tableaux“ [прекрасные картины]. Тут княжна Голицына взглянула на меня с плеча, а графиня Воронцова посмотрела на меня довольно авантажно, сказав тихо словечко Голицыной, которое я не мог слышать, но ясно видел, что было в мою пользу, и Голицына также мне улыбнулась, и обе поговорили со мной, вот теперь уже дело, кажется, и кончилось, и чтобы избежать болванной фигуры, подошел к столу, где лежали журналы и книги, думая: „вот прекрасная идея что-нибудь почитать“, но, увы! все журналы на английском языке. Я схватил книгу — это История Карамзина, 12 часть, перевод французский Дивова, другая еще толще „Замечания и анекдоты о России“ Сегюра, это мне показалось очень male a proposito [некстати] заняться чтением таких толстых книг. Итак, я возвратился опять в ту же комнату, из которой вышел, и уставил глаза на играющих в вист, радехонек хотя этой придирке, чтобы на что-либо смотреть. Тут начали собираться гости, такие, сякие, незамазаные, пригожие дамы и уроды и явился Роберт Антонович. Но, увы! поговорив с министром, он мне сказал, что уже свое дело кончил и готов отправиться домой, поговорив с одним, с другим, между прочим, с одним по-русски, и тут я узнал, что это наш консул в Палермо. Наш полковник исчез, а я ухватился за консула, а консул, кажется, меня струсил и представлял фигуру гораздо хуже моей. Тут подошел ко мне граф Полье и Меестр, поговорили, народу набралось порядочная куча, и я рискнул пройтиться по другим залам.

Продравшись мимо дам, не удостоил ни одну из них моим взором, имея в голове только найти кого-либо похожего на меня. И представьте мое удивление, я нашел многих рыцарей печального образа и попробовал с некоторыми едва-едва знакомыми кланяться, а те уже со мной и в разговор вступают — „ба, ба! — такая же беда другим. Я не один робею!“. Итак, я дальше, да дальше и уж едва моего консула примечаю, который продолжал стоять в маленькой комнате, а я уж искал быть, где посветлее. Не подумайте, любезнейший, что при этой пышности могу когда-либо забыть моих товарищей. Находясь в большой танцевальной зале, я приметил в углу двери, которые часто отворялись слугами и домашними людьми, при частом открытии дверей я приметил небольшую комнату темную, назначенную, может быть [...] Я с душевным умилением, едва не навернулись слезы на глазах, вообразил, что если бы наша дикая братия находилась здесь, наверное бы завоевала эту кладовую, и только бы изредка делались вылазки за конфектами или мороженой. Я даже вообразил живо положение каждого, как они сговаривались: какой трахтир еще отперт в это время, и куда идти что-нибудь перехватить.

Но эти приятные разговоры прерываются приходом какого-либо чужого человека, отчего наша братия встает с неудовольствием со своих мест и лезут на свет божий, как изгнанные, принимают смелость разойтись все в разные стороны, но невольной силой в минуту все сталкиваются и идут утолять жажду ночную на сон грядущий к баркачу.

Эта приятная мечта была прервана графом Полье (мужем графини Шуваловой), который мне начал рассказывать о намерении ехать завтра рано поутру в окрестности на три дня с графом Меестром. Он мне это говорил таким образом, что я непременно должен был сказать, что я бы с удовольствием их аккомпанировал. Лишь только я успел оное сказать, как он подхватил: „ах! поедемте, „Venez donc, venez donc!“ [поезжайте же, поезжайте же!]. Я бормотал, согласился, и это было причиною всех неудач 27-го числа.

Походивши еще несколько времени, я начал помышлять о ретираде, полагая, что уже час ночи, ежели не более. Лишь вышел в переднюю, все люди перешевелились, некоторые побежали кликать моего слугу, как один голос из угла их успокоил сими словами: “ma non ce nessuno“ [но нет тут никого]. Я, нахлобуча шляпу, поспешил домой, взглянув на часы — только еще было 10 с половиною часов. Легши в постель, я был в ужаснейшем жару, как будто католическая душа в Пургатории [чистилище.—*Э. А.*], промаявшись в в сем положении, наконец уснул.

Утро несчастного дня встретил я резью в животе и поносом, несмотря на это, я начал приготовляться к отъезду, дожидаясь 8 часов и три четверти, как мне было назначено. Между тем ко мне должен был быть последний раз Шмиксер.

Наконец, я медлил, не зная зачем, прихожу к обоим графам, они дожидались и, наконец, уехали. Это мне было досадно, я полагал, по крайней мере, что не потеряю мою меркуриальную лекцию. Прихожу домой, спрашиваю, был ли Шмиксер, мне отвечают—нет еще, а служанка моя встретила его на улице и отказала. Опять досада ;дай же пойду делать визиты, и никого дома не застал, три раза был у моего лекаря и не мог его видеть. Роберт Антоновича также не застал, пошел обедать без аппетита, проел много денег, равно как и пропил, без всякого приятного эффекта, едва не забыл отдать письмо на почту [...]

Пришедши домой, я обрадовался Вашему письму, но, увы! это такая же... как прежде, вдобавок письмо, отправленное мною Смирнову, было вовсе по пустякам, и сегодня я должен еще писать другое о ценах, мне присланных Вами за рисунки. В тот же вечер я получил кашель и жестокий насморк.

90

С. И. Гальбергу[1] [Пуццоли.] Мая 6-го 1828 г.

Любезнейший Самойла Иванович! С чего начать письмо мое? С приезда ли г. Яненки?[2] или с Вашего и моего отъезда? Начну с первого. Г. Яненко по приезде своем тотчас мне сделал визит, в то самое время, как я начал укладываться. Я его никак не узнал и принял бы за доктора Амперта, если бы он не сказал: „Я думаю, Вы меня вспомните?", тогда я его счел за того враля, который был некогда учителем у молодого графа Бутурлина[3] и который чистосердечно признавался, что он очень умен и очень учен. Натурально, в таком положении я прибегнул, как водится: „С кем я имею честь говорить?" Яненко мне очень полюбился, предобрый человек, он нашел, что вид из моего окна очень похож на Красноярск, ему Неаполь очень понравился, только он еще не знает дать преимущество первому с Сибирью и еще находится в нерешимости, и как я отправлялся в Пуццоли, то и его взял с собой, где он и пробыл два дня, и мне его беседа тем более была приятна, что он всю подноготную знает в моем семействе.

Услышавши новость о Вас, оная мне была приятна, да и крайне, крайне неприятна. Нечего расписывать, Ваш отъезд меня злит, и я как будто сиротой останусь в Италии. Надобно же было так случиться, что Вы, получив значительные работы, получили вместе и противуречье одна другой, и неужели никак нельзя переработать, чтобы остаться Вам в Италии для произведения оных.

Получив краски 20 апреля, я приготовил было и письмо с обыкновенною благодарностью за труд, Вами принятый, но письмо осталось неоконченным по многим причинам, недосугом. Одна из сих причин была следующая: за два дня [до] моего отъезда пришел ко мне Миллер[4], пруссак, с французом, по словам которого я видел, что он очень знаком, или какой-либо служащий при Родшильде[5]. Этому французу весьма понравилась одна из моих картин, и он хотел привести Родшильда, хотя я сказал, что эту честь ожидаю поскорее, ибо через два дня сложу все картины и отправлюсь за город. Родшильд не был, и я проклинал, что меня довели донельзя, почему хлопоты от краткости времени удвоились. Наконец я приехал в Пуццоли, на другой день приехал туда же один немец живописец со словами: „Sie werden hier eine Visite haben von eine vornehme Person" [Вас здесь посетит одна знатная особа]. Родшильд сказал одному швейцарцу, живописцу, что он приедет видеть меня в Пуццоли, а этот швейцарец сказал саксонцу, а саксонец сказал мне—русскому, а русский дожидает жида, а жид еще не приезжает, почему русский и не знает, что это все значит. Этот человек меня интересует тем, что у не-

го находится коллекция картин новейших художников—но боюсь продолжать об этом предмете, ибо неприметно могу исписать несколько листов бумаги, тем более, что тут же должен буду пояснить некоторые художнические интриги, в коих аз грешный не принимаю никакого участия, но меня трогают только иногда, как последнюю басовую струну на арфе.

В день моего отъезда я успел еще видеться с княжной Щербатовой[6], которая мне заказала картину, такой же меры, как у князя Гагарина. Других господ русских я никого не видал, хотя и был у графа Шувалова[7] поблагодарить за труд, им принятый для доставления мне красок, но не застал дома.

Разъезжая на ослах по окрестностям Пуццоли с саксонцем, мы нашли в Минисколо только что, так сказать, перед нами открытые две большие мраморные статуи: мужскую и женскую. Вообще это место обещает какого-либо любопытного открытия, хотя сии две фигуры не очень хорошего вкусу, но по малым фрагментам находящимся видно, что это было довольно важное строение, владелец сего места обещает продолжать открытие.

Извините меня перед Басиным, что я ему не отвечал на его письмо. Мне иногда бывает крайняя лень, прибавьте к оному, если найду какие-либо монеты, по ценам, им назначенным, не премину взять. Но также опасаюсь, чтобы не прислать тех же, какие у него находятся, зная, что Роберт Антонович ему оных много покупал. Еще я Вас просил не показывать картин, мною присланных, и еще вскорости пришлю другие три, которые прошу также держать спрятанными, ибо всем оным будут реплики. Это замечание я делаю потому, что княгиня Щербатова[8] мне сказала, что видела оные. Эти картины, как Краснопольский[9] говорит: „чтобы щи кипели", для того (оные) писаны. Едва я с Вами не увиделся в Риме. Если бы отсюда не уехал Haber und Zettel [Габерцеттель], мне бы пришлось бежать, заругал Неаполь, закритиковал пейзажистов, загримасил, захвалил французов, французские театры и проч. Я молчал и терпел, мы были в тягость один другому, даже его вино мне впрок не пошло. Я состряпал славную устрицу ночью, я думаю, он Вам рассказал о моем ночном падении. Едва не забыл о счетах, Вами присланных, мне ни к чему будет присылать деньги для платы за краски? Вы оные можете вычесть из денег, находящихся у Вас. В противном случае, если Вам что будет неугодно, то напишите, и я сделаю, переведя с Роберт Антоновичем, которому прошу свидетельствовать мое почтение, равно и Олениным. Скажите мне исподтишка, получили ли они мой рисунок в албаум, не спрашивая, впрочем, у них ничего.

Надеюсь, любезнейший Самойла Иванович, что Вы меня не забудете и потешите хотя несколькими строками прежде Вашего отъезда, хотя знаю, что

Вы крайне заняты, но все-таки найдется каких-либо четверть часа свободных, а я всегдашний Ваш писатель и почитатель остаюсь тем же, чем был в Неаполе, равно и в Пуццоли.

Мая 6-го. 1828 г.

С. Щедрин.

91

С. И. Гальбергу [1]

Капри. Июля 12-го 1828 г.

Признаюсь, любезнейший Самойла Иванович, в моей крайней лености, живу в Пуццоли уже два месяца. Вы знаете, если погоды хороши, то какого труда мне стоит взяться за перо? И хотя иногда вовсе ничего не делаю, а все как будто бы совестно заняться приказным делом. Теперь же, напоследок, приготовляю это письмо, ибо послезавтра еду в Неаполь, чтобы отправиться в Капри.

Итак, любезнейший Самойла Иванович, это письмо, может быть, последнее в чужих краях. Как я слышал, вы отправляетесь в нынешнем месяце. Хотя и надеюсь, что наша переписка этим не кончится, но много потеряет, ибо [...] надобно будет экономить бумагу [...]

Я надеюсь, что Вы по приезде в Петербург не оставите меня уведомить и описать всю подноготную, что там происходит, и пуще всего все подробности, прямые и кривые, касательно меня, хотя бы то были ругательства, для меня все будет приятно знать.

Июля 6-го. Я приехал в Неаполь, где и получил письмо Ваше, равно и от брата, но не мог писать Вам за недосугом и крайней жары. На другой день отправился с Роберт Антоновичем в Кастель Амаро сделать визит Марии Яковлевне, откуда и прибыл благополучно в Капри, откуда и пишу или измарываю остаток письма, начатого в Пуццоли.

Действительно, в письме брата есть статья весьма интересная. „Здесь появилась лекарка (так мне пишет брат), которая вылечивает заик, и одного из моих приятелей она вылечила, теперь лечится у нее А. Х. Востоков, он уже менее заикается, и она надеется его вылечить. Она обязывает подпискою не сказывать, каким образом лечит, для меня это весьма приятно. Глинка [лист порван.—*Э. А.*] сказывают, поссорился с Монфераном и потерял место, доставлявшее ему 4000 р. Граф Ливен [2] — Министром просвещения, Иван Прокофьевич [3] умер“,—вот все интересное, что мне пишет брат.

Признаюсь, любезный Самойла Иванович, что Мейер [...], только этой носатой голове может притти в голову писать на лоскутках. Если будете ему отвечать, то не позабудьте дать наставление, что письма-де должны быть писаны на листе и на тонкой и плотной бумаге [...].

Скажите carissimo [дорогому] Бартоломею, что я согласен писать три картины, о коих пишет ему Самарин, но желал бы знать по окончании оных, к кому должен адресоваться, и к тому же мне потребно много времени, ибо имею кучу работ впереди, при всем том займусь оными в самоскорейшем времени, ибо, между нами будь сказано, он мне кажется вернее других.

Прошу Бруния не оставить меня своим покровительством и после Вас принять в свою опеку, а Вам провозглашаю: Addio, и бог знает на сколько времени, прося Вас уведомить меня время от времени о всем, до Вас касающемся, что для меня будет самым любезнейшим знаком Вашей дружбы. Будьте здоровы и счастливы, что Вам желает преданнейший и всем сердцем почитающий

друг Ваш *Сильвестр Щедрин.*

Капри. Июля 12-го 1828 г.

Еще прошу Вас, по прибытии Вашем в Петербург, узнать от е. п. Кикина, примет ли он на себя работу, заказанную мне Перовским, в коей он также сотовариществует, ибо теперь Перовский в походе, и я не знаю, к кому адресоваться. Я Вам пишу об этом, ибо полагая наверное, что Вы с ним по знакомитесь. Я крайне боюсь, чтобы не остаться, как рак на мели.

92

С. И. Гальбергу[1]

Капри. Июля 27-го 1828 г.

Я сегодня принялся писать, любезнейший Самойла Иванович, против моего обыкновения, хотя погода и хороша, но, выпив две бутылки Капрского вина, я сделался неспособен к другим занятьям, к тому же в последнем Вашем истинно [...] письме Вы меня так приструнили отвечать, что я, несмотря на прескверные чернила и перо, что есть мочи пишу, а отвечать ейбогу, не знаю что.

Точно, я подарил Мейеру какой-то Тивольский етюд, и он, мне кажется, оный взял, а если и оставил у меня, то должно следовать по пословице: „что с возу упало, то и пропало“. Если же Вы что заблагорассудите взять себе в память из моих етюдов: siete padrone [будьте хозяином] выбрать, что Вам угодно. И вот из Вашего письма, что я нашел отвечать Вам, но не подумайте, чтобы я этим кончил. Мое пылкое воображение занесет Вас в Капри и заставит Вас вспомнить Дворец Тиберия на неприступной скале с моря, с земли pianio, pianio [тихо, тихо], как говорит Пульчинелли, Вы доберетесь до новых открытий лестниц, коридоров, комнат и даже церкви, как говорит Кустод[2], ибо, по его словам, древние были Cristiane turchi [христиане-турки]. Хотя Вы человек начитанный, но все не знаете некоторых тонких

и партикулярных известий. Вы, может быть, знаете, что к Тиберию пробрался мужик с двумя рыбами, и он в благодарность приказал мужику выцарапать рожу раком?

[...] Уж как жарко, возможности нет, и я точно согласен с жирным капуцином, который в жаркие дни ничего другого не делал, как, сидя без движения, только махался опахалом. Гвардиан, видя монаха, что он не является ни на какой церковной службе, выключая трапезы, посылает ему сказать, чтобы он пришел, по крайней мере, к обедне, но монах объявил, что гвардиан должен быть доволен, что он от жару еще верует в пресвятую Троицу.

Вы отменно хорошо сделали, что распечатали письмо Львова, чем меня избавили от прескучной комиссии. Брат мой пишет, что в Академии Вице-Президент будет граф Толстой, медальер, что Петербург совершенно пуст, погоды скверные и ужасное множество комаров. Государь потребовал Воробьева[3] во Вторую [лист порван.— *Э. А.*] Армию и приказал выдать на экипаж 5000 руб., а о моем деле с Перовским я сел, кажется, как рак на мели. Перовский в армии, а Кикин в Москве и, бог знает, примет ли на себя заказанную мне работу. В противном случае меня это крайне расстроит, и как я должен буду, может быть, сам писать Кикину, то и прошу, спросите Брюллова о его имени и отчестве и как он ему адресовывает письма.

Кланяйтесь Олениным, я просил генерала благодарить Варвару Алексеевну за участие, во мне принимаемое, и за добрый отзыв, который она сделала Президенту. Комиссий же в Петербурге до сей поры никаких не имею, а прошу только исполнить то, что я Вам писал в последнем письме. Будьте здоровы и кланяйтесь товарищам.

С чем и остаюсь ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

Капри. Июля 27-го 1828

93

С. И. Гальбергу[1]

[Альбано. Лето. 1828 год*]

Любезный Самойла Иванович! Я приехал благополучно в Альбано, но посреди дороги благополучно опомнился, что позабыл взять деньги. Г-н Гофман намеревался приехать в Альбано, то попросите его — не возьмет ли он на себя труд мне оные доставить. Деньги же лежат у меня в спальне в столе, на котором лежат естампы. Может быть, случится какая верная оказия, то прошу не оставить, ибо у меня только и есть дней на пять. В столе находится 20 ску[ди], то прошу прислать оные.

С сим остаюсь Ваш друг *С. Щедрин.*

94

С. И. Гальбергу[1]

[Неаполь. Осень. 1828 год*]

Неаполь, то же число, что и у Роберт Антоновича.

Князь мне сказывал, что Басин написал большую картину[2], равно и Габерцеттель, и очень хорошо. Пожалуйста, гоните русских в Неаполь. Что это за немилость, никто не приезжает, как будто бы свет окончился Римом. А я, между тем, ожидаю от Вас обещанного длинного письма и покажу портрет, ах, нет! ошибся, Вашу карикатуру сестрице Роберт Антоновича. Кланяюсь всем.

Помните Вы разговор двух братьев? Нег брат! Нег что? Нег пойдем! Нег куда? Нег воровать! и отец услышал и говорит, а Нег кнут?

1829

95

А. Ф. Щедрину[1]

[Неаполь.] 24 марта. [1829 год.]

Кажется, имею тысячу новостей рассказать тебе, любезный Аполлон, но не знаю, удастся ли? Лишь возьмусь за перо, то из головы как будто сквозным ветром все мысли рассеиваются. Начну по порядку, и если ты найдешь дурной слог или путаницы, то утешься тем, по крайней мере, что за письмо ничего не заплатишь. Отсюда отправляется графиня Самойлова[2], как мила, так хороша собой, почему я это письмо и приготовляю заранее, чтобы тебе успеть рассказать многое и чтобы, по обыкновению, не пропустить оказию вручить графине или ее доктору, тем более, что они едут прямо в Петербург.

Сего 24-го марта великая княгиня[3] оставляет Неаполь, к сожалению всех, кто только имел случай хоть один раз говорить с ее высочеством, почему теперь все русские господа подымаются в Риме говеть и веселиться, а Неаполь вторично опустеет для нашего брата, ибо поневоле должно остаться. Я тебе писал в прошедшем письме о милости, которую ожидал от ее высочества, ибо было говорено, что великой княгине угодно мне заказать. Наконец, на прошедшей неделе, в воскресенье, мне было приказано быть у великой княгини, откуда отправились в Монастырь Командули, лежащий на одной из высоких гор в окрестности Неаполя. На половине дороги должно выйти из кареты и оканчивать путешествие на ослах. И теперь в первый раз я признаюсь, что не могу терпеть путешествия на ослах, ибо со мной, как с [слово неразборчиво.—*Э. А.*] всегда что-либо случится: или я упаду, или осел спотыкнется, или ему вздумается, не уважая седока, валяться, почему я, чтобы избегнуть такой напасти и не насмешить всех какой-либо моей или ослиной шуткой, вздумал идти пешком, тут же меня великая княгиня расспрашивала

о Риме и наших художниках, в Риме находящихся, и проч., и я думал, что дойду прекрасно пешком. Но Д. М. Опочинина[4], несмотря на мои представления и жалобу, что неохотно езжу на ослах, принудила, можно сказать, меня сесть на длинноухого Буцефала, и в первый раз могу похвастать, что моя поездка сошла великолепно и я приехал, как самый лучший ездок, и все благополучно прибыли в Монастырь.

Орден Командульцев есть один из строжайших. Монахи живут маленьким селением, у каждого свой маленький домик, совершенно отдельный и с садом. Они между собой во весь пост ничего не говорят и в обыкновенное время имеют только три дня в неделю, что могут разговаривать. Дальнейшие подробности можешь узнать от Гальберга. Прибыв в монастырь, монахи тотчас предложили — не угодно ли что будет позавтракать, но никто о завтраке и не думал. Прогуливаясь по саду, просматривая виды, должно было расхаживать из одного конца в другой на порядочное расстояние. Между прочим, время было облачно, и обещало установиться и проясниться, почему в ожидании оного великой княгине угодно было спросить что-либо для завтрака, и монахи тотчас разбежались, и завтрак, состоящий из яишницы и малого числа закусок, в одну минуту был готов, но только лишь начали есть, как аппетит у всех пробудился, то и начали спрашивать у монахов — нет ли еще чего, но у бедных монахов ничего другого не было, и они извинялись, что ничего не знали о приезде гостей, в противном случае они бы приготовили. Как вдруг одному монаху пришла блаженная мысль принести козьего молока, но он тотчас возвратился с извинением, что и того сделать не мог, ибо коза в прошедшую ночь умерла от старости, но в замену оного дали хорошей малаги и ликеру. Позавтракав, пустились в дальнейший путь, где по дороге от Командульцев великая княгиня мне выбрала виды наипрекраснейшие, и, к стыду моему, я оных никогда еще не видал, и надобно же было, чтобы сия знатнейшая особа показала бы мне наипрекраснейший вид из Вилла Ригарди. Итак, мне достается писать для ее высочества пять картин неопределенной меры, что остается совершенно на мой произвол. Да, еще угодно было взять великой княгине картину, писанную мною для М. Я. Нарышкиной. За день до отъезда ее высочества я прощался и был принят с отменной благосклонностью. Великая княгиня советовала мне прислать в Петербургскую експозицию какую-либо картину, прибавив, что там много любителей и сам Император очень любит искусства, а также ее высочеству угодно было знать — намерен ли я приехать в Петербург, на что я сказал, что это есть мое непременное намерение и что по окончании моих работ я немедленно возвращусь в Россию. Тут я приметил, что мой ответ как будто бы удивил великую княгиню, после чего ее высочество также расспрашивала и о Брюллове,

и будет ли он также в Россию (Брюллов приехал в Неаполь с графиней Самойловой). Отвечал за Брюллова все, что только нашел приличным, а причину этих вопросов я опишу ниже. Великая княгиня продолжала расспрашивать о Риме и русских художниках, там находящихся, заключила со всевозможной благосклонностью счастливых успехов как художнику и соотечественнику. Жаль только невежеству моему во французском языке, и тем еще более, что великая княгиня прекрасно говорит по-русски.

Однажды я был приглашен на вечер к графу Стакельбергу, где граф Гудович[5] меня встретил сими словами: „Правда ли это, что Вы и Брюллов не хотите никогда возвратиться в Россию?“ Уверил его, что это созершенно ложные рассказы, но он мне никак не хотел сказать, кто это говорил и где, даже не согласился описать росту и приметы особы, находящей удозольствие болтать таковые вздоры, и граф удовольствовался только тем, сказав, что он доволен, услышавши мои мнения, и что этот разговор никаких неприятных последствий иметь не может, но я догадался и в догадке моей не ошибусь.

Кипренский сюда приехал и живет со мной в одном доме. Он очень переменился фигурой, но не переменился в выражениях, очень, очень прекрасно и очень, очень прескверно. Беседа его мне была приятна, он мне рассказывал кучу петербургских новостей, а Брюллов взбаламутился ехать в Россию, но потом переменил и хотел ехать в Рим, а заключил, что остался в Неаполе. Здесь в гавани стоят теперь два брига „Охота“ и „Милосердие“, за недосугом я только вчера после обеда зашел к ним, и они удержали нас до 12 часов ночи, курили русский табак. Марсель, портер и портвейн не сходили со стола. Рассказать ли тебе неслыханную новость, новость, от которой Гальберг оцепенеет. Я не пью вина и отдуваюсь за столом чистой водой, таковое было определение моего лекаря, и я нахожу это очень хорошим для здоровья. Вообрази себе, какую бы я мог получить невесту в Петербурге? Человек в рот хмельного не берет, вот уж жених... вот все, что только успел написать, хотя и начал письмо за пять дней до отъезда г. Самойловой.

Письмо, здесь приложенное, прошу доставить по адресу Н. М. Смирноза, можешь узнать в Иностранной коллегии. Кланяюсь всем и всех цалую родных и знакомых.

С чем и остаюсь брат твой *С. Щедрин.*

96

С. И. Гальбергу[1] [Неаполь. Март. 1829 год].

Что сталось с Вами, любезнейший Самойла Иванович, нет ни слуху, ни духу? Ужель и в Петербурге, сидя на лежанке, у Вас кургутые пальцы, или Вы заиграли в карты? или задумались на флейте в концерте Василия Ивановича?

Ума не приложу, что сталось с Вами, уже не сердитесь ли Вы, что я не отвечал на последнее письмо Ваше из Рима, то есть беда не моя, я оное получил в то время, как Вы уже садились в карету. Шутки в сторону, теперь переписка должна начаться снова и я заключаю с Вами мир и союз наступательный и оборонительный.

Из письма к брату моему Вы усмотрите, что я получил значительную работу от великой княгини и так еще деликатно, что мера оставлена совершенно на мой произвол. Признаюсь, в начале приезда великой княгини я крайне был обескуражен холодностью некоторых особ, находящихся при великой княгине, хотя и не имел нужды в работе, но прискорбно было остаться в небрежении без всякой причины. Даже сам граф Стакельберг, говоривший и обещавший мне много до приезда великой княгини, совершенно наконец смолк, и я остался совершенно забытым после первого моего представления и за лучшее почел вооружиться терпением и не ходил ни к кому. Это было недовольно, и кому-то понадобилось сказать, что у меня нет никаких работ, чтобы показать великой княгине. Между тем у меня вся почти коллекция для Перовского была готова. Наконец, приезжает княгиня Волконская, и тут уж туман начал проясняться. Великая княгиня спросила мои картины, и на другой же день г. Лобштейн[2] мне сказал, что ее величеству угодно, чтобы я написал две большие картины, выбор коих будет сделан самой великой княгиней. Тут уж я начал примечать, что особы, показывающие мне холодность, при встрече где-либо со мной начали протягивать мне руки, между тем я все оставался с моим флегматическим характером, никуда не показывался незваный, и правду истинну сказать, и сам был много виноват, не отдавая визитов самым почтенным дамам, которые посещали мою мастерскую. Но к чему мне эту песню напевать, ведь наш брат как заупрямится, то хуже осла, которого десять человек едва могут стянуть в море покупаться. Но кончить одним словом, чем дальше время проходило, более и более оказывали внимание, и, наконец, при прощании, я был принят с отменной благосклонностью великой княгиней. Из письма к брату Вы услышите некоторый разговор и вопросы, деланные ее высочеством,—вот Вам краткое начертание, которое и заключаю словами Пенглоса: „Все к лучшему!“.

Великая княгиня заняла здесь почти всех художников для своего албаума, я избавил многих художников от интриг, между тем, как ни стараюсь быть в стороне, но все-таки и меня задевают, утешаюсь [?] только тем, что этого избежать никак нельзя, описывать глупости и подлости людские почитаю излишним, и, как будто бы нарочно, все интриганы остались в проигрыше.

Многое бы нашлось, что прибавить, но для того и взял маленький листок, чтобы скорее исписать и не завирать дальше. А Вас прошу не следовать моему

примеру, ибо-де я пишу разом четыре письма, и признаюсь, у меня столько работы, что уже пятый день ничего не делаю, все только думаю, с чего начать, и всякий полагает очень длинный срок, чтоб меня не обременить, всякий говорит: „я вам даю времени год“. В самом деле, год много времени, а как я начну рассчитывать, то altro che [другой] год нужен.

Ах! какие со мной штуки случаются, если бы Вам описывать, конца не будет. При свидании в Петербурге о многом найдется поговорить за стаканом Невской воды. Я уже четвертый месяц как вина не пью, да прилипнет язык Ваш к гортани, если Вы что-либо греховное об этом подумаете. Нет, м. г. геморой просто меня изволит коверкать и врачи запретили приносить жертвы Бахусу[...]

С чем и остаюсь тот же, что был прежде

С. Щедрин.

Кланяюсь всем Вашим.

97

А. Ф. Щедрину[1] Ливорно. 24 августа. [1829 год.]

Вот уже ровно неделя, любезный Аполлон, как я оставил Неаполь, просидев десять лет, можно сказать, на одном месте. Теперь я вояжирую с удовольствием, сидя в спокойной карете, но что лучше всего, [ч]то делаю оное вовсе без издержек и имею все самое лучшее. Я тебе писал о моей болезни, которая была хотя неопасна, но продолжительна и вместе мучительна от страшного свербления по всему телу, которое лишало меня сна и способности заниматься. Все искусство докторов и вся латинская кухня не могли облегчить оной, и она сделала курс свой, как мы проходим курс перспективы. Наконец, в июне месяце оная стала отходить, и тогда лекаря меня послали в Искию пользоваться тамошними минеральными банями, дабы истребить оную совершенно не токмо на настоящее время, но и на предбудущее, ибо болезнь сия меня посетила в течение трех с половиною лет два раза, и сие-то искоренение и было причиною моего путешествия.

Иския была наполнена русскими фамилиями, в том числе пользовались тамошними банями княжна Е. М. Голицына и графиня Е. А. Воронцова. Сии две госпожи намеревались ехать в Швейцарию и предложили мне путешествовать с ними, ибо у них было место в карете. Сначала я поколебался, опасаясь оставить заказанные мне работы, которых накопилось у меня столько, что я не могу придумать, как с оными справиться. Но доктора в один голос приговорили к этому вояжу, уверив, что таковое путешествие принесет мне более пользы, нежели все минеральные бани на свете, и что лучше потерять

время в путешествии, нежели как опять сидеть больным на одном месте, и все будет равно, картины должны остаться неоконченными. Таковые убедительные причины заставили меня согласиться не теряя времени, и все прочие господа и госпожи находили это за необходимость и готовы были оправдать меня перед всеми особами, от меня ожидающими картины, что я таковое путешествие делаю не от пустого рыскания, но для рассеянности, ибо болезнь мою приписывают сидячей жизни, которую я по необходимости несколько лет веду. Что же касается до меня, то я чувствую в оном надобность, ибо, работая беспрестанно, я, как бы сказать, записался, иногда просиживал целые дни за работой, ничего не сделавши, почему я сам по окончании работ намерен был сделать маленькую прогулку, но как работы беспрестанно прибавлялось, то уж и отчаялся, но этот случай свершил неожиданно увенчать мои намерения.

Дорога от Неаполя до Сиены мне уже известна в проезде моем из России в Рим, но от Сиены начинается для меня совершенно новое, ибо дорога взята была на Пизу, город, обративший все мое внимание. Пиза во время Республики вмещала в себе 150 000 жителей, теперь же едва наберется до 18 000, почему сей пространный город кажется совершенной пустыней, улицы регулярны и чисты, домы опрятны и хорошей архитектуры. Кафедральная церковь обращает внимание каждого путешественника. К сожалению, я не мог рассмотреть внутренность оной во всей красоте, ибо оную теперь поправляют, почему многие части заставлены лесами, а картины все закрыты, равно как и прочие украшения. Но что только можно видеть, то все представляет прекраснейшую декорацию. На малое расстояние от церкви приходится знаменитая колокольня, своей наклонностью называемая (Campaniletorto) — по отвесу верх оной наклонен на 15 pieds от фундамента. До сей поры неизвестно — был ли это каприз архитектора, или оная получила таковую наклонность от фундамента, который оседал с одной стороны. Последнее мне кажется вероятнее, ибо внутри оной пол и ступени равно имеют наклонность, а архитекторам можно позволить дурачиться только в наружных частях. Касательно же внутреннего расположения должно соблюсти удобства. Как бы то ни было, колокольня сия уже стоит 600 лет в таком положении. Вышина оной 188 pieds, в 7 ярусов колонн и 193 ступени внутри. La Batisteria находится против главной фасады Кафедральной церкви, строение круглое в готическом вкусе и вся из мрамора. Сюда должно приносить крестить детей, не токмо родившихся в городе, но даже из окрестностей на пять миль в пространстве. Таковые строения находятся во многих итальянских городах.

Campo Santo — кладбище окружено большою стеною, расписанное алфреско разными художниками. Сия живопись потерпела много от сырости. По-

верхность земли на 9 фут привезена из Иерусалима. Сия земля имеет свойство истреблять в 24 часа мертвое тело. Другие церкви в сем городе не заслуживают большого внимания.

Пробывши один день в Пизе, мы через два часа очутились в Ливорно. Сие скорое перенесение делает пустоту Пизы и многолюдство Ливорно гораздо чувствительнее. Здесь все улицы, как в Неаполе, наполнены народом, на главной улице, Via Ferdinanda, вы видите купцов всех наций, все в движении, но для художника здесь нет ничего примечательного, местоположение плоское и нет Кафедральной церкви великолепной, как то я видел в Пизе, все наполнено торгашами. Все товары дешевы, покупай, что хочешь, только ничего не вывози, на заставе все отнимут.

Один лист бумаги не может вместить моего болтанья, почему остановлю описание и начну ругаться. Как можно, ты женился столько времени тому назад и меня не уведомил? Приехавши из Искии, я нашел письмо от Гальберга, который меня в таковой перемене в нашем семействе уведомляет слегка, полагая, что я уже все знаю, и письмо же писано еще в марте месяце. Дня через три я получил и твое письмо с извинением и прочими прикрасами. Гальберг мне пишет, что Мария Ивановна[2] премилая собой, Кипренский то же повторяет, а плешивый Ефимов, с которым я виделся в Риме, прибавляет к красоте еще прекраснейшее воспитание. Все это меня очень радует, и я надеюсь заслужить дружбу моей новой родственницы и ожидаю обещанное ею письмо, если переписка для Марьи Ивановны не будет в тягость, то я тебя отставлю. Одна беда, что мои каракульки никто другой разобрать не может, ка[к] ты да Гальберг. Во всяком случае, я теперь надеюсь иметь почаще от вас известия, полагая, что ты теперь сидишь дома.

Белый распухлый калмык Яненко был милостив ко мне в Италии, посему попроси его от меня—не может ли он хоть в контуре нарисовать портрет Марьи Ивановны, это мне принесет большое удовольствие. Письма же ты можешь адресовать в Неаполь, ибо путешествие наше продлится только до Женевы, где госпожи останутся на месяц, почему я буду иметь время осмотреть всю Швейцарию. Оттуда они отправятся на зиму через Милан, Флоренцию опять в Рим, а я в Неаполь. Сверх того в Неаполе, есть кто будет принимать письма, адресованные на мое имя, и если можно будет, то перешлют мне оные в Женеву.

Сверх того, что я в сем путешествии вижу все города совершенно новые для меня, но эти госпожи столь милостивы ко мне, что рассчитывают все живописные места, чтобы приходилось проезжать днем, ибо они вояжируют по почте и через ночь останавливаются отдыхать, что бывает всегда в лучших городах.

Извини меня перед Гальбергом, что я ему не отвечал по приезде из Искии, будучи занят приготовлением к вояжу. Он мне пишет о деньгах, которые остался должен мне, а ты, между тем, пишешь, что Львов спрашивает долги его ко мне, то я и прошу Гальберга принять уплату Львова на себя, хотя я и не помню, сколько мне Самойла Иванович должен, ибо записка его находится у меня в Неаполе, но полагаю, что наберется 200 с. р., сим он меня крайне обяжет и избавит переводов и хлопот.

Кланяюсь матушке, сестрице, Василию Ивановичу и всем племянникам, равно как и новым твоим родственникам, прося их покорно удостоить меня их вниманием и включить меня в число друзей, полагая, что дальнее расстояние не может оному быть препятствием. Будь здоров и счастлив, того тебе желает брат твой

Сильвестр Щедрин.

Варваре Алексеевне мое глубочайшее почтение, я воспользуюсь ее наставлением и визиты буду отдавать со всей точностью, только никак не женюсь. Я жил с одним влюбленным немцем прошедшего году, как он мне надоел своими вздохами, жаль, что я не могу сделать описание, ибо письмо было бы слишком велико, хотя, впрочем, и забавно. Кланяюсь также всем Гальберговым, Глинке, Сазонову, Мееру и Тону. А. Тона я уже не застал в Риме, он отправился вторично в Париж и, как сказывают, хочет там жениться, да и про Кипренского то же поговаривают. Бруни я видел в Неаполе и в Искии, где он жил с княгинею Зенеидой Волконскою, он также все влюбляется, но только его любовь дальше глаз не касается, то есть очень великопостная.

98

А. Ф. Щедрину [1]

Рим. Декабря 15[?] [1829 году.]

Кажется, ты решился испытывать мое терпение, любезный Аполлон, я начинаю уже думать, что письма до меня не доходят, а теперь бы мне это было крайне приятно. Я сижу в совершенной праздности в Риме, и опять в желтухе. Вояж никакой пользы не принес моему здоровью, и это уже третье действие моей болезни, о которой я многих особ уведомляю, в том числе и Василия Алекс. Перовского, ибо они справедливо негодуют, что я не исполняю их комиссии и не присылаю картины. Беда не моя, я девять месяцев как ничего работать не могу, выключая изредка делывал какие-либо безделицы, совершенно не по своей части, как-то: написал внутренности комнаты в Женеве и в Лозанне. В течение письма ты увидишь, как мало я воспользовался вояжем в Швейцарию.

Мне помнится, я тебе писал из Женевы, куда приехал совершенно желтым. Дурные погоды во время нашего там пребывания много препятствовали к моему выздоровлению. Все окружающие горы женевские были всегда покрыты облаками и лил беспрерывный дождь, к тому же и доктор мне запретил делать поездки за город, представляя, что болезнь моя, вовсе незначительная, могла бы сделаться весьма серьезною от трудов, перемены воздуха и дурных погод. Следовательно, глупо было бы с моей стороны ехать в Шамуки[?]. Пробывши месяц в Женеве, мы отправились в Лозань, тут уже наступили ясные дни, с какими и стало прояснивать и мое лицо, почему я имел время осмотреть все лозанские окрестности, которые вместе приятные и живописные. Пейзажист Алберц[2] мне многое в том помогал; повсюду художники скоро сближаются, какой бы то нации ни было, они, кажется, между собой вовсе не иностранцы. Одно только слово „я также живописец", как вам посыплются кучи предлагаемых услуг. Сие я испытал в нонешнем вояже, хотя по краткости времени и не мог приобрести больших знакомств. Русский язык здесь вещь вовсе не редкая, вы найдете небольшие общества, где все говорят порусски и некоторые довольно хорошо. Тебе это не должно показаться странным, если ты вспомнишь, что Швейцария снабжает Россию гувернерами, гувернантками. Все сии престарелые мадамы и мамзели возвращаются в отечество, и некоторые очень скучают по России. Лозань мне было жалко оставить, там я нашел довольно приятных людей. В последних числах октября месяца мы пустились опять в Италию чрез Симплон.

Проехав Кантон де Вале, изобильный речками, каскадами, всюду представляются прекраснейшие картины, но жители бедны и, кажется, несчастны, дороги узки и не очень хороши, к тому же пошлина сбирается, можно сказать, непомерная с путешественников, и после четырехдневного пути мы остановились ночевать в Брик, городок у подошвы Симплона находящийся, и на другой день стали подыматься на сию знаменитую гору по дороге спокойной, гладкой и живописной, вершина коей покрыта в 2 ар. снегу.

В прекраснейший октябрьский день карету нашу тянули 10 лошадей по Симплонской дороге. Я шел пешком, любуясь сосновыми и еловыми лесами, которые уже 11 лет не видал. На самой вершине Симплона теперь достраивается монастырь, начатый еще Наполеоном монахам Бернардинского ордена. Здание огромное и полезное для человечества. Монахи сии в ненастные и бурные погоды, часто случающиеся здесь, дают пристанище путешественникам всякого звания, сверх того у них есть собаки, приученные отыскивать людей, имеющих несчастье быть заваленными снегом или теряющих дорогу и проч. На сей конец рассказывают много самых чувствительных анекдотов. Человеколюбивая цель сих монахов тронула даже самого Наполеона, который

доставил им большие выгоды. Сторона Симплона к Италии еще живописнее швейцарской.

В трехдневном моем пребывании в Милане я с ног сбил Сервитора ди Пиацца. Кафедральная церковь, конечно, еще одно из чудес света и столь испещрена скуль[п]турной работой снаружи, что я ничего запомнить не могу, и мне кажется, я оную видел во сне. Тайная вечерь Leonardo da Vinci остается теперь тайною, все стерто, так что нельзя иметь понятие об оном. Театр La Scala меня не удивил после Неаполитанского, Migniare Ajutz [слово неразборчиво.—*Э. А.*]

Лучшие здесь живописцы—гравер Lunghi[3] имеет большую репутацию, не по пустякам. Здесь здоровье мое совсем было поправилось, и я непременно полагал в Неаполь приехать здоровым, но большое движение, которое мною употреблено, чтобы видеть все в короткое время, имело дурные последствия.

Дорога из Милана до Болонии вовсе не живописна, местоположение плоское и монотонное. В Болонию мы приехали в 11 часов и захотели пробыть там остаток дня. Я тотчас побежал в галерею, которой не видел в приезд мой из России. Che bella! Casa, che bella casa! [Как прекрасно, как прекрасно!]. Я ничего подобного не видал. Domenichino, Guido Reni, mamma mia, che bella casa! [о мать моя, как прекрасно!], кто не видел Болонской галереи, не может иметь понятия о сих знаменитых художниках, mamma mia, che bella casa! Жаль, что я позабыл имя галереи, принадлежащей одному маркизу, имя которого я нарочно записал, дабы давать наставление приятелям, которые приезжают на короткое время в Болонию, не ходить в оную. Десять комнат уставлены картинами, одна одной хуже. Добрый маркиз оставил в духовной приказание, чтобы его наследники не смели бы продавать из оной картины и чтобы галерея всегда была открыта публике. Первого ему нечего было бояться, надобно быть совершенно сумасшедшим, чтобы что-либо оттуда купить, а от второго он лежал бы спокойно в земле. По его духовной видно, что он добрый человек, а всякий потерявший время за его коллекцией загибает ему баранку при выходе. Ты можешь заключить из сего: в первой зале находятся старинной живописи во времена Джиотта и еще прежде писанные на золотом грунте, кустод показывает мне одну из самых старинных, называя греческой живописью. Подписи у некоторых я прочитал только и сам не догадался от рассеянности, что я оные разбираю. Отошедши, мне пришло в голову, что я по-гречески ни слова не понимаю, а это просто было по-славянски, то есть это не что иное, как порядочная суздальская живопись. Потеряв лучшее время за сей негодной галереей, мне другого ничего видеть не оставалось, как кладбище, огромнейшее строение, и могло бы быть очень интересно, если бы скул[ьп]турная работа была бы получше.

Как ни сокращаю письмо, а все ужасно растянулось и еще осталось сказать что-либо о Флоренции, о которой, впрочем, так много говорят и пишут, к тому же, кто из наших художников не знает оной? Меня фраппировала слава Бенвенутто[4], живописца, имеющего обширную репутацию. Не могу добиться, чем он оную приобрел? Я видел в некоторых домах его портреты очень неудачные. Теперь видел в Палаццо Питти во Флоренции две комнаты, бездарно испачканные им алфреско. Не родись ни хорош и ни пригож, а родись счастлив. Бенвенутто теперь расписывает купол в Капелле Медичи сов. 75.000 ск. стоют только леса, чтобы поддерживать эт[от] необычайный талант, и он как Микель Анже[ло] никому оного не показывает, а для меня, что я видел, то уже довольно, и ничего ни видеть, ни слышать о нем не хочу!

Сколько кратко я тебе ни описал мое путешествие, все же ты можешь видеть, сколько я должен был бегать, чтобы осмотреть вещи для меня новые, и, как выше сказал о дурных последствиях моей болезни, оная опять открылась на дороге к Риму, почему я должен остаться в Риме для отдыху и в конце нонешнего месяца отправиться в Неаполь, ибо болезнь стала помаленьку отходить, а неаполитанский мой доктор меня ожидает с обещанием непременно вылечить, чтобы оная впредь не приходила, чего я и сам надеюсь, ибо никакой боли ни в чем не чувствую, все натуральные нужды в порядке, одно только проклятое свербление по телу надоедает.

Рим. Декабря 15[?] [1829 году.]

Любящий брат *С. Щедрин.*

В Риме я застал наших господ, играющих в бостон ввечеру, один одного хуже, и в страшных спорах. Брюллов, как я вам, думаю, известно, сделан кавалером, и, как кажется, это отличие беспримерное. Все жалуются на Гальберга, что он ничего не пишет, а более всех Зассен, и имеет на это право. Никто из них не переменился, никто не постарел, только живут уже не так весело и часто вспоминают об утекших годах. Мне это не столь приметно, ибо я давно уже отдалился от них. Около трех недель, что я здесь, и никак не могу видеться с Марковым, кажется, он от меня бегает. Кланяйтесь Гальберговым, Сазонову и Глинке и прочим знакомым. Целую руку матушке.

Василия Ивановича и Елизавету Феодосеевну, со всеми домочадцами, поздравляю с Новым годом и пою им многая лета, равно и Марие Ивановне. В некоторых домах в моем путешествии я находил мои картины первых годов моего пребывания в чужих краях, как гадки! Если бы был богат, скупил бы оные, впрочем, видеть свои старинные работы большую пользу приносит.

99

С. И. Гальбергу[1]

Рим. Января 23-го 1830 г.

Письмо Ваше дышит восторгом, любезнейший Самойла Иванович, радуюсь Вашему счастью и счастью моей племянницы и приношу Вам обоим тысячи поздравлений со всеми благами, которыми только может украситься супружеская жизнь, даже желаю Вам кучу детей, ибо и эту seccatura [хлопоты] также вмещают в блаженство.

Прежде, нежели приступлю отвечать на Ваши вопросы, я долгом почитаю объявить Вам, что я теперь в Риме около двух месяцев. Возвратившись из вояжа, я в третий раз сделался болен, желтуха опять постигла меня, и я по причине дурных погод не мог добраться до Неаполя и провожу время с пилюлями и aqua lettricio[?], которые мне Morechini прописал. Он уверяет меня и всех принимающих во мне участие, что болезнь моя вовсе незначительна, но продолжительна, и что надо лечиться долго, чтобы вовсе искоренить оную, точно то же поет и мой неаполитанский. Доктор желал от всего сердца скорей принять меня в свои объятия, и я кинусь ему на шею дней через 15-цать, если погоды установятся. Касательно моего вояжа, то я почитаю излишним описывать, ибо, вероятно, мой брат Вам читал письмо, где я вкратце обежал мое путешествие, очень неудачное.

Здесь я застал генерала Винспиера, он мне давал читать Ваше подробное письмо, все на оное ахают, а я приговариваю: „не родись ни хорош, ни пригож, а родись счастлив“. Тут хоть лопни, против этой пословицы не пойдешь. Меня бомбардируют письмами из Неаполя. Княгиня София Григ. Волконская передава[ла] приказания князя, ее мужа, чтобы я написал картину для Ермитажа, в пандан Колисея, какой-либо приморский вид. Брат также имел подобное поручение от Президента, с оговоркою, если-де картина будет того достойна. И, как это похоже на экзамен, где, может быть, будут судить сотни голосов, то я остаюсь в нерешимости, не желая служить украшением Ермитажной кладовой, того меньше терять своих выгод, пуще в теперешнем моем положении, где я десять месяцев уже не работаю по причине моей болезни. Вследствие чего я Вас прошу, любезный племянник, если Вы услышите на этот счет какие-либо суждения от Президента или от кого-либо другого, текущего по прямой линии от сих действующих особ, не оставьте меня уведомить.

Наших господ я нашел точно так же, как и оставил, никто не переменился, но живут как-то поскучнее, собираются у Брюллова по вечерам играть в бостон. Зассен, по обыкновению, лежит с цигаркою, полагая все еще ехать

в Египет. Между тем его отец писал Торлонию, чтобы ему деньги только тогда бы были выданы, как он захочет ехать в Петербург, в противном случае не выдавать. Сей Зассен очень жалуется на Вас, что Вы ему не отвечаете на его три письма, и он не знает, что делать с Вашей студией и вещами, оставленными Вами для окончания, и просит Вас немедленно об оном уведомить. Видел также и Маркова, точь-в-точь глинщик Полетика, а Ефимов перемешал русский язык с итальянским, чтобы понимать его, надо знать непременно два языка. Напри.: у Министра один русский господин просит позволения видеть его работу, на что Ефимов отвечает, что у него теперь в студии ничего оконченного нет. При всем том он почитает таковое посещение за великое festa [праздник] для себя. Прочие же все по-прежнему, Габерцеттель жалуется, Басин недоволен, Бруни возится со своей Зинаидой А. Волконской, а как я уже заговорил о всех, близко знакомых, то надо сказать и о Винценце Case del Nioche, которая после шестидневной болезни отправилась в чистилище. Романович, побочный сын Демидова, убит на поединке от Розенберга, проигравши 60 000 франков. Он нагрубьянил сему последнему и объявил, что у него сии деньги были выиграны бесчестным образом.

Касательно Р. А. Винспиера не имею ничего сказать, ибо, кажется, здоров, живет у князя Гагарина и даже некоторым образом пустился в большой свет делать визиты по утрам и вечерам. Кланяйтесь В. Алексеевне. Ее желание видеть меня женатым точно так же мудрено, как бы увидеть ночью солнце, хотя седина и на голове, но бес в ребро еще не тыкал, и я не имел случая раскаиваться [в] холостой жизни, а пуще в теперешнем положении. Живу совершенно на чужой счет. Графиня Воронцова и княжна Голицына продолжают ко мне быть милостивы, и я, как вояжировал с ними, так и остался в Риме, и только не знаю, как мне будет благодарить сих двух госпож, вот выгоды холостяцкой жизни. Гуляешь, хвораешь, мотаешь, все простительно, все хорошо. К тому же страсть моя жить за городом, в захолустьях, никак не может нравиться женщинам.

Вексель, который хранится у Вас, прошу отдать Лизиньке. Сим кончились все ответы на Ваши пункты. Теперь прошу отвечать мне, как Вы проводите Ваши вечера? разыгрывают ли у Василия Ивановича симфонии Моцарта, Гайдна, на манер кошачьей свадьбы, а Аполлон продолжает ли расстраивать нервы? Я не знаток в музыке, но не мог без отвращения слушать французской оперы в Женеве, как она гадка после итальянской. Женевцы аплодировывают, между тем как первый их актер был бы высвистан в Неаполе в Театре Феличе. Тут я вспомнил, что у нас в Питере, вероятно, тот же вкус.

Зато можно похвалить их художников. Я видел експозицию, и, признаюсь, до сей поры не знал лучшего собрания, хотя и небольшого. Исторических

картин вовсе не было, да для них этот род живописи вовсе бесполезен, ибо некуда помещать. Сколь ни опрятно в Швейцарии, но как я обрадовался, как опять попал в итальянскую неопрятность. Не знаю, по привычке ли это, или в самом деле итальянская грязь так приятна. Швейцарский стол со всей их чистотой так мне надоел, что я последние дни почти ничего есть не мог, а пуще рыбу из Женевского озера я до сей поры без отвращения вспомнить не могу. Скажите мне теперь, каковое впечатление сделал на Вас Петербург и каково Вы переносите холод? У вас, сказывают, доходит до 25 градусов морозу. Я здесь также от камелька прочь не отхожу, холодно и сыро повсюду, даже выпадал довольно глубокий снег и лежал довольно долго на площадях и садах. Римляне старые не запомнят такого ненастного времени, продолжающегося четвертый месяц. Эти погоды препятствуют к моему выздоровлению, но покамест это письмо придет и покамест получу от Вас ответ, то надеюсь уже оставить Рим, почему и прошу письма адресовать в Неаполь.

Скажите, видитесь ли Вы с В. А. Перовским? Он имеет полное право негодовать на меня, но при разговоре уверьте его, что я исполню его комиссию и не примусь за кисть ни для кого прежде, не исполнивши его комиссию со всевозможным старанием, чтобы картины мои были лучшими из всех тех, что я писал до сей поры. Прошу Вас также не оставить меня слышанными разговорами и о суждениях и мнениях, каковые делаются на мой счет, добрые и худые, все приму за хорошую монету от Вас.

С сим остаюсь Ваш друг *Сильвестр Щедрин.*

Рим. Января 23-го 1830-го.

Поздравляю с Новым годом. А. Христ., Карла Ивано., Иван Иван. и Анну Иванов. Скажите, что поделывает Глинка, Тон, Сазонов, Мейер, Токарев. О Тоне хлопочут все знать, не переругался ли он со всем Петербургом? От вас иногда отправляются курьеры, старайтесь пользоваться оными и заставляйте писать в таком случае всех старых и малых.

100

Е. В. Гальберг[1]

Поздравляю тебя, милая Лизанька, самодержавной хозяйкой, и не токмо одобряю твое замужество, но сердечно радуюсь твоему счастью, ибо ты имеешь мужем одного из добрейших людей в свете. Тут, конечно, мне по старшинству следовало бы сделать предлинное нравоучение, но таковые наставления скучны будут для нас обоих, и если тебе придет охота оные знать, то выбери любое наставление из какой-либо книжечки, а я тебе даю комиссию.

При получении сего письма поздравь твою бабушку от меня с умножением приятнейшего родства, которое ее, конечно, должно вдвойне радовать, видеть себя окруженной умножающимся семейством и занимать в оном первое место. Равно также сделай комплимент твоим родителям, сиречь, такой: „государь ты мой батюшка да государыня ты моя матушка, государь мой родной дядюшка велел вас издали поздравить с моим суженым, ряженым и желал как вам, так и нам обоим сто лет, да двадцать, да маленьких пятнадцать“. Я еще не так стар, чтобы не иметь надежды видеть твоего хозяйства и даже обедать у тебя, почему и прошу принять от меня вексель в 300 р., который хранится у твоего мужа. Хотя деньги небольшие, но все будут достаточны, чтобы дополнить твой хозяйственный снаряд. Ты мне ничего не пишешь о твоей сестре Машеньке, вышла ли она из Института? И никто о ней ни слова не упоминает, обними ее от меня, равно как и дядю Аполлона и Екатерину Ивановну, которой я приготовляюсь писать, но до сей поры не мог собраться, ибо намерен очень браниться. Вся моя надежда лопнула. Я думал, что Екатерина Ивановна будет заставлять своего мужа почаще писать ко мне, и что от нее я буду получать письмо за письмом. Не тут-то было, я должен был заговеть 14 строчками с половиной, за что я пришлю письмо обыкновенным моим почерком так, что моя сестрица не разберет оного и в две недели. Поцелуй также твоих братьев и сестер, с чем и остаюсь любящий тебя твой друг *С. Щедрин.*

Рим. Января 23-го 1830.

101

Е. И. Щедриной [1]

Рим. Февраля 18-го. 1830 г.

Пользуясь отъездом г-а Зерво, я спешу писать Вам, любезнейшая Екатерина Ивановна, ответ на Ваше письмо, нет, не письмо, как бы назвать приличнее, рецептик, ассигнация, расписка? Я ожидал, что Вы будете исправнее писать, и даже будете к оному принуждать и Аполлона, но теперь вижу, что Вам недоставало только в племянники С. И. Гальберга, чтобы составить Троицу, не святую, а проговорился было... Простите, странную охоту имею браниться, к тому же я все еще болен желчью, а в этой болезни, Вы знаете, как злятся.

Вы желаете иметь описание, да еще и длинное, о женских нарядах и обычаях и проч., но не знаете, что я вовсе не писака и никогда на уборы не обращал внимания. Восхищают же меня одни только рубища как живописца, и чем кто больше испачкан и оборван, тот мне и милее, тому только я и кланяюсь в пояс, чтобы пришел постоять у меня на натуре. Но чтобы дать Вам хотя слабое понятие о моей неаполитанской жизни (ибо в Риме я в гостях), то и опишу, что у меня перед глазами происходит ежедневно, а если не бу-

дете довольны моим слогом, то заменю оное длиннотою письма, без правил и порядка, но зато и без поэтических небывалостей.

Уже всякому известно, что Неаполь один из многолюднейших городов в Европе, а неаполитанцы первейшие крикуны в свете. Прекраснейший климат! Восхитительное местоположение! Жить дешево, весело, что уже генерально все путешественники подтвердят, то как же неаполитанцам не скакать от радости? Как же им не говорить: „Dolce piacere far niente"? [приятно ничего не делать] И как же ему не кричать во все горло, если здесь продавцов гораздо больше, в сравнении покупщиков? Как же ему не наговорить тысячи похвал своему товару, чтобы приманить кого-либо купить у него, хотя на безделицу. Неаполитанцы славились воровством, но и эта профессия в упадке, всякий носит платок в шляпе, а табакерку за пазухой. В Неаполе также утончена вся промышленность, что ни воровать, ни плутовать больше не удается, один только остался обман, в который все иностранцы попадают. И это новость самая главнейшая и доходнейшая торговля.

В Неаполе я живу на набережной С. Лучии, в самом многолюдном месте, где перед глазами моими всегда дымится Везувий, ни один военный и купеческий корабль не минует моих окошек, а на берегу нет ни одного нищего в Неаполе, который бы не прошел мимо моего жительства, как будто им тут проложена дорога. Шарлатаны, кукольники, всякого роду ленивцы и зеваки смотрят по окошкам, чтобы увидеть какого-либо иностранца и протянуть руку с просьбой „eccelenza, qualche cosa" [„Ваша милость, подайте что-нибудь"], и горе несведущему иностранцу, который сжалится над ними и выкинет что-либо. Они не дадут выйти на балкон. Всякий день и во всякое время вы увидите их перед собой, они вам наскучат своей игрой на скрипках, волынках, на гребенках, будут перед вами петь, декламировать, и не будет конца всем дурачествам, всякий день с утра до вечера. В сумерках сцена переменяется, вся С. Лучия освещена от продавцов рыбы, устрицы и прочих морских гадов. По другую сторону трахтира, где прожорам неаполитанским приготовляют уху и другие рыбные кушанья, тут опять другие неудобства. Эти господа просиживают до 3-х, 4 часов ночи с бутылками, импровизируют, поют и танцуют. И если у какого иностранца спальня на главную фасаду, да еще в первом этаже, то он всякое утро будет с похмелья. Сюда также приходят пить серную воду от всяких недуг. С. Лучия также обитаема лазаронами, но не такими отчаянными, каковых, вероятно, вам описывали в Смольном монастыре! Они все почти имеют свои жилища и занимаются рыбной ловлей. Жены их есть истинные мегеры, неопрятны, нечисты, дурные собой, с испорченными зубами, беспрестанно ругаются и дерутся между собой. Первое их орудие есть деревянные башмаки, или, лучше назвать, колодки, которыми сии раздражен-

ные героини кидают в своих сопротивниц. При всем их безобразии С. Лучия тесна от детей. Описавши сих животных, Вы, верно, пожелаете знать, зачем я в таком беспокойном месте живу и зачем не перееду в какую другую часть города, где народ посмазливее? Но в Неаполе нельзя найти сих удобств. Здесь народ целый день проводит на улице, башмачник, портной, кузнец, макаронный и пирожный кухмистер, все своим ремеслом занимаются на открытом воздухе—и вот что делает город отменно многолюдным. Между тем как в Петербурге число жителей почти одинаково, но сей совершенно кажется пустым, в сравнении с Неаполем.

Многое что найдется писать о Неаполе, но боюсь обременить Ваше терпение, к тому же дневных журналов не веду, почему и не могу привести в порядок моих мыслей, да и Неаполь столь разнообразен, что на каждой улице найдешь что-либо новенького описать, например: Толеда и Villa Reale (сад публичный) Вам уже представляет совсем другую картину. Тут точно наш бульварный бон-тон, так же скучны, так же надуты, без воспитания и точные лазароны в сюртуках и фраках, по вечерам таскаются по Толеде, переходя из одной кофейной лавки в другую, дожидаясь спектакля, который и есть единственный предмет их разговора. Они вам в подробности расскажут жизнь каждого актера, у какой актрисы на сколько бриллиантов и проч., другие же опять, разряженные и разубранные, идут в конверсацию, где хозяин ничего другого не издерживает, как освещение комнат, да ставит четыре большие стакана на стол воды с снегом. Но зато часто бывает очень хорошая музыка, составленная из дилетантов.

Наконец, надо нечто сказать о Моло или гавани в Неаполе, которая также интересна своей оригинальностью. Здесь простой народ большие охотники слушать сказки и разные повести. Общий любимец их есть Орландо[2], которого им каждый вечер читают и они всегда слушают с охотой. Тут же рядом какой-либо слепой импровизатор, Пульчинелло, ученый пудель, фокусник, нередко и капуцин с крестом проповедает. Все имеют своих слушателей, капуцин и Пульчинелло не препятствуют врать один другому. Дальше Вы найдете брадобреев, секретарей, которым нередко диктуют письма во всю мочь так, что всем проходящим слышно, кабалистов, которые со змеями в руках раздают нумера для лотерей и уверяют в выигрыше непременном, ученые канарейки, обезьяны, лошади, словом, чего хочешь, того просишь. Не пора ли перестать??? А то, пожалуй, назовете болтуном.

Сдержите слово, сыскать мне невесту, хотя не имею намерения жениться, но все приятно видеть, чего буду стоить. Радуюсь, что Вы, Екатерина Ивановна, славная рисовальщица. Я думаю, Вы в Смольном монастыре прорисовали все замерзлые окошки? И правда ли? У вас удивлялись, что две говядины (два

быка) везли воз сена и что столичный город в России есть Смольный монастырь? И что рожь делают на фабрике? Не сердитесь на меня, любезнейшая Екатерина Ивановна, будьте здоровы и кланяйтесь Вашим почтеннейшим родственникам. Дядюшку Вашего помню, он нас потчевал шампанским на паровом судне, и мы так были хороши, что в трахтире вместо дверей лазили в окошко.

С сим остаюсь Ваш друг и брат *С. Щедрин.*

Рим. Февраля 18-го. 1830 г.

Вы мне доставите большое удовольствие, если опишете Ваш сад на Петербургской, и каковы мною посаженные деревья, и любите ли Вы заниматься земледельем. Поцелуйте от меня матушку и сестрицу.

Я думаю, Вам трудно будет разбирать мои крючки, то дайте прочитать Вашему мужу или племяннику С. И. Гальбергу, и у них лоб вспотеет, а мне отчего-то не удалось написать это письмо.

102

С. И. Гальбергу[1]

Рим. Февраля 19-го 1830 г.

Г. Зерво отправляется в Петербург, то как же не написать чего-нибудь любезному племяннику? Хотя я недавно отправил вам обоим по письму, я на вас чернил и бумаги никак не жалею. К тому же и некоторые новости подоспели, хотя и не совсем важные, но Вас могут интересовать, ибо Вы теперь из числа тех профессоров, которые также могут говорить: „как у нас-то в Риме?", ибо в 10 лет потерли римскую мостовую и от Casa di Majustiè до Lepre. И теперь еще виден глянец на мостовой.

Вы помните Романовича, побочного сына Демидова, сопливого, гадкого, антипатического? Он приказал долго жить от дуэли, бывшей с пруссаком Розенбергом, и так ловко, что только и удалось пожить один час после пистолетного выстрела. Сказывают, Романович проиграл 60000, бо̀льшую часть Розенбергу, и объявил, что был обыгран бесчестным образом. Пруссак, хотя и обиделся, но прощал Романовичу, ибо сей придерживался очень [слово неразборчиво.—*Э. А.*], да и самая русская пословица таковых у нас извиняет—„пьяному и море по колено". Однако же Романовичу что есть мочи захотелось проглотить пулю, почему он в течение четырех дней не давал отдыху Розенбергу своими ругательными письмами и наконец решился биться на Лукской границе, где и пал Романович. Все о нем сожалели, хотя и не любили. Розенберг, между тем, был оправдан всей Флоренцией, равно как и князем Горчаковым[2]. Медальер Пиастрини[3], тот добрый человек, которого брат содержит трахтир в Via Babuino, тот самый, который у меня часто слизывал кое-каких

красавиц, утонул в Тибре. Мне его жаль, хотя я с ним только и был знаком по вышеописанной причине. В Театре Della Pau, после представления комедии, вышел актер просить почтеннейшую публику, чтобы оная не расходилась, ибо-де завтра будет праздник С. Антония Свиньи, то следует прочитать литанию, после чего занавесь поднялась, на сцене поставлен был алтарь с изображением С. Свиньи, и актеры начали литанию, и зрители отвечали.

Выставленная картина Вернетом [4] во Французской Академии также к подобной новости принадлежит. Сюжет оной церемониальный—вынос папы по церкви С-т Петра. Картина большая, но самая пустяшная. Голова папы написана очень нехорошо, половинчатые фигуры носильщиков и кардиналов также написаны и скомпонованы неудачно, здесь торчит митра, тут кадило, нет ни одной руки, ни одной головы, словом сказать, ничего нет хорошего, и может служить хорошей вывеской или ковром. Портрет Герена [5], капуцина и албанки, им написанные, гораздо лучше первой. Был[и]также и другие художники. Вы знаете, как я Терлинга не люблю, но должен признаться, он очень поднялся, между тем как у Кателя нашел несколько картин, хотя бы на Пиацца Navona не было бы лишнее. Босси [6] по-старому, все, что без натуры, очень дурно. На днях я был ввечеру у нашего Министра в спектакле. Прекраснейший театр, поставлен в большой зале, где обыкновенно прохаживался Италинский взад и вперед, и это был мой первый выход после двух месяцев, которые провел, можно сказать, взаперти[...]Дожидаясь начала комедии, мне один художник рассказал следующее: в одной беседе, как обыкновенно водится в Риме, было говорено о живописцах, и как тут находились люди, которые знали меня, то и почли не за лишнее упомянуть обо мне и даже отозвались довольно хорошо. Катель, который тут же находился, подал голос в мою пользу, прибавив, что успехи мои тем ему приятнее слышать, ибо-де я его ученик. Можно ли так врать?! Я пишу это письмо а la С. И. Гальберг, прибавляя через день и через два по строчке, ибо сам Зерво не знает, когда он отправится, ибо дожидает Кривцова [7]. Вчера, то есть февраля 14, был также спектакль у княгини Зинаиды Волконской, две итальянские комедии и последний акт Отеллы, петый княгиней, были разыграны отменно хорошо. Карнавал здесь начался довольно хорошей погодой.

Февраля 19-го. Славные курьеры, их хорошо за смертью посылать, между прочим, мне сегодня сказали, что Зерво не хочет больше дожидаться Кривцова и намерен через день отправиться в Петербург, то и тороплюсь писать и, признаюсь Вам, не знаю чем дополнить, ничего путного в городе не происходит.

[...]Зассен топает руками и ногами и никак писать к Вам не хочет, по тех пор, пока не получит ответа на его письмо[...]. Ефимова и Маркова нигде

не видать, довольно стыдно себя ведут. Маркова я только один раз и видел, и то насильно, можно сказать, вырвался к нему. Если они переругавшись между собой, то чем я виноват, что даже меня видеть не хотят. В Неаполе точно так же и у меня будут для них двери заперты. Кланяйтесь Лизиньке, братцам и сестрице, помогите прочитать письмо, посланное мною к Екатерине Ивановне вместе с Аполлоном. Я думаю, она в жизнь такого гадкого почерка не видала.

Остаюсь Ваш друг *С. Щедрин.*

Рим. Февраля 19-го 1830-го.

Кланяюсь Глинке, Сазонову и проч.

103

С. И. Гальбергу [1]

[Сорренто. 16 августа 1830 года.]

Я Вам писал из Рима, что болел желтухой, но по приезде 5-го марта в Неаполь болезнь моя сделалась столь серьезной, что лекарь 15 дней не смел давать лекарств, и два месяца опасались лихорадки, которая бы неминуемо меня отправила туда, откуда только один Лазарь возвратился. Апреля 5 меня отправили в Сорренто питаться молоком и предписали диету довольно строгую, за что я нередко ссорился с моим лекарем, ибо три раза в день молоко, да Costa di vacina [говядина] в полдень мне больно надоели. Но не хочу мучить Вас подробностями моей 10-ти месячной болезни, считая оную от приезда моего во Флоренцию, а всего на все 17-месячной. Теперь я поправился и уже третий день как пришел из Вико пешком в Сорренто, где, Вы знаете, надо перейти гору нешуточную, что я сделал без всякой усталости. Говорят, что мне очень долго надо лечиться, чтобы искоренить болезнь мою навсегда; но дело состоит в том, что доктора вовсе несогласны о причине моей болезни: мой лекарь говорит, что это подагра и старается оттянуть ее в ноги; другие уверяют, что есть желчные камни; иные говорят, что простуда и т. д. Скажу Вам напоследок, что я вовсе вышел из веры к докторам и в последнее время перессорился с ними, кидался от одного к другому и попадал на худших; наконец оставил их и отправился в Вико пользоваться минеральной водой, которая мне в 30 дней больше принесла пользы, нежели все время моего лечения. Отсюда меня Р. А. Винспиер потребовал в Неаполь, чтобы сделать консультацию, и как нашли, что минеральная вода мне принесла пользу, то и предписали мне продолжать оную. Кн. Софья Гр. Волконская приняла во мне участие и непременно хотела, чтобы я ехал в Карлсбад, но лекарь мне воспрепятствовал, уверяя, что я по слабости не в состоянии буду перенести столь дальнего путешествия.

Примечания

Донесения в Академию художеств

К донесению 1

1 ЦГИА, ф. 789, оп. 1, ед. хр. 2792, л. 12.

К донесению 2

1 РО ГПБ, ф. Олениных, ед. хр. 541, л. 1.

2 Батюшков, Константин Николаевич (1787—1855). Поэт, художественный критик. Участник взятия Парижа в 1814 г. Находясь в 1819 г. на дипломатической службе в Неаполе, помогал русским пенсионерам в получении заказов и сам приобретал у них картины. В 1822 г. был поражен тяжелым душевным недугом и уехал в Россию.

3 Отправляя русских пенсионеров за границу, А. Н. Оленин обратился к министру иностранных дел гр. К. В. Нессельроде за рекомендательными письмами для них. Нессельроде ответил Оленину: „Милостивый государь мой Алексей Николаевич! Вследствие отношения Вашего превосходительства от 18 сего июля под № 99, имею честь препроводить к Вашему превосходительству рекомендательные письма к посланникам нашим: в Берлине — г. Алопеусу, в Вене — графу Головнину, в Дрездене — г. Ханыкову, в Риме — г. Италинскому и в Венеции — генеральному консулу Наранци об отправляемых в Рим Императорскою Академиею художеств четырех ее пенсионерах, поручив их в особое покровительство г. Италинскому" (ЦГИА, ф. 789, оп. 1, ед. хр. 2792, 22 июля 1818 г.).

4 Крафт, Андрей Логинович — секретарь русского посольства в Берлине.

5 Шадов, Иоганн Готфрид (1764—1850). Известный немецкий скульптор. Вначале ректор (1805), затем директор (1818) Берлинской Академии художеств.

6 Отт, Михаил Иванович — советник русского посольства в Вене.

7 Пеллегрини, Цезарь — русский консул в Триесте, коммерции советник.

8 Гагарин, Григорий Иванович, кн. (1782—1837). Дипломат и писатель. Просвещенный русский человек, любитель искусства и театра. Сначала советник миссии в Риме, а потом посланник (1827—1832); близко общался с колонией русских художников в Италии, оказывая им всегдашнее свое покровительство.

9 „Дневная записка" была приложена ко второму донесению Щедрина (л. 2—7).

10 Гакарт, Ян, ван (1629 или 1636—1699). Голландский живописец и гравер, пейзажист. Работал в Амстердаме. В 1653—1658 гг. путешествовал по Швейцарии и Италии.

11 Возможно, имеется в виду голландский живописец-пейзажист Гюизманс (ван Мехельн), Корнелиус, ван (1648—1727).

12 Луиза (1776—1810) — прусская королева, жена Фридриха-Вильгельма III, мать вел. кн. Александры Федоровны, впоследствии императрицы, жены Николая I.

13 Памятники искусства по приказу Наполеона I были вывезены из Пруссии после ее военного поражения в 1806 г. в Париж.

14 Казанова, Франческо (1727—1802). Живописец — пейзажист и баталист. Директор Академии художеств в Дрездене. Учитель Семена Ф. Щедрина, дяди автора.

15 Шуман, Карл Франц Якоб Генрих (1767—1827). Немецкий исторический живописец, с

1802 г.— профессор Академии художеств в Берлине.

[16] Слепки с произведений античной скульптуры из коллекции графа Томаса Брюса Эльджина (1766—1842) — английского посла в Константинополе. В начале XIX в. Эльджин вывез в Англию ряд памятников античного искусства, среди которых были рельефы Парфенона. С 1816 г. коллекция Эльджина принадлежит Британскому музею.

[17] Фершуринг, Хендрик (1627—1690). Голландский исторический живописец. Учился в Утрехте, позже — в Италии.

[18] Кленгель, Иоганн Христиан (1751—1824). Немецкий пейзажист и гравер.

[19] Гартман, Фердинанд (1774—1842). Немецкий исторический живописец и портретист. С 1810 г.— профессор Дрезденской Академии художеств. В Италии жил с 1794 по 1798 г. и с 1820 по 1823 г.

[20] Бренна, Викентий Иванович (Францевич) (1745—1820). Итальянский архитектор и декоратор. Строитель Михайловского замка в Петербурге с 1797 г. по первоначальному плану В. И. Баженова. Автор „Румянцевского обелиска". Умер за границей.

[21] Пуссен (настоящая фамилия Дюге), Гаспар (1615—1675) — французский живописец-пейзажист. Работал в области декоративного искусства, занимался гравюрой. Ученик и зять Никола Пуссена.

[22] Возможно, речь идет об австрийском живописце, пейзажисте и жанристе Иоганне Непомуке Шёдльбергере (1779—1853). В 1817—1818 гг. Шёдльбергер жил и работал в Италии. С 1835 г.— член Венской Академии художеств.

[23] Ланди, Гаспар (1756— ум. ок. 1830). Итальянский исторический живописец, жанрист и портретист. Президент Римской Академии св. Луки с 1817 по 1820 г.

[24] Речь идет о галерее Монфредини.

[25] Дитрих, Христиан Вильгельм Эрнст (1712—1774). Немецкий живописец. Работал в разных жанрах, в том числе и в пейзаже. В 1743 г. путешествовал по Италии.

[26] Воогт, Генрих (1766—1839). Голландский художник. Живописец, гравер, литограф. В Италии с 1788 г. В 1816 г. избран членом Римской Академии св. Луки.

[27] Терлинг, Абрагам (Александр) (1776—1857). Голландский художник. В Риме с 1808 г., где и умер. В 1828 г. избран членом Флорентинской Академии изящных искусств.

[28] Фамилии Вахштабена ни в одном из иностранных справочников мы не нашли.

[29] Шовен, Пьер-Атанас (1774—1832). Родился в Париже, умер в Риме. Французский пейзажист. Член Римской Академии св. Луки. Писал преимущественно окрестности Рима и Неаполя.

[30] Катель, Франц Людвиг (1778—1856). Немецкий пейзажист и жанрист. В 1811 г. приехал в Рим. Посетил в 1818 г. вместе с кн. Голицыным Сицилию. Писал в Италии так называемые ведуты.

[31] Ребель, Жозеф (1787—1828). Австрийский живописец. В 1810—1811 гг. был в Милане. В 1813—1815 гг.— в Неаполе, а с 1816 по 1824 г.— в Риме. Директор Венской Академии „Бельведер" с 1824 г.

[32] Получив „Дневную записку" своего пенсионера Щедрина, Совет Академии вынес на заседании заключение: „В „Дневной записке" перспективного и пейзажного живописца Щедрина находится подробный и рачительный отчет всего, что он видел и заметил по его части; о других же предметах он только намекнул, прошел их слегка, как живописец проходит дальности в перспективе или пейзажах. Суждения его несколько смелы, как суждения молодого художника, но в них однако же не видно той резкости и решительности в заключениях, которые означают более самолюбивого, нежели благоразумного художника, презирающего все, что ему с первого взгляда не нравится" (*Петров П. Н.* Сборник материалов для истории имп. С.-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования, ч. 2, Спб., 1865, с. 139).

К донесению 3

[1] ЦГИА, ф. 789, оп. 1, ч. I, ед. хр. 2960, л. 1.

К донесению 4

[1] ЦГИА, ф. 789, оп. 1, ч. I, ед. хр. 3079, л. 3.

К донесению 5

[1] ЦГИА, ф. 789, оп. 1, ч. II, ед. хр. 190.

[2] Италинский, Андрей Яковлевич (1743—1827). Дипломат и археолог. Русский посланник и полномочный министр при Римском и Тосканском дворах. В его обязанности входило также наблюдение за русскими художниками в Италии.

Письма

К письму 1

[1] РО ГТГ, ф. 58/1.

[2] Гальберг, Самуил Иванович (1787—1839). Скульптор. Учился в Академии художеств с 1795 по 1808 г. Окончил Академию с первой золотой медалью и был отправлен в пенсионерскую командировку в Италию в 1818 г. одновременно с С. Ф. Щедриным. Работал в Риме под руководством Б. Торвальдсена. В 1828 г. вернулся в Россию. С 1829 г. преподавал в Академии художеств, с 1836 г.— профессор второй степени.

[3] Михаил Павлович, вел. кн., младший брат Николая I.

[4] Лизинька — Елизавета Васильевна Демут-Малиновская (1812—1840), племянница Сильвестра Щедрина, дочь его сестры, бывшей замужем за В. И. Демут-Малиновским. Машенька—младшая племянница (1815—1848). О Павлуше и Верушке, крестнице С. Щедрина, сведений у нас нет. Наташенька — Наталья Никитична, родственница, жившая в семье Демут-Малиновских.

К письму 2

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Во время одной из загородных прогулок верхом лошадь сильно повредила С. И. Гальбергу ногу. Он вынужден был лечь в постель и пролежал довольно долго.

[3] Возможно, Щедрин имел в виду живописца и скульптора Ивана Моисеева, окончившего Академию в 1800 г. с аттестатом первой степени. В 1805 г. он получил звание „назначенного" за фигуру „Отдыхающий Марс".

К письму 3

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Голанд, Павел Григорьевич.

[3] Васинька — Василий Алексеевич Глинка (1790—1831). Архитектор. Учился в Академии художеств с 1798 по 1812 г. В 1818 г. вместе с С. Ф. Щедриным был послан пенсионером в Италию. В 1824 г. вернулся в Россию. С 1830 г.— академик.

К письму 4

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Савенко, Петр Назарович (1795—1843). Врач-окулист. По окончании Медико-хирургической академии в Петербурге был отправлен за границу для дальнейшего совершенствования. Читал курс окулистики. В 1839 г. уволен в отставку.

[3] Герцбергский, Викентий Данилович (1785—1826). Врач-окулист. В 1817 г. вместе с Савенко отправлен за границу для изучения глазных болезней. Вернулся в Россию в 1823 г. Профессор Виленского университета.

[4] Давыдов, Петр Львович (1782—1842). Генерал-майор. Сводный брат героя Отечественной войны 1812 г. Н. Н. Раевского-старшего.

[5] Храповицкий, Матвей Евграфович (1784—1847). Генерал. Участник суворовских походов и сражения под Бородином. Состоял в свите вел. кн. Михаила Павловича во время его посещения Италии в 1819 г. Впоследствии военный генерал-губернатор Петербурга (1846).

[6] Сазонов, Василий Кондратьевич (1789—1870). Исторический живописец. Товарищ С. Щедрина по поездке за границу. Поехал на средства отпустившего его на волю гр. Н. П. Румянцева. Вернулся в Россию в 1824 г.

[7] Крылов, Михаил Григорьевич (1786—1846). Скульптор. Учился в Академии художеств с 1795 г. Окончил ее в 1809 г., получив первую золотую медаль. Был отправлен в пенсионерскую командировку за границу одновременно с С. Ф. Щедриным. С 1837 г.— академик

К письму 5

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Скуделлари — поверенный в делах, услугами которого пользовались в Риме русские пенсионеры; владелец лавки художественных принадлежностей.

3 Пинелли, Бартоломео (1781—1835). Итальянский гравер, литограф, рисовальщик и акварелист. Занимался также скульптурой. Учился в Римской Академии св. Луки, потом в Болонье.

4 Голицын, Александр Михайлович, кн. (1772—1821). Гофмейстер вел. кн. Екатерины Павловны. Умер в Париже. Его портрет писал в Италии в 1819 г. О. А. Кипренский.

5 Из семьи швейцарских художников Акертов наибольшей известностью пользовался Якоб Филипп Акерт (1737—1807)—живописец-пейзажист и гравер; скончался во Флоренции. В Петергофе хранилось двенадцать его произведений. Но возможно, что С. Ф. Щедрин видел работы Георга Абрахама Акерта (1755—1805)— живописца-пейзажиста, жившего и работавшего в Неаполе.

6 Эльсон, Филипп Федорович (1793—1867). Архитектор. Определен в Академию художеств в 1799 г. В 1810 г. удостоен первой золотой медали. Совершенствовался в Италии на средства гр. А. А. Потоцкой (с 1818 по 1825 г.), у которой состоял на службе. Член Римской Академии св. Луки и Флорентинской Академии.

7 Лауниц (фон Шмидт), Филипп (1797—1869). Скульптор. Родился в Курляндии. С 1815 по 1816 г. учился в Университете в Геттингене. В 1817 г. уехал в Рим. Учился у Б. Торвальдсена. В 1822 г.— в России. В 1826 г. основал в Риме терракотовую фабрику. В 1830 г. уехал во Франкфурт-на-Майне, где и скончался. Известна его статуя „Меркурий“, сделанная по заказу кн. Голицына.

К письму 6

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

К письму 7

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 В 1819 г. брат С. И. Гальберга К. И. Гальберг получил орден св. Анны третьей степени, а А. Х. Востоков, шурин С. И. Гальберга,— чин коллежского асессора.

3 Тон, Константин Андреевич (1794—1881). Архитектор. Ученик Академии художеств с 1803 по 1818 г., которую окончил с первой золотой медалью. В 1819 г. отправлен за границу за счет кабинета Е. И. В., где был до 1828 г. Впоследствии профессор первой степени (1843), затем ректор Академии художеств (1854). Строитель Кремлевского дворца и храма Христа Спасителя в Москве. Член Римской Академии св. Луки.

4 Скабовский, Иван. Был сначала репетитором физики в Военно-медицинской академии, затем адъюнктом. Одновременно, в 1801 г., адъюнкт-профессор математики и физики в Академии художеств. В 1816 г. уволен за „нехождение в классы“.

5 Паули, Фридрих Вильгельм (род. в 17 . . .— ум. после 1835 г.). Немецкий скульптор.

6 Имеется в виду Фердинанд I, король Королевства обеих Сицилий.

7 Давыдова, Наталья Владимировна, урожд. гр. Орлова (1782—1819). Жена П. Л. Давыдова.

К письму 8

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Штакельберг, Густав Эрнст, гр. (1766—1850). Был на дипломатической службе. В Вене с 1810 по 1818 г., после чего переведен посланником и полномочным министром в Неаполь (занимал этот пост до 1835 г.)

3 Витберг, Александр Лаврентьевич (1787—1855). Архитектор и живописец. Учился в Академии художеств с 1802 по 1809 г. Окончил Академию с первой золотой медалью. Автор проекта храма Христа Спасителя, который не был осуществлен. Оказался жертвой интриг, возникших в связи со строительством. За неполадки в административно-хозяйственных делах выслан в Вятку, где познакомился

с сосланным туда же А. И. Герценом. В Вятке по проекту Витберга был построен собор.

К письму 9

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Меншиков, Александр Сергеевич, кн. (1787—1869). Состоял на дипломатической, потом на военной службе. В 1819 — начале 1820-х гг. проживал в Неаполе перед своей поездкой, в которой он сопровождал Александра I на конгрессы в Тропау (1820), Лейбах (1821) и Верону (1822). В 1824 г. вышел в отставку, но при Николае I вновь вернулся на службу в чине адмирала. Впоследствии — незадачливый участник Крымской войны в 1853—1854 гг.

К письму 10

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Под курляндцем Щедрин подразумевал скульптора Ф. Лауница.

3 Свечин, Никанор Михайлович (1772—1849), генерал-лейтенант.

4 „Дрянко" и „Фуй"— так прозвал Щедрин Савенко и Герцбергского за их постоянную критику Неаполя.

К письму 11

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Уткин, Николай Иванович (1780—1863). Известный русский гравер. Учился в Академии художеств с 1785 по 1800 г. Окончил с первой золотой медалью. В 1803 г. отправлен пенсионером во Францию, где за гравюру с картины Доменикино „Эней" получил в 1810 г. по приказу Наполеона золотую медаль. В 1839 г.— заслуженный профессор. Его 50-летний юбилей Академия отмечала в 1860 г. В честь Уткина была выбита медаль. Оставил свыше 229 работ, среди которых имеются изображения писателей, полководцев, государственных деятелей и т. д. Среди них особенно популярны портреты Пушкина и Суворова.

3 Басин П. В. (см. примеч. 8 к письму 12). Прибыл в Рим вместе с К. А. Тоном.

4 Вероятно, Баранов, Петр Петрович (род. 1796). Архитектор. В 1806 г. поступил в Академию художеств. В 1816 г. получил вторую серебряную медаль, в 1817 г.— первую серебряную. В 1818 г. окончил Академию художеств с аттестатом первой степени и был оставлен при Академии.

5 Иванов, Михаил Иванович (1774—1848). Учился в Академии художеств с 1779 г. В 1799 г. выпущен со званием мастера формовальных фигур. С 1803 по 1817 г. и с 1843 г. надзирал за собранием форм и античными фигурами, принадлежащими Академии.

6 Анисимов, Артемий Анисимович (1783—1823). Скульптор. Учился в Академии художеств с 1788 по 1805 г. С 1813 г.— академик.

7 Мудрова, Софья Алексеевна (1797—1870), в замужестве Лайкевич. Воспитанница А. Е. Лабзиной, жены конференц-секретаря и вице-президента Академии художеств А. Ф. Лабзина.

8 Ефимов, Иван Ефимович (1797—185. . .). Учился в Академии художеств с 1804 по 1815 г. Выпущен с аттестатом первой степени и со шпагой. С 1820 г.—„назначенный", с 1825 г.— академик. Ефимов, Николай Ефимович (1799—1851). Архитектор. Учился в Академии художеств с 1806 по 1821 г. Получив первую золотую медаль, был оставлен при Академии для совершенствования. В 1825 г. отправлен пенсионером за границу. С 1840 г.— академик.

9 Монферран, Август Августович (1786—1858). Архитектор. Учился в Политехнической школе и у архитекторов Ш. Персье и П. Фонтена в Париже. С 1816 г. жил и работал в Петербурге.

10 Токарев, Николай Андреевич (1787—1866). Скульптор. Воспитанник Академии художеств с 1798 по 1812 г. Оставлен пенсионером на три года и тогда же определен учителем рисования. В 1815 г. получил первую золотую медаль за программу „Ведение апостола Андрея на пропятие". В 1819 г.— академик за программу „Улисс, сгибающий стрелометный лук и накладывающий на оный тетиву". Смотритель

форм с древних статуй (1825—1859). Уволен со службы в 1859 г. Близкий друг Щедрина по Академии.

К письму 12

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Тихонов, Михаил (1799—1862). Учился в Академии художеств с 1806 по 1815 г. Ученик В. К. Шебуева. Вместе с В. К. Сазоновым писал программу „Верность к богу и государю русских граждан, которые быв расстреливаемы в Москве, с твердым и благочестивым духом шли на смерть, не соглашаясь исполнить повеление Наполеоново". Участник экспедиции в Восточный океан. В 1819 г. лишился рассудка.

3 Лабзин, Александр Федорович (1766—1825). Писатель, мистик. Был под влиянием масонских идей Н. И. Новикова. По переезде в Петербург служил в Почтамте. С 1799 г.— конференц-секретарь Академии художеств. В 1800 г. основал собственную масонскую ложу „Умирающий сфинкс". Основатель журнала „Сионский вестник" (1806). Вице-президент Академии художеств с 1818 г. Страдал падучей и для лечения в 1819 г. взял отпуск на полгода. Щедрин интересовался поэтому состоянием его здоровья. В 1822 г. был отправлен в ссылку в Сенгилей Симбирской губернии за то, что на заседании Совета Академии не согласился на предложение избрать в почетные члены гр. Гурьева, Аракчеева и Кочубея только лишь на том основании, что они близки к особе Александра I. Лабзин заявил, что в таком случае следует избрать и его бессменного кучера Илью Байкова. Умер в Симбирске. Был почетным членом „Беседы любителей русского слова" и действительным членом Московского университета.

4 Васильев, Тимофей Алексеевич (1783—1838). Пейзажист. Учился в Академии художеств с 1788 по 1803 г., которую окончил со второй золотой медалью, полученной за программу „Юпитер наказует одно селение, кроме Филимона и Бавкиды". Академик за картину „Вид города Селенгинска" (1807). Сначала помощник, затем, с 1818 по 1824 г., инспектор. Ф. И. Иордан рассказал в своих воспоминаниях о бунте, учиненном против него воспитанниками Академии.

5 Фоняев, Николай Никитич (1758—1826). Скульптор. Воспитанник Академии художеств с 1764 по 1779 г. Состоял в Академии учителем рисования с 1803 по 1817 г., после чего был уволен А. Н. Олениным.

6 Гюне, Андрас Гаспар (1749—1813). Уроженец Гамбурга. С 1785 г. работал в России. Учитель рисования в Академии художеств (1788—1795). Академик в 1794 г. за картину „Взятие Тира Александром". В 1804 г. вновь привлечен к преподаванию.

7 Кондратьев, Александр Савельевич (1788—1833). Учился в Академии художеств с 1800 по 1810 г. Окончил со званием художника XIV класса и определен учителем математики. В 1813 г. значился гувернером-воспитателем при училище Академии.

8 Басин, Петр Васильевич (1793 — 1877). Исторический живописец, портретист, пейзажист. Будучи на службе в Экспедиции государственных доходов, с 1811 г. стал посещать классы Академии художеств. Ученик В.К.Шебуева. За картину „Христос изгоняет из Иерусалимского храма торгующих" включен в список пенсионеров, отправляемых за границу. В 1819 г. поехал в Италию за счет кабинета Е. И. В., где оставался вплоть до 1830 г. Исполнил копии с фресок Рафаэля „Изведение апостола Петра из темницы" и „Больсенская обедня". Создал картины „Фавн Марсий учит молодого Олимпия игре на свирели", „Сократ при осаде Потидеи спасает Алкивиада", „Сусанна, застигнутая старцами", „Землетрясение в Рокка ди Папа". В 1830 г. — академик. В 1831 г. исполнял должность профессора второй степени. В 1836 г. утвержден в этой должности. В 1846 г. профессор первой степени. В 1856 г.— заслуженный профессор. Из-за потери зрения оставил службу в 1869 г. Принимал участие в живописных работах в Казанском и Исаакиевском соборах и академической церкви. Перевел (вместе с А. Г. Сапожниковым) на русский язык книгу „Анато-

мия для живописцев...“ Ж. Дель-Медико (Спб., 1832).

[9] О каком „курляндце Енгельбрехе“ пишет Щедрин, установить не удалось. В Вене была семья австрийских скульпторов Энгельбрехт.

[10] Теглев, Семен Матвеевич (1771—ум. 183...). Скульптор. Учился в Академии художеств с 1776 по 1794 г. Окончил с первой золотой медалью, полученной за программу „Жрица, которую везут в колеснице два ее сына Клеобис и Битон в храм Юноны для принесения сей богине жертвы“. С 1814 по 1828 г.— инспектор, затем архивариус Академии.

[11] Под „старым инспектором“ Щедрин подразумевал портретиста К. И. Головачевского (1735—1823). Головачевский был прикреплен для обучения Елизаветой Петровной к И. П. Аргунову, но в 1758 г. переведен в Академию художеств. Академик в 1765 г. Преподавал в портретном классе (с 1759 г.). Инспектор с 1771 по 1773 г. и вновь приглашен на эту должность в 1783 г. В. И. Григорович посвятил ему в „Журнале изящных искусств“ (1823, кн. III) проникновенную статью, подробно излагающую его творческую биографию.

[12] Воинов, Иван Александрович (1796—1861). Жанрист. Учился в Академии художеств с 1800 по 1812 г. В 1811 г. за программу „Старик с мальчиком в каком-либо упражнении“ получил вторую золотую медаль. В 1812 г. удостоен первой золотой медали за программу „Рекрут, прощающийся со своим семейством“. Учитель рисования в 1817 г. Академик в 1848 г., адъюнкт-профессор в 1859 г.

[13] Суханов, Василий Петрович. Исторический живописец. Учился в Академии художеств с 1799 по 1812 г. Окончил с первой золотой медалью, исполнив программу „Нижегородский гражданин Козьма Минин, склоняющий сердца всех сограждан своих к пожертвованию всего имущества к спасению отечества“. Ученик А. Е. Егорова, который написал в том же году его портрет (ГТГ).

К письму 13

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Нессельроде, Карл Васильевич, гр. (1780—1862). Дипломат. Министр иностранных дел с 1816 по 1856 г.

[3] Карл Иванович — второй сын в семье Гальберга. С 1791 по 1805 г. воспитывался в Училище при Первом сухопутном кадетском корпусе. Служил при департаменте герольдии.

[4] Тредер, Карл Готфрид (1794—1827?). Доктор медицины.

[5] Михайлов, Андрей Алексеевич (1773—1849). Архитектор. Воспитанник Академии художеств с 1779 по 1794 г. В 1800 г. — академик. Профессор с 1808 г. В 1814 г. — старший профессор. Автор проекта академической церкви св. Екатерины. В 1831 г. уволен со службы по указу Николая I.

[6] Плуталов, генерал-майор. Сосед по дому Щедриных на Петербургской стороне.

[7] Чекалевский, Петр Петрович (1751—1817). Конференц-секретарь (1785—1799) и вице-президент (1799—1817) Академии художеств. Автор книг „Рассуждения о свободных художествах“ и „Опыт ваяния из бронзы одним приемом колоссальных статуй“.

[8] Ширяев, Дорофей Адрианович. Портретист и исторический живописец. Посторонний ученик Академии художеств с 1809 по 1811 г. Награжден одновременно со Щедриным за рисунок с натуры второй серебряной медалью. В 1815 г. получил одобрительный отзыв академического Совета за картину „Государыня Мария Федоровна и вел. кн. Анна Павловна и показывающий им картины художник“. В 1831 г. вновь получил одобрительный отзыв за „Автопортрет“.

[9] Василий Иванович — Демут-Малиновский (1779—1846). Скульптор. Учился в Академии художеств с 1785 по 1800 г. Окончил с первой золотой медалью, полученной за барельефы к монументу Петра I. Оставлен на два года пенсионером и получил второй раз первую золотую медаль за эскиз памятника М. И. Козловскому. В 1803 г. отправлен за границу где пробыл до 1807 г. С 1807 г.— академик. В 1813 г. — профессор за статую „Русский Сцевола“. В 1836 г.— ректор по отделу скульптуры. Исполнил скульптурные работы для

Михайловского замка, Казанского собора, арки Главного штаба и др. Был женат на сестре Щедрина — Елизавете Феодосиевне.
[10] Дюпор, Луи Антуан. (1781—1853). Известный танцовщик и балетмейстер. Приехал из Франции в 1808 г. в Петербург вместе с трагической актрисой Жорж и бежал с ней в Париж в 1812 г.

К письму 14

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).
[2] В 1819—1821 гг. С. И. Гальберг работал над статуей „Ахиллес", заказанной вел. кн. Михаилом Павловичем.
[3] Свое письмо Щедрин датировал 15 февраля, то есть днем его отправки.
[4] Речь идет о датском короле Кристиане VIII (1839—1848), сыне наполеоновского маршала Бернадотта.

К письму 15

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).
[2] Барельеф „Три горы, служащие Пегасу" был исполнен Иоганном Леебе, „пенсионером Баварского двора", и показан на выставке работ, устроенной находящимися в Риме пенсионерами-иностранцами по случаю прибытия сюда австрийского императора Франца I в апреле 1819 г. (см.: Скульптор С. И. Гальберг в его заграничных письмах и записках. 1818—1828. Собрал В. Ф. Эвальд. Спб., 1884, с. 100).
[3] Бенкендорф, Константин Христофорович, гр. (1785—1828). Младший брат шефа жандармов — гр. Александра Христофоровича (1783—1844). С 1816 по 1820 г. жил за границей. Автор „Писем из Персии".

К письму 16

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).
[2] Премьера оперы итальянского композитора Фернандо Пайера (1771—1839) „Софонисба" состоялась в театре Сан Карло 6 апреля 1820 г.
[3] Чесский, Иван Васильевич (1777—1848). Гравер. Учился с 1791 г. в Академии художеств, с 1799 г.— в ландшафтном гравировальном классе. Ученик Клаубера. В 1803 г. уволен. В 1807 г.— академик за гравюру с картины Пуссена „Лесной пейзаж". Д. А. Ровинский насчитывает 155 его гравюр.

К письму 17

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).
[2] Бенаки, Либеран Панайотович (1751—1820). С 1783 по 1810 г.— генеральный консул в Корфу, затем переведен в Пулчо, а в 1811 г.— в Эпир. В 1815 г. получил назначение генеральным консулом в Неаполь.
[3] Опочинин, Федор Петрович (1779—1852). Обер-гофмейстер. Член Государственного Совета. Сопровождал вел. кн. Елену Павловну во время ее заграничной поездки. Был женат на дочери фельдмаршала — светл. кн. Дарье Михайловне Голенищевой-Кутузовой.
[4] Речь идет о бюсте В. А. Глинки (1819, гипс, ГРМ).
[5] Барбайя, Доменико (1778—1841). Директор театра Сан Карло в Неаполе (1808—1840).
[6] „Смоленский архитектор" — Абрам Иванович Мельников (1784—1854). Получил заказ на строительство в Смоленске Дома Благородного собрания, сооруженного в 1825 году.
[7] Бинеман, Василий Федорович (1795—1842). Миниатюрист-портретист, пейзажист. В 1816 г. учился в Дрездене. С 1817 по 1822 г. находился в Италии. Некоторое время жил в Москве. С 1829 г.— в Петербурге. Писал в 1837 г. на звание академика портрет архитектора И. Л. Мироновского, но был забаллотирован. Удостоен этого звания в 1840 г. за портрет гр. Ф. П. Толстого. Член Римской и Флорентинской Академий.

К письму 18

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).
[2] Леебе, Иоганн (1790—1863). Немецкий скульптор. Учился в Париже (1812—1814), затем работал в Мюнхене. В 1817 г. получил

стипендию для поездки в Италию. С 1826 г. снова обосновался в Мюнхене.

[3] Питлоо, Антон (1791—1837). Голландский пейзажист. В 1808 г. жил в Париже, в 1811 г. — в Риме, с 1815 г. — в Неаполе, где и скончался. Основатель неаполитанской „школы Позиллипо", положившей начало новому пейзажу. Преподавал в Неаполитанском институте изобразительных искусств.

[4] В Академии художеств во времена С. Щедрина (до его поездки в Италию) было несколько художников с именем и отчеством „Иван Гаврилович". Так звали Гинца (1736—1807), Григорьева, Зотова, учившегося в Академии с 1799 по 1814 г. То же имя носил Озерский, воспитанник Арзамасской школы, поступивший в Академию в 1815 г. и уволенный при Оленине с аттестатом первой степени в 1817 г. Но, судя по тексту письма, речь скорее всего шла о Григорьеве, миниатюристе, воспитывавшемся в Академии художеств с 1803 г. и получившем в 1816 г. первую серебряную медаль, который в 1824 г. был признан „назначенным" за портрет-миниатюру католического митрополита С. Сестренцевича-Богуша.

[5] Валкхоф, Вильгельм (1789—1822). Немецкий живописец-пейзажист. С 1815 г. жил и работал в Италии. В 1817—1818 и 1820 гг. путешествовал по Сицилии.

[6] Возможно, имеется в виду Адель Комелли-Рубини. Пела в театре Сан Карло в 1820—1829 гг.

[7] Каталани, Анжелика (1779—1849). Знаменитая итальянская певица, обладавшая необыкновенно высоким колоратурным сопрано. Концертировала и в России.

[8] Речь идет об опере „Анесса" Ф. Пайера.

К письму 19

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Мальцев — русский дипломат. В 1820 г. намеревался заказать С. И. Гальбергу бюст жены и позже — ее надгробие.

[3] Зон, Карл, фон (1786—1865). Генерал.

К письму 20

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Нарышкина, Анна Никитична (1730—1820). При Павле I — статс-дама. Была известна как доверенное лицо в любовных делах Екатерины II, в бытность ее великой княгиней.

[3] Востоков, Александр Христофорович (1781—1844). Поэт, филолог, член Российской Академии. Был женат на сестре Гальберга Анне Ивановне.

[4] Иван Иванович и Карл Иванович — братья С. И. Гальберга.

[5] Бортнянский, Дмитрий Степанович (1751—1825). Композитор духовной музыки, директор придворной капеллы.

К письму 21

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Мартос, Петр Иванович (1794—1856). Сын скульптора, военный. Служил в „полку прусского короля".

[3] Пятницкий, Петр Гаврилович (1788— ?). Архитектор. Учился в Академии художеств с 1798 г. В 1809 г. окончил ее с аттестатом первой степени и шпагой.

[4] Мартос, Алексей Иванович (1790—1842). Старший сын скульптора. Писатель, переводчик. Служил в Сибири. Известен как автор трехтомной „Истории Малороссии" (не издана), „Писем о Восточной Сибири" (1827), переводами из „Истории Александра Македонского" Квинта Курция Руфа.

[5] Бестужев, Александр Александрович (1797—1837). Беллетрист и критик. Выступал под псевдонимом Марлинский. Декабрист. Издавал вместе с К. Рылеевым „Полярную звезду". Был сослан после восстания на Сенатской площади в Якутск, оттуда переведен на Кавказ. Погиб в одном из сражений с горцами.

[6] Брянский, Яков Григорьевич (1790—1853). Сценическая фамилия известного трагического актера Григорьева. Исполнил свыше 30 ролей. Славился в ролях Отелло, Танкреда.

[7] Каратыгин, Василий Андреевич (1802—1853). Знаменитый трагик классического на-

правления. Сменил на сцене Брянского. Дебютировал в императорском театре в 1820 г. в роли Фингала в трагедии В. Озерова. Впоследствии перешел на романтические трагедии. Отличался в ролях Гамлета, Отелло, Лира и др.

[8] Головнин, Василий Михайлович (1776—1831). Окончил Московский кадетский корпус. В 1806 г. — командир шлюпа „Диана", направленного для географических открытий северной части Великого океана. Достиг мыса Доброй Надежды. Оставил описание путешествия на Курильские и Шантильские острова. В 1823 г. — генерал-интендант флота. Статья В. М. Головнина „Путешествие вокруг света флота капитана Головнина" печаталась в журнале „Сын Отечества" в продолжение всего 1820 г. С. Ф. Щедрин упоминает также статью Ф. В. Булгарина „Краткое обозрение Польской словесности" („Сын Отечества", 1820, т. 31 и 32). И, вероятно, имеет в виду „Замечания на статью о первых дебютах г. Каратыгина в 23 № С. О. помещенную", подписанную „Я. . .й" („Сын отечества", 1820, т. 27).

[9] Габбе, Франц Францевич. Второй секретарь русского посольства при Неаполитанском дворе.

[10] Не имел ли в виду Щедрин Еггинга, а не Елинга? См. примеч. 2 к письму 70.

[11] Унгерн-Штернберг, Вильгельм Фридрих, барон (1752—1832).

[12] Араратский (Богданов-Араратский), Артемий Богданович (род. 1774). Издал в 1813 г. книгу „Жизнь Артемия Араратского".

К письму 22

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Волконская, Зинаида Александровна, кн. (1792—1862). Известна своей любовью к искусству, театру, музыке, поэзии. Обладала замечательным контральто. Устраивала у себя в доме, в Риме, спектакли, ставила оперы, в которых лично участвовала. Ее салон в Риме, как ранее в Москве, был местом, где встречались поэты, композиторы, художники. Сочувствуя участи декабриста С. Г. Волконского, брата своего мужа, она покинула Россию в 1829 г., посетив ее впоследствии два раза.

[3] Бидерман, Иоганн Яков (1763—1830). Швейцарский пейзажист и портретист. Занимался гравированием. Создал сюиту швейцарских типов.

[4] Шереметев, Дмитрий Николаевич, гр. (1803—1871). Сын гр. Н. П. Шереметева и известной крепостной актрисы П. И. Ковалевой-Жемчуговой. Увлекался роговой музыкой. Впоследствии гофмейстер. Шереметева, Анна Сергеевна, гр. (?—1849), жена Д. Н. Шереметева.

Упоминая фамилию Шереметева, Щедрин мог иметь также в виду одного из сыновей В. С. Шереметева: Сергея Васильевича (1792—1866) или Василия Васильевича (род. 1794), не имевших графского титула.

К письму 23

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] К. Н. Батюшков, служа секретарем при русской миссии в Неаполе, хлопотал о переводе в Рим, что и удалось ему в конце 1820 г.

К письму 24

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Убри, Петр Яковлевич (1774—1847). Служил в Министерстве иностранных дел. В 1821 г. ожидалось его назначение посланником в Неаполе вместо Г.-Э. Штакельберга. Назначение не состоялось. Был посланником в Мадриде — до 1824 г., во Франкфурте-на-Майне — в 1835 г., в Дармштадте — в 1841 г.

[3] Щербинин, Михаил Андреевич (1798—1841). Военный и чиновник. Сотрудник посольства А. П. Ермолова в Персию. Состоял при кн. П. М. Волконском во время его заграничной поездки в свите Александра I.

К письму 25

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

К письму 26

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Шидловский, Николай Михайлович (?) (1793—1863). Черниговский помещик.

[3] В „Списке русских художников к юбилейному справочнику имп. Академии художеств. 1764—1914“, составленном Н. П. Кондаковым, о Филиппсоне сообщено лишь, что он был пейзажистом и получил в 1811 г. звание „назначенного“.

[4] Гране, Франсуа-Мариус (1775—1849). Французский живописец. Писал картины на исторические сюжеты, портреты, но особую известность ему принесли изображения интерьеров.

К письму 27

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

К письму 28

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов, (С. Ф. Щедрин).

[2] Под „молодыми“ Щедрин подразумевал И. И. Гальберга, который в 1821 г. женился на дочери петербургского мастера серебряных и бронзовых дел Е. Е. Поммо — Марии Егоровне.

К письму 29

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов, (С. Ф. Щедрин).

К письму 30

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Ран, Гаспар (1769—1840). Швейцарский пейзажист. Работал в Цюрихе и Риме.

К письму 31

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] В связи с предполагаемым прибытием Александра I в Рим после Веронского конгресса русские художники собирались организовать выставку своих работ для показа их императору. Но визит Александра I в Рим был отменен из-за революционных выступлений в Италии против австрийского правительства, и выставка не состоялась.

[3] Бутурлин, Дмитрий Петрович, гр. (1763—1829). Известный библиофил. Составил в Москве библиотеку, которая сгорела в 1812 г. Директор Эрмитажа. В 1817 г. уехал в Италию, где вновь стал собирать библиотеку.

К письму 32

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Габерцеттель, Иосиф Иванович (1791—1853). Живописец. Ученик Академии художеств с 1800 по 1815 г. Окончил со второй золотой медалью, полученной за программу „Моление о чаше“. В 1821 г. послан пенсионером за границу. В 1834 г. — академик за программу „Тайная вечеря“ и копию с картины Рафаэля „Преображение Христово“.

[3] Ган, Павел Васильевич, барон (? —1847). Секретарь русского посольства в Риме, камер-юнкер. В сентябре 1822 г. покинул Италию, заказав перед отъездом всем пенсионерам работы. Возможно, С. Ф. Щедрин, упоминая Гана, имел в виду эти заказы.

К письму 33

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Вероятно, речь идет о Пьере Джакомо Манни (ум. 1825) — архитекторе, работавшем преимущественно в Бергамо.

[3] Возможно, имеется в виду Франсуа Эдуард Бертен (1797—1871). Французский живописец-пейзажист, ученик Энгра. Журналист. Путешествовал по Италии и написал там наиболее известные из своих произведений.

К письму 34

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] З. А. Волконская присутствовала на Веронском конгрессе, следовательно, именно о ней писал Щедрин в своем письме.

К письму 35

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Рукой С. И. Гальберга на письме Щедрина, помеченном 1820 г., написано: „Ошибка должно 1823 из Тиволи".

[3] Долгорукий, Александр Иванович, кн. (ок. 1793—1868). Литератор. Издал в 1840 г. „Мои счастливейшие минуты в жизни".

[4] Роден, Иоганн Мартин (1778—1868). Немецкий живописец. С 1802 г. с перерывами жил в Риме, где умер. Вел борьбу с направлением школы Пуссена.

[5] Базилевский, Иван Федорович (1791—1876). Меценат-благотворитель. На его средства на Невке в Петербурге была выстроена обсерватория.

К письму 36

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Вероятно, имеется в виду Поггенполь Николай Васильевич. Коллежский асессор. Служил при поверенном в делах во Флоренции и Лукком дворе, секретаре русского посольства в Риме А. В. Сверчкове.

[3] Эндер, Иоганн (1793—1854). Австрийский портретист и исторический живописец. С 1820 г. — королевский пенсионер. Член Римской Академии св. Луки.

Эндер, Томас — его брат-близнец. Умер в 1875 г. Пейзажист и гравер. С 1819 по 1823 г. — королевский пенсионер в Италии.

К письму 37

[1] РО ГТГ, ф. 58/2.

[2] Волконский, Никита Григорьевич, кн. (1781—1844). Флигель-адъютант Александра I. В 1813 г. — генерал-майор. В 1828 г. — егермейстер. Муж кн. З. А. Волконской. В 1824 г. служил сверх штата при чрезвычайном посланнике и полномочном министре в Неаполе гр. Г.-Э. Штакельберге.

[3] Нарышкина, Мария Яковлевна, урожд. кн. Лобанова-Ростовская (1789—1854). Жена кн. К. А. Нарышкина.

[4] Толстой, Федор Андреевич, гр. (1758—1849). Сенатор. Брат гр. Петра Андреевича, отца скульптора и медальера гр. Федора Петровича Толстого.

[5] Разумовский, Андрей Кириллович, светл. кн. (1752—1836). Третий сын гетмана. Дипломат. Играл видную роль на Венском конгрессе.

[6] Мышин, Николай. Пейзажист. Вольный ученик и пенсионер Академии художеств. В 1812 г. получил вторую золотую медаль за программу „Отдохновение рогатого скота в небольшом числе, близ развалин древнего здания". Выпущен в 1815 г. с аттестатом первой степени.

[7] Антонелли, Дмитрий Иванович (1791—1842). Исторический живописец. Ученик Академии художеств с 1798 по 1812 г. Окончил с первой золотой медалью, полученной за программу „Нижегородский гражданин Козьма Минин, склоняющий сердца сограждан к пожертвованию всего имущества на спасение отечества". Оставался пенсионером до 1817 г. В 1820 г. — академик за портрет И. П. Мартоса.

К письму 38

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] То есть В. А. Глинки, уехавшего в Россию.

К письму 39

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Винспиер, Роберт Антонович. Полковник, адъютант вел. кн. Михаила Павловича. Впоследствии в чине генерал-майора служил секретарем сверх штата при русском посольстве в Риме.

[3] Тон, Александр Андреевич (1790—1858). Старший брат К. А. Тона. Архитектор и литограф. В 1824 г. был отправлен в Италию на средства министерства двора. В 1826 г. ездил в Париж изучать литографию. В 1830 г. вернулся в Россию.

[4] „Молодой старик" — так называл Щедрин австрийского акварелиста-пейзажиста Эрнста Велкера (1788—1857).

К письму 40

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Обресков, Александр Михайлович (1793—1885). Дипломат. В 1817 г. — секретарь Римской миссии, с 1818 г. служил сверх штата в Венской, в 1825 г. отозван из Вены. В 1831 г. — чрезвычайный посланник и полномочный министр в Турине. Сенатор (1838).

[3] Потоцкий, Лев Северинович, гр. (1879—1860). Состоял на дипломатической службе (в начале и в конце своей жизни—в Неаполе). В 1825 г. К. Брюллов писал портрет его жены Е. Н. Потоцкой, урожд. Головиной (1795—1867).

[4] Мейер, Христиан Филиппович (1792—1848). Архитектор. Ученик Академии художеств с 1801 по 1809 г. Окончил с аттестатом первой степени. В 1830 г. — академик, в 1836 г. — профессор второй степени. С 1846 г. — профессор первой степени. В 1820-х гг. жил в Италии.

К письму 41

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Морган, Вильям Джеймс. Умер в 1856 г. Ирландский пейзажист.

[3] Брюллов, Александр Павлович (1798—1878). Старший брат К. П. Брюллова. Архитектор и акварелист. В Италию отправлен в 1822 г. на средства Общества поощрения художеств. В 1826 г. вместе с А. А. Тоном уехал в Париж. В 1830 г. вернулся в Россию.

К письму 42

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Щербатов, Алексей Григорьевич, кн. (1776—1848). Генерал-адьютант (1813—1814). С 1817 по 1825 г. путешествовал. Вышел в отставку в 1835 г. В 1839 г.— член Государственного Совета. В 1843 г.— московский генерал-губернатор.

[3] Фамилия „Емельян“ не встречается в русских исторических источниках. Учитывая близость Щедрина к Охотниковым, можно предположить, что так называл он Екатерину Алексеевну Омельяненко (1795—1876), урожд. Охотникову.

[4] Россини, Луиджи (1790—1857). Итальянский гравер, живописец и архитектор.

[5] Мемнон — сын В. И. Демут-Малиновского (1825—1868).

К письму 43

[1] РО ГТГ, ф. 58/3.

[2] Влодек, Александра Дмитриевна, урожд. гр. Толстая (1788—1847).

[3] Сапожников, Андрей Петрович (1795—1855). Исторический живописец и портретист. Главный наставник и учитель черчения и рисования в военно-учебных заведениях. Посещал классы Академии художеств. Член Общества поощрения художников, которое поручило ему наблюдение за пенсионерами.

[4] Перовский, Василий Алексеевич, гр. (1795—1857). Внебрачный сын гр. А. К. Разумовского. С 1818 г.— капитан лейб-гвардии Измайловского полка, с 1819 г.— полковник, директор канцелярии Морского штаба. С декабря 1829 г.— генерал-адьютант. Позже—оренбургский военный губернатор (1833—1842), оренбургский, самарский генерал-губернатор. Член Государственного Совета.

[5] Андрей Алексеевич — Михайлов. В 1823 г.— ректор архитектуры (см. примеч. 5 к письму 13).

К письму 44

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Львов, Александр Николаевич (1786—1849). Сын архитектора Николая Александровича Львова, строителя петербургского Почтамта, просвещенного человека, друга Г. Р. Державина.

[3] В „Сборнике материалов для истории имп. С.-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования“ приведено определение Совета Академии художеств от 22 сентября 1807 г.: „По прошению вольного живописца Ивана фон Зассена, сына его Александра Зассена принять в число пенсионеров

с платежом за содержание и обучение его по триста рублей в год; представленные же вперед за полгода деньги сто пятьдесят рублей принять эконому" (ч. 1. Спб., 1864, с. 507).
[4] Лангер, Валериан Платонович (1802 — после 1865). Любитель-литограф. В 1820 г. издал и литографировал виды Царского Села. Почетный вольный общник Академии художеств. Сделал для альманаха „Северные цветы" рисунок с пейзажа Щедрина „Замок св. Ангела. Новый Рим", который гравировал И. В. Чесский (1827). Делал также рисунки для „Подснежника" (1829) и „Северных цветов" (1831).

К письму 45

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).
[2] Золотарев, Алексей Иванович — фактор при Академии художеств.
[3] Парамонов, Яков Алексеевич. Учился в Академии художеств с 1785 по 1800 г. Окончил с аттестатом второй степени и шпагой.

К письму 46

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).
[2] Нессельроде, Мария Дмитриевна (урожд. гр. Гурьева, 1786—1849), гр. Дочь министра финансов при Александре I гр. Д. А. Гурьева, жена К. В. Нессельроде, министра иностранных дел.
[3] Александр I умер в Таганроге 19 ноября 1825 г.
[4] Франц II (1765—1835)— австрийский император (с 1792 г.).

К письму 47

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).
[2] Самарин, Василий Максимович (1792—1871). Генерал-лейтенант. Сенатор.
[3] Бахметьев, Алексей Николаевич (1774—1841). Член Государственного Совета. До 1825 г.—полномочный наместник Бессарабии, затем генерал-губернатор Нижнего Новгорода, Симбирской и Пензенской губерний. В „Прибавлениях к „Санкт-Петербургским ведомостям" в списке „отъезжающих" упомянут „отставной гвардии ротмистр Алексей Николаевич Бахметьев" (1827, 15 апреля, с. 404). Впоследствии генерал от инфантерии.
[4] Милорадович, Михаил Александрович (1771—1825). Петербургский военный генерал-губернатор. Был убит П. Г. Каховским во время восстания декабристов на Сенатской площади.

К письму 48

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).
[2] Тургенев, Сергей Иванович (1790—1827). Состоял на дипломатической службе. Брат декабриста Николая Ивановича и литератора Александра Ивановича Тургеневых. Член масонской военной ложи „Св. Георгия Победоносца". Сочувствовал освободительному движению в Греции.
[3] Шувалова, Варвара Петровна, урожд. Шаховская (1796—1870). В первом браке — за генерал-лейтенантом гр. П. А. Шуваловым. Во втором (с 1826 г.) — за гр. А. А. Полье (1795—1830), церемониймейстером двора.
[4] Григорович, Василий Иванович (1792—1865). Любитель искусств, художественный критик. Впоследствии — конференц-секретарь Академии художеств (1829—1859). Действительный член Академии наук, почетный член Московского художественного общества. Издавал „Журнал изящных искусств". В 1825 г. в „Журнале изящных искусств" была напечатана статья В. И. Григоровича „Разбор статуй Ахиллеса и Гектора, произведенных г.г. Гальбергом и Крыловым", в которой сравнивались достоинства работ молодых скульпторов (кн. 2, с. 44—58). Статуям Гальберга и Крылова было посвящено несколько слов и в статье Григоровича об академической выставке (там же, кн. 1, с. 72).
[5] Строганова, Софья Владимировна, гр. (1775—1845). Жена гр. П. А. Строганова. Была близка к императрице Елизавете Алексеевне.

[6] Мартынов, Андрей Ефимович (1768—1826). Пейзажист. Учился в Академии художеств с 1773 по 1788 г. Ученик Семена Ф. Щедрина. Окончил со второй золотой медалью. Посланный в Италию пенсионером, вернулся в Россию в 1794 г. Академик — в 1795 г. Совершил путешествие с русским посольством в 1804 г. в Пекин. Написал много сибирских и китайских видов. Был на Волге и в Крыму.

К письму 49

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Щербатов, Федор Александрович, кн. (1802—1827). Сын кн. В. П. и А. Ф. Щербатовых.

К письму 50

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

К письму 51

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Установить, кто был упоминаемый Щедриным „Константин", не удалось.

[3] Под „двумя архитектурными братцами" Щедрин подразумевал К. А. и А. А. Тонов.

К письму 52

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Волков, Михаил Аполлонович. Камер-юнкер. Находился в ведении Коллегии иностранных дел. Служил в русской миссии в Италии.

[3] Виллие, Яков Васильевич, баронет (1768—1854). Лейб-медик Александра I. Президент Медико-хирургической академии. Отец художника М. Я. Виллие.

[4] Волконский, Петр Михайлович, светл. кн. (1776—1852). Министр императорского двора. Генерал-фельдмаршал. Был близок к Александру I, которого сопровождал в Таганрог, а затем к Николаю I. Муж С. Г. Волконской.

К письму 53

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Речь идет о М. Г. Крылове.

К письму 54

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] В „Сборнике материалов для истории имп. С.-Петербургской Академии художеств" П. Н. Петрова упоминается „мастер Дмитрий Мельников" (ч. 1, 1794, с. 335). В „Списке русских художников к юбилейному справочнику имп. Академии художеств" С. Н. Кондаков добавляет к этому краткому сведению, что он был „мастер формовки и отливания из гипса" (ч. 2, с. 263).

[3] Паскевич, Степан Федорович (1785—1840). В 1826 г. — полковник в отставке. С 1827 г. — на гражданской службе. Брат фельдмаршала гр. И. Ф. Паскевича-Эриванского.

К письму 55

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Орлов, Алексей Федорович, кн. (1786—1861). Генерал-адъютант. Шеф корпуса жандармов. Председатель Государственного Совета. Почетный любитель Академии художеств.

К письму 56

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Сумароков, Сергей Павлович, гр. (1793—1875). Генерал от артиллерии. Известный специалист по артиллерийскому делу. В 1824 г. вышел в отставку, но в августе 1826 г. вернулся на службу. В 1834 г. — генерал-адъютант Николая I.

К письму 57

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Джиганте, Гиацинто (1806—ок. 1876). Неаполитанский пейзажист. Работал в Риме.

Ученик А. Питлоо, главы „школы Позиллипо". Писал акварелью морские и архитектурные виды.

К письму 58

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69, л.66—67. Кикин передал Перовскому условия заказа, поставленные Щедриным, после чего Перовский сделал свое заключение. Ответ Щедрину написан рукой Кикина, но подпись проставлена самим Перовским. Из этого ответа выясняются требования к работам Щедрина: „а. Я согласен,—писал Перовский,—с мнением его превосходительства П. А. Кикина, т. е., что выгоднее иметь меньшее число картин, но в числе оных, по крайней мере, две значительных своей отделкой и величиною, и на сем основании полагаю: ежели все виды Неаполитанские, то довольствоваться двадцатью; ежели в числе оных будут и Римские, то осемнадцатью и даже менее. в. Вкус и талант г. Щедрина известны, а посему полагаю, что и в выборе предметов на него положиться можно. с. Касательно цены также не имею никаких возражений. d. Когда условья сии будут окончательно нами утверждены, а г. Щедриным приняты, то думаю выслать ему вперед треть всей цены: т. е. две тысячи рублей. е. Считаю также нужным посредством наших миссий в Италии заранее облегчить и назначить г. Щедрину образ пересылки картин, по мере их изготовления. На все сие прошу решительного согласия П. А. Кикина. *В. Перовский*".

К письму 59

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

К письму 60

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.
[2] Дубровин, Михаил Петрович (? —1826). Исторический живописец. Учился в Академии художеств с 1803 г. В 1809 г. получил первую серебряную медаль. Окончил Академию в 1818 г., получив аттестат первой степени.
[3] Кутайсов, Павел Иванович (1780—1840), гр. Председатель Общества поощрения художеств. О его „затее" С. Щедрин писал брату А. Ф. Щедрину 11 ноября 1826 г. (см.: Щедрин С. Письма из Италии, с. 230).
[4] Марков, Михаил Тарасович (1802—1836). Исторический живописец. Брат-близнец живописца Алексея Тарасовича. Учился в Академии художеств с 1809 по 1821 г. Окончил с аттестатом первой степени. В 1825 г. отправлен пенсионером в Италию по „высочайшему повелению". Страдал падучей. В „Прибавлениях к „Санкт-Петербургским ведомостям" в списке „отъезжающих" указан: „Михайло Марков, чиновник 14 класса" (1826, 14 мая, с. 461).

К письму 61

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.
[2] Паста, Юдита (1798—1865). Знаменитая певица. Особенно прославилась в операх Россини. В 1840 г. была в России.

К письму 62

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

К письму 63

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.
[2] Штиглиц, Людвиг, барон (1778—1843). Основатель „Банкирского дома". Придворный банкир. Потомственный барон с 1826 г.
[3] Орловский, Борис Иванович (1796—1837). Известный скульптор. Вольноотпущенный помещика И.В.Шатилова. В Академии художеств с 1822 г., но год спустя отправлен пенсионером в Италию, где учился у Б. Торвальдсена. В 1836 г. — профессор второй степени. Автор памятников Кутузову и Барклаю де Толли у Казанского собора, статуй „Парис", „Фавн и вакханка", „Фавн, играющий на свирели" и др.

К письму 64

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.
[2] Киль, Федор Иванович. Секретарь русского посольства в Неаполе. Брат адъютанта вел. кн. Константина Павловича, впоследствии (с 1844 г.) начальник над русскими художниками в Италии.

[3] Речь идет о Марии Петровне Дохтуровой, наставнице в семье Бееров, близких друзей поэта Веневитинова. Ее имя часто встречается в переписке С. Щедрина.

[4] Зерво, Николай Спиридонович. Состоял при русском генеральном консуле в Неаполе „по торговым делам".

[5] Оленин, Григорий Никанорович (ум. 1843). Был женат на своей двоюродной сестре — Варваре Алексеевне, дочери президента Академии (1802—1877).

[6] Чиаппа (1766—после 1826). Неаполитанский живописец. Известен как импровизатор и копиист со старых мастеров и помпеянских фресок.

К письму 65

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

[2] Миклашевский, Александр Михайлович (ум. 1831). Поручик лейб-гвардии Измайловского полка, затем полковник. Был близок к кружку Е. Ф. Татариновой. Убит в сражении в Дагестане.

К письму 66

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

[2] Берти, Джорджио (1794—1863). Флорентинский исторический живописец и жанрист.

К письму 67

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

[2] Штакельберг, Каролина Христофоровна (178. . .—1868). Жена дипломата гр. Г.-Э. Штакельберга. Статс-дама.

[3] Головачевский, Кирилл Иванович. Инспектор Академии художеств (см. примеч. 11 к письму 12).

К письму 68

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

[2] Скоков, Петр Алексеевич (1758—1817). Архитектор. Учился в Академии художеств с 1764 по 1779 г. Окончил со второй золотой медалью. Послан пенсионером в Италию, где учился „клавикордной музыке" у Буини. В 1776 г. учителю было отказано по „причине малых успехов" ученика.

[3] Смирнов, Николай Михайлович (1808—1870)— чиновник Министерства иностранных дел. В 1825—1828 гг. служил при русской миссии во Флоренции, позже — в Петербурге и Берлине. С 1829 г.— камер-юнкер. Впоследствии — калужский и петербургский губернатор.

[4] Под „господами историками" Щедрин подразумевал Бруни и Басина.

[5] Охотников, Николай Алексеевич. Брат декабриста Константина Алексеевича. Служил поручиком в лейб-гвардии Уланском полку. Вышел в отставку в чине генерал-майора. Калужский помещик.

[6] Местр, Ксаверий де (1764—1852). С 1816 г.— генерал в отставке. Сын президента Савойской республики. После ее падения вместе с братом Иосифом, известным проповедником католицизма, приехал в Россию. Снискал популярность своими литературными трудами. Писал на французском языке. Известна его повесть „Параша сибирячка".

[7] Воронцова, Екатерина Артемьевна, гр. (1780—1836). В конце XVIII в. была назначена состоять при жене вел. кн. Константина Павловича—Анне Федоровне. После развода последних и отъезда великой княгини в Швейцарию продолжала получать фрейлинский оклад и пользоваться квартирой при дворце. Осталась верна Анне Федоровне и систематически ее посещала в Швейцарии.

[8] Голицына, Елена Михайловна, кн. (род. ок. 1776—ум. 1855). Неразлучная подруга гр. Воронцовой, сопровождавшая ее во всех путешествиях.

К письму 69

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

[2] Шатилов, Иван Васильевич. Занимал должность вице-директора инспекторского департамента Главного штаба.

[3] Щедрин ошибочно проставил дату „1823" вместо „1827".

К письму 70

[1] ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

[2] Еггинг, Иван Егорович (1781—1867). Кур-

ляндский портретист и исторический живописец. В 1813 и 1814 гг. посещал классы Академии художеств. В 1834 г. — академик за портрет И. А. Крылова. Учитель рисования в Митавской гимназии (1837—1858).

К письму 71

1 ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

2 Трудно сказать, о каком кн. Голицыне писал Щедрин: о Сергее Михайловиче (1774—1859), председателе Опекунского совета, более полувека служившем в Москве попечителем Учебного округа, или об Александре Сергеевиче (1789—1858), прозванном „золотым“ или„ рыжим“, авторе сатирических стихов.

3 Николай I намеревался заказать С. И. Гальбергу мраморную статую, о чем скульптор узнал от О. А. Кипренского. Заказ не состоялся (см. письмо Гальберга А. Х. Востокову от 7 марта 1827 г. в журнале „Вестник изящных искусств“, 1884, т. 2, вып. 6, с. 159).

К письму 72

1 ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

2 Лицо не удалось установить.

3 Фабер, Готгильф Теодор (1766—1847). Рижанин. Служил во Франции в 1790-х гг. С 1805 г.—в России на дипломатической службе. Оставил „Заметки о внутренних делах Франции“ и „Размышления о французской армии“.

4 Трубецкой, Василий Сергеевич, кн. (1776—1841). Генерал-адъютант, затем генерал от кавалерии. Сенатор. Член Государственного Совета. Почетный любитель Академии художеств.

5 Тимофеев, Егор Варфоломеевич (род. 1787). Живописец-пейзажист. Учился в Академии художеств с 1798 по 1806 г. Уволен с аттестатом второй степени.

К письму 73

1 ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

2 Румянцев, Николай Петрович, гр. (1754—1826). Старший сын фельдмаршала гр. Петра Александровича Румянцева. При Александре I—министр коммерции, в 1807 г.—министр иностранных дел. Составил обширное рукописное и книжное собрание, которое легло в основу Румянцевского музея. Вокруг него группировались просвещенные люди России.

3 Путешественники, о которых упоминает Щедрин,— это К. Брюллов и Бруни.

К письму 74

1 ГИАЛО, ф. 448, оп. 1, ед. хр. 69.

К письму 75

1 РО ГТГ, ф. 58/4.

К письму 76

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Гр. С. П. Румянцев просил через А. Х. Востокова С. И. Гальберга разыскать в Италии книгу „Вопросы и ответы“ патриарха Антиохийского Синаита (ум. 686). Щедрин шутливо переименовал ученого патриарха в „Настасью Симоновну“ и „Настасью Кирилловну“. Румянцев просил также найти ему перевод хроники византийского историка XII века Константина Манассии.

3 Подчасский, Ипполит Иванович (1792—1879). Внебрачный сын гр. Л. К. Разумовского. Служил в Коллегии иностранных дел, откуда уволился в 1828 г. В 1833 г. определен в Министерство юстиции. Художник-любитель. Работал главным образом в технике акварели.

4 Оленины—Григорий Никанорович и Варвара Алексеевна.

5 Разумовская, Мария Григорьевна, урожд. Вяземская (1772—1865). В первом браке за кн. А. Н. Голицыным (ум. 1818), во втором (с 1802 г.)—за генерал-майором гр. Л. К. Разумовским (1757—1818).

6 Щедрин ошибочно проставил дату „1823“ вместо „1827“.

К письму 77

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 „Овсяная записка“— буквальный перевод фамилии Габерцеттеля.

3 Волконская, Софья Григорьевна (урожд. Волконская, 1785—1868), св. княгиня, жена П. М. Волконского, сестра декабриста С. Г. Волконского, статс-дама.

4 Гетцлов, Карл Вильгельм (1799—1866). Немецкий живописец, пейзажист и гравер. Королевский пенсионер в Риме с 1821 г. Умер в Неаполе.

К письму 78

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

К письму 79

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

К письму 80

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Демидов, Николай Никитич (1773—1828). Промышленник и меценат. В 1813 г. подарил Московскому университету собрание редкостей. Построил в Петербурге четыре чугунных моста. С 1815 г., будучи посланником во Флоренции, составил большую картинную галерею и музей. Его благотворительность была высоко оценена во Флоренции, где ему в 1871 г. поставили памятник.

3 „Новый министр", то есть кн. Г. И. Гагарин.

4 Речь идет о Станиславе Осиповиче Коссаковском (1795—1872), камер-юнкере Царства Польского, служившем в то время секретарем посольства в Риме.

5 Торвальдсен, Бертель (1770—1844). Известный датский скульптор. Приехал в Рим в 1791 г. Член Копенгагенской Академии художеств (1805), Римской Академии св. Луки (1808). С 1825 г.—президент Римской Академии. В Копенгагене есть музей его имени, где собраны многие его произведения.

6 Аббе—придворный доктор Александра I.

7 Корто, Пьер-Феликс (1799—1852). Французский исторический живописец.

К письму 81

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Перовская, Екатерина Васильевна (урожд. Горчакова, ? —1833). В первом браке — Уварова. Жена Л. А. Перовского (1792—1856), впоследствии — графа (с 1849 г.), министра уделов и внутренних дел. Речь идет о их воспитаннице — Анне Львовне, в замужестве Юшковой (? —1876), внебрачной дочери Л. А. Перовского.

3 Щедрин мог иметь в виду Льва Кирилловича Нарышкина (1808—1855), сына М. Я. Нарышкиной, с которой он часто встречался в Италии.

К письму 82

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Ганслир, Питер ван (1786— ок. 1862). Голландский исторический живописец и портретист. Учился в 1809 г. в Париже у Давида. В 1816 г. уехал в Италию, вначале в Рим, затем в Неаполь. Член Римской Академии св. Луки. В 1829 г. уехал в Гент и стал директором Академии художеств.

3 Франк, Максимилиан (1780—после 1830). Немецкий исторический живописец, портретист и пейзажист. Занимался также литографией. Был учителем в Королевском воспитательном училище в Мюнхене.

К письму 83

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Кикин, Петр Андреевич (1772—1834). Статс-секретарь и сенатор. Один из основателей Общества поощрения художников. В 1820 г.— председатель Общества, потом казначей. Автор статей по сельскому хозяйству. Член общества „Беседы любителей российского слова" и „Вольного экономического общества".

3 А. А. Аракчеев заказал Гальбергу памятник Александру I для своего села Грузино Новгородской губернии. Скульптор работал над ним с 1828 по 1830 г.

[4] Вианелло, Антонио (род. 1778). Итальянский пейзажист. Примыкал к „школе Позиллипо“. Акварелист. Известны его интерьеры храмов.

К письму 84

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Воробьев, Максим Никифорович (1787—1855). Известный русский пейзажист. Учился в Академии художеств с 1797 по 1809 г. Окончил с первой золотой медалью. В 1814 г.— академик. В 1815 г. — преподаватель перспективы. В 1820 г. совершил путешествие в Палестину. В 1831 г.— профессор, в 1843 г. — заслуженный профессор.

[3] Доу, Джордж (1781—1829). Английский живописец-портретист. С 1819 г. жил и работал в России, исполнив по заказу Александра I около 300 портретов русских военачальников для Военной галереи Зимнего дворца.

[4] Гофман, Иван. Исторический живописец. В 1824 г. был отправлен „по высочайшему повелению“ пенсионером за границу. Живя в Риме, исполнил копии с произведений Рафаэля и Караваджо. В 1836 г. получил звание свободного художника.

[5] Карелли, Джузеппе. Итальянский жанрист. Отец Гонзальфо, члена „школы Позиллипо“.

К письму 85

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Катакази, Гавриил Антонович (1794—1867). Служил в русской миссии в Константинополе с 1816 по 1826 г. Участник экспедиции русского флота в 1827 г., был на корабле „Азов“. В 1843 г. вышел в отставку, в 1847 г. вновь на службе в Министерстве иностранных дел.

[3] Щедрин ошибочно проставил на письме дату „1823“ вместо „1828“.

К письму 86

[1] РО ГТГ, ф. 58/5.

[2] Оленина, Анна Алексеевна (1808—1888). В 1840 г. вышла замуж за Ф. А. Андро-Ланжерона. Младшая дочь президента Академии художеств. Воспета А. С. Пушкиным.

[3] В. И. Григоровичу (см. письмо А. Ф. Щедрину от 9 ноября 1828 г. и примеч. 287 в кн.: Щедрин С. Письма из Италии, с. 251 и 387).

[4] Оленин, Петр Алексеевич (1793—1868). В 1819 г.— штабс-капитан лейб-гвардии Семеновского полка, позднее — генерал-майор. Любитель-художник. Почетный вольный общник Академии художеств (с 1827 г.). Сын президента Академии художеств.

[5] Александра Федоровна (Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III, 1798—1860). С 1817 г.— жена вел. кн. Николая Павловича, с 1825 г.— императрица.

К письму 87

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Речь идет о „Прибавлении к установлениям имп. Академии художеств“, утвержденном Николаем I 19 декабря 1830 г. Пенсионерам, посылаемым за границу, был посвящен § 4 разделения I („Юбилейный справочник имп. Академии художеств. 1864—1914“, с. 173).

[3] Свинцов, Петр Васильевич. Скульптор и медальер. Учился в Академии художеств с 1801 по 1812 г. Окончил с первой золотой медалью за программу „Нижегородский гражданин Козьма Минин, склоняющий сердца сограждан к пожертвованию всего имущества на спасение отечества“. В 1828 г. подал записку в Совет Академии о запрещении делать лепные работы художникам, не имеющим специального образования. Ему ответили, что в таком случае следовало бы запретить работы Левицкого, Боровиковского, Растрелли, Кваренги и других. Свинцов сделал статую Рембрандта для вновь строившегося Академического музея.

[4] Лонгинов, Николай Михайлович (1779—1833). Статс-секретарь, сенатор. Состоял при императрице Елизавете Алексеевне. При Николае I управлял Собственной Е. И. В. канцелярией. Отец историка и библиографа. За-

ведовал благотворительными учреждениями, состоявшими в ведении вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

[5] Шверин, Густав Адольф, фон (1800—1871). Чиновник коммерческой промышленности.

К письму 88

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Гераков, Гавриил Васильевич (1775—1838). Плодовитый, но бездарный писатель. Был высмеян С. Н. Мариным и А. Е. Измайловым. Стихи Марина на Геракова привел Л. Н. Толстой в „Войне и мире".

К письму 89

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

К письму 90

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Яненко, Яков Федосеевич (1800—1852). Портретист. Сын академика живописи. Учился в Академии художеств с 1809 по 1821 г. Окончил с аттестатом первой степени. В 1825 г.— „назначенный" за портрет Н. Е. Ефимова, в 1830 г. — академик за портрет Н. И. Уткина. Приехал в Италию в 1827 г., где копировал старых мастеров. В „Прибавлениях к „Санкт-Петербургским ведомостям" в списке „отъезжающих" указан „Яков Яненко—художник" (1827, 19 июля, с. 759). Вернулся в Россию в 1828 г.

[3] Бутурлин, Михаил Дмитриевич, гр. (1807—1876). Чиновник канцелярии С. М. Воронцова, впоследствии — чиновник при московском, рязанском и калужском губернаторах. Исторический писатель. С 1817 по 1824 г. жил с отцом, гр. Д. П. Бутурлиным, во Флоренции и Риме. В доме Бутурлиных в Риме собирались русские художники-пенсионеры, бывал и С. Ф. Щедрин. В 1827 г. М. Д. Бутурлин путешествовал по Италии.

[4] Кого имел в виду Щедрин, называя фамилию, Миллера или Мюллера, установить не удалось.

[5] Речь идет о бароне Карле Ротшильде — главе банкирского дома, основанного в Неаполе в 1812 г., сыне основателя банкирского дома Ротшильдов — М.-А.-А. Ротшильда.

[6] Не установлено, о какой из дочерей кн. А. Ф. Щербатова идет речь — Анне Александровне (? —1839, в замужестве Елагиной) или Екатерине Александровне (1808—1892, в замужестве Свербеевой).

[7] Шувалов, Андрей Петрович, гр. (1802—1873). Гофмаршал, оберкамергер, президент придворной конторы. Служил (с 1823 г.) в Коллегии иностранных дел и был причислен к Неаполитанской, затем—к Венской миссиям.

[8] Щербатова, Варвара Петровна (урожд. Оболенская, 1774—1843), вдова шталмейстера кн. А. Ф. Щербатова.

[9] Краснопольский, Павел Степанович. Умер в 1830 г.

К письму 91

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин). Письмо начато в Пуццоли, продолжено в Неаполе и окончено на Капри.

[2] Ливен, Карл Андреевич, светл. кн. (1767—1844). Генерал-лейтенант. Попечитель Дерптского округа. Член Государственного Совета (1826). Министр народного просвещения (1828—1833).

[3] Прокофьев, Иван Прокофьевич (1758—1828). Известный скульптор. Учился в Академии художеств с 1764 по 1777 г. Получив первую золотую медаль, был послан пенсионером за границу. В 1785 г.— академик за скульптуру „Актеон". В 1800 г. — профессор. В 1819 г. — старший профессор. Его статуя „Минерва" украшала купол Академии до 1819 г.

К письму 92

[1] РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

[2] Кустод — хранитель музея.

[3] Во время русско-турецкой войны в 1828 г. М. Н. Воробьев был прикомандирован к Главной квартире Николая I. Написал ряд морских баталий, среди которых наибольшей славой пользовалась картина „Штурм Варны".

К письму 93

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

К письму 94

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Имеется в виду картина П. В. Басина „Сократ в битве при Потидее защищает Алкивиада" (1828, ГРМ), за которую художник по возвращении в Россию получил звание академика.

К письму 95

1 РО ГТГ, ф. 58/8.

2 Самойлова, Юлия Павловна, гр. (1803—1875), урожд. гр. Пален. Большую часть жизни провела в Италии, затем во Франции, где и умерла. Обладала огромным состоянием. Покровительствовала художникам, артистам, композиторам. Друг и почитательница К. Брюллова.

3 Елена Павловна, вел. кн. (1806—1873). Жена вел. кн. Михаила Павловича. Интересовалась искусством и наукой.

4 Опочинина, Дарья Михайловна (урожд. светл. кн. Голенищева-Кутузова, 1788—1854), жена обер-гофмейстера Ф. П. Опочинина.

5 Гудович, Василий Васильевич, гр. (род. между 1778 и 1781—1831).

К письму 96

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Лобштейн, Христиан Михайлович. Секретарь вел. кн. Елены Павловны. Сопровождал ее во время поездки за границу. Был причислен к департаменту уделов.

К письму 97

1 РО ГТГ, ф. 58/6.

2 Жену А. Ф. Щедрина звали Екатерина Ивановна. Брат С. Ф. Щедрина женился на Е. И. Лебедниковой (1805—1881) в 1828 г.

К письму 98

1 РО ГТГ, ф. 58/7.

2 Алберс Старший, Антон (1765—1844). Немецкий живописец-пейзажист. Родился в Бремене, долго жил в Париже. Путешествовал по Голландии, Англии, Испании и Италии. С 1816 г. поселился в Лозанне.

3 Лонги, Джузеппе (1776—1831). Гравер, миниатюрист, литограф, писатель. Работал в Риме, Милане, где и умер.

4 Бенвенутто, Пьетро (1769—1844). Итальянский исторический живописец и портретист. Автор декоративных росписей. В 1810 г. посещал школу Ж.-Л. Давида. Директор Флорентинской Академии художеств. Почетный вольный общник Петербургской Академии художеств. Был близок к А. Канове.

К письму 99

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

К письму 100

1 РО ГРМ, ф. 56, ед. хр. 68.

К письму 101

1 РО ГТГ, ф. 58/9.

2 „Орландо"—транскрипция Щедрина поэмы „НеистовыйРолланд" великого итальянского поэта эпохи Возрождения Лодовико Ариосто.

К письму 102

1 РО ГПБ, ф. 1000, собрание автографов (С. Ф. Щедрин).

2 Горчаков, Александр Михайлович (1798—1883). Дипломат. Учился в Царскосельском лицее вместе с А. С. Пушкиным. С 1822 по 1827 г. — секретарь посольства в Лондоне. С 1827 по 1828 г.— в миссии в Риме, потом в Берлине и затем во Флоренции.

3 В иностранных справочниках фамилия „Пиастрини" отсутствует, есть гравер Карло Пестрини (род. 1780).

4 Верне, Орас-Эмиль-Жан (1789—1863). Известный французский исторический живописец и баталист.

5 Герен, Пьер (1774—1833). Французский исторический живописец и портретист.

6 Босси, Доменико (1765—1853). Итальянский живописец-миниатюрист. Писал также акварельные портреты. С 1798 по 1812 г. жил

в Стокгольме. Член местной Академии художеств. Был в Петербурге, где писал портреты членов императорского дома.

7 Кривцов, Павел Иванович (1806—1844). Брат декабриста Николая Ивановича Кривцова. В 1828 г.—камер-юнкер. Служил в Коллегии иностранных дел. Был назначен в русскую миссию в Берлине, в 1826 г. переведен вторым секретарем посольства в Рим. С 1840 г.— начальник над пенсионерами в Риме.

К письму 103

1 Напечатано в „Памятнике искусств“ (Спб. 1841, тетр. 10, с. 9—10). Данное письмо никогда не перепечатывалось, поэтому мы считаем нужным привести его здесь. Это последнее письмо Щедрина. Оно, несомненно, представляет собой выдержку из его послания С. И. Гальбергу, как об этом свидетельствует и автор биографического очерка о нем.

Указатель имен

Исправления

В связи со скоропостижной смертью автора книги Э. Н. Ацаркиной, не успевшей довести до конца работу по публикации писем С. Ф. Щедрина, редакция сочла возможным дополнить примечания и внести некоторые уточнения в датировку отдельных писем (эти случаи отмечены *).

К письму 69 (с. 137—138):

Дата ошибочно прочтена составителем (см. примеч. 3, с. 215). Письмо, судя по его содержанию, датировано 30 марта 1828 г. В письме брату А. Ф. Щедрину от 6 мая 1828 г. С. Щедрин также упоминает о прибытии в Неаполь К. П. Брюллова и И. И. Габерцеттеля в конце марта этого года в связи с начавшимся после длительного перерыва (с 1822 г.) извержением Везувия, которое, однако, им не удалось увидеть, так как „стихший вулкан перестал вовсе куриться..." (см.: *Щедрин С.* Письма из Италии, с. 246—247).

К письму 78 (с. 151—153):

Судя по содержанию письма, перекликающегося в отдельных моментах с письмом С. Щедрина к брату А. Ф. Щедрину от 26 сентября 1826 г., оно должно быть отнесено к этому же времени (см.: *Щедрин С.* Письма из Италии, с. 226—229).

К письму 79 (с. 154):

Письмо, вероятнее всего, относится к 1826 г., так как картины для А. М. Корсаковой в октябре 1827 г. были уже написаны и готовы к отправке, а князь Гагарин 16 октября 1827 г. был не в Петербурге, а в Риме и получил назначение полномочным министром при Римском дворе вместо умершего в 1827 г. А. Я. Италинского, о чем С. Щедрин, судя по его письму С. И. Гальбергу от 6 октября 1827 г. (№ 80 настоящего издания), уже знал.

К письму 82 (с. 158—160):

Судя по содержанию письма, оно должно быть датировано 1826 г., так как письма к С. И. Гальбергу от 11, 13 и 23 ноября (№ 60—62 настоящего издания) в ряде затронутых моментов являются его продолжением. Кроме того, Г. И. Гагарин здесь еще не занимает поста полномочного министра в Риме, а „дело" с картинами графини В. П. Шуваловой, о котором говорится в письме, „кончено" уже в мае 1827 г. (см. письмо С. И. Гальбергу от 16 мая 1827 г., № 73 настоящего издания).

К письму 83 (с. 160—163):

Письмо относится к 25 декабря 1826 г., так как С. Щедрин пишет в нем, что Иисусу Христу „пошел 1827 годок". Кроме того, в нем, как и в письме к брату А. Ф. Щедрину от 2 января 1827 г. (см.: *Щедрин С.* Письма из Италии, с. 233), говорится о получении письма В. А. Перовского и продолжается обсуждение, начатое в письме С. И. Гальбергу от 8 декабря 1826 г. (№ 63 настоящего издания), предоставленного С. Щедрину графиней В. П. Шуваловой права выбрать мотивы для заказанных ею картин по его усмотрению.

К письму 89 (с. 171—173):

Более вероятна датировка письма концом марта 1827 г., когда состоялось знакомство

С. Щедрина с К. де Местром и А. А. Полье, вторым мужем В. П. Шуваловой, которые находились в это время в Неаполе (см. письмо С. Щедрина С. И. Гальбергу от 23 марта 1827 г., № 68 настоящего издания). Помимо этого, в обоих письмах (№ 68 и 89) речь идет о переписке с Н. М. Смирновым по поводу рисунков для его альбома.

К письму 93 (с. 178):

Письмо, вероятнее всего, относится к лету 1824 г. — последнему лету, проведенному С. Щедриным в окрестностях Рима, и в частности в Альбано; более ранняя датировка также исключена, так как И. Гофман приехал в Италию только в 1824 г.

К письму 94 (с. 179):

Письмо, скорее всего, написано весной 1828 г., до приезда И. И. Габерцеттеля в Неаполь (К. Брюллов и Габерцеттель, как уже отмечалось, прибыли туда в последних числах марта). С конца апреля по начало ноября С. Щедрина практически не было в Неаполе (он был там проездом из Пуццоли на Капри 6—7 июля), а С. И. Гальберг уже в октябре отбыл в Россию (см. письмо С. Щедрина брату А. Ф. Щедрину от 9 ноября 1828 г. — *Щедрин С.* Письма из Италии, с. 250).

Содержание

Сильвестр Щедрин

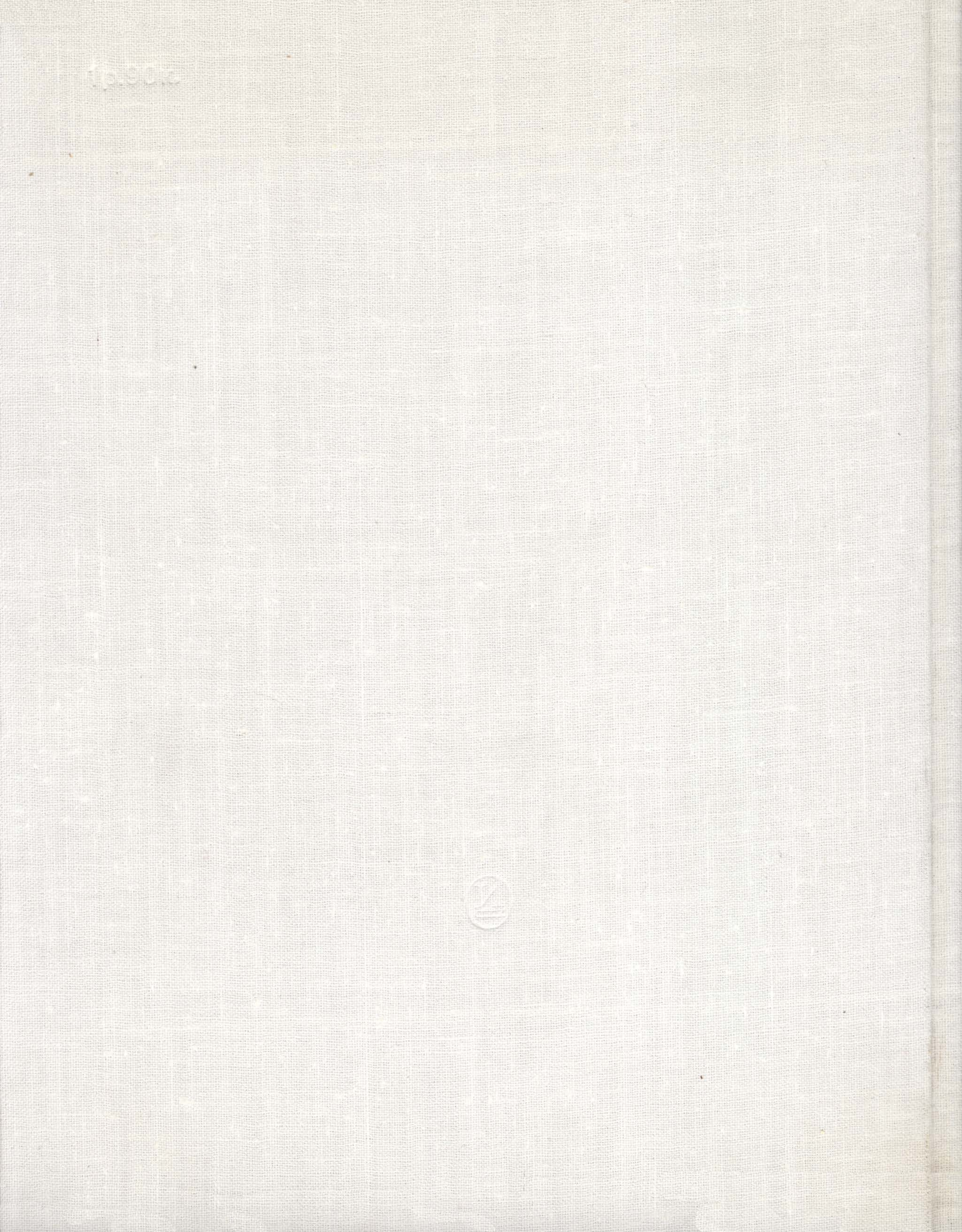
Письма

Составитель и автор вступительной статьи
Э. Н. Ацаркина

Редакторы Т. В. Юрова и Е. А. Скиба
Художники серии Л. А. Кулагин и А. М. Сухов
Художник В. А. Корольков
Художественный редактор В. А. Крючков
Художественно-технический редактор А. А. Сидорова
Корректор И. Н. Белозерцева

И.Б.480
Сдано в набор 09.11.76
Подписано к печати 21.04.78
А07720. Формат издания 70 × 90/16
Бумага типографская № 1.
Гарнитура банниковская. Печать высокая
Усл. печ. л. 16,965. Уч.-изд. л. 15,35
Изд. № 20434. Тираж 25000
Заказ № 1507. Цена 1 р. 90 к.
Издательство „Искусство",
103009 Москва, Собиновский пер., 3
Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 3
имени Ивана Федорова
Союзполиграфпрома при Государственном
комитете Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли.
196126 Ленинград, Звенигородская ул., 11





1 р. 90 к.



Сильвестр Щедрин Письма



Сильвестр Щедрин
Письма

В настоящем издании впервые публикуются донесения в Академию художеств и сто два письма С. Ф. Щедрина, которые, в отличие от изданных А. Эфросом (С. Щедрин. Письма из Италии. М.—Л., 1932), обращены не только к родным, но и к друзьям художникам. Эти письма столь любопытны и занимательны, так образно и ярко описывают жизнь С. Ф. Щедрина в чужих краях, так вводят в атмосферу окружавшей его там художественной среды, что позволяют восстановить эпоху и круг интересов, волновавших его современников.